

РИЖСКИЙ альманах

книга 10 (15)



РИЖСКИЙ альманах



ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ПУБЛИЦИСТИКА
ОБЗОРЫ
ПЕРЕВОДЫ
КРИТИКА

№ 10 (15)



Рига, 2020

Издается при поддержке Министерства культуры и Союза писателей



Kultūras ministrija

ITERĀRĀ KADĒMIJA

Latvijas Rakstnieku savienība

На первой обложке фрагмент офорта (акватинта) Екатерины Грязевой-Веселковой, «Любимый город», 2006 г.

Редакционная коллегия:

Т. Зандерсон

Е. Матьякубова

В. Новиков

Рук. проекта Борис Равдин

Гл. редактор Ирина Цыгальская

Корректор Елена Васильева

Художник Виктория Матисон

ISBN 978-9934-8636-6-0

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

ЛОРК (Латвийское общество русской культуры) 2020.

© Авторы, тексты

© Состав, оформление

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ

Игорь ТРОХАЧЕВСКИЙ. «Птицы да ветер...»	5
Дмитрий ДРАГИЛЁВ. «Вспомним детали...»	8
Василий КАРАСЁВ. Стихи	10

ПРИЗ СИМПАТИЙ РИЖСКОГО АЛЬМАНАХА

Литературный конкурс «**Восьмой открытый чемпионат Балтии по русской поэзии – 2019**»

Глаша КОШЕНБЕК. И всё	12
Марианна БОРОВКОВА. Кíрие элэйсон.	13
Светлана АНДРОНИК. Стихи	14

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

«**КУБОК МИРА ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ 2019**»

Полина ОРЫНЯНСКАЯ. Берёза	15
Виталий МАМАЙ. «бега, бега...»	16

MATRIS LINGUA

Артем МАЛЫШЕВ. «Перед нами – чистый лист...» ...	17
Ярослава ГОВОРОВА. Снегири.....	18
Екатерина ФОНАРИКОВА. Невежда.....	22
Софья ИСАЧЕНКОВА. «последний рывок...».....	24
Александра КОСАЧЕВА. «всё пустяк...»	26

ПРОЗА

Инга АБЕЛЕ. Отрывки из романа «Ивовый монах».	
Перевел Р. Добровенский. Предисл. Анны Ранцане	27
Кристина ФИЛАТОВА. «Зимой случаются чудеса...» ..	89
Алексей ГЕРАСИМОВ. Кризис среднего возраста	101
Яков БЕРГ. «Любимая, уже написан Вёртер...»	105

ОТКЛИК

Юрий КАСЯНИЧ. Через перевал. (листая специальный номер журнала «Иностранная литература», №3 – 2019). 113

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Н. ПЕТРЕНКО. К 100-летию основания газеты “Сегодня” (1919 – 2019 гг.) 119

Ирина САБУРОВА. «Да сгинет ТАСС...» 124

Бенджамин МУЗАККИО. Дубулты: к истории латвийского ЛИТФОНДА и Дома творчества писателей 134

Людмила СПРОГЕ. «Жизнь – милая, глухая и злая...» (О письме Т.Д.Клименко-Ратгауз к Анне Ахматовой) ... 148

Борис РАВДИН. На страничку русской поэзии Латвии начала 1960-х гг. 158

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР. Свобода одиночества 212

Анатолий ИМЕРМАНИС. Стихи 243

Нина ОРЛОВА. Из дневника 1975 года.

Публ., предисл. и коммент. Бориса Равдина и Сергея Цоя 252

Сведения об авторах – 2020. 287

Игорь Трохачевский

Скерцо

На каждой дождевой капле, на каждой снежинке –
подпись-печать всевышнего...
По слезной тропинке, в берцовых ботинках,
от мальчиков, цвета вишни...

Куда бы пораньше, куда бы по сердцу,
"Здравствуй" сильнее "Фауста",
под скерцо, под шутку разбитую греться –
и отгрести постоянство...

А двери в берлогу свою же – как дверца
ветхозаветная, побоку –
мелочь раздутую, взять – оглядеться,
не наводя шороху...

По всем сторонам, по всем интересам...
И вырвется – Шли бы вы лесом...

КТУЛХУ

Настоял на рябине... По делам – снегири,
чудо-юдное "вау" в разговорах, твори,
берегись – не останься без важных штанов,
как бы порванных, в чем-то основы основ...

Семижильной гитаре – подавай бунтаря...
С ложкой семеро, песенки с кровью зазря...
Ты по свету – ни сном и ни духом, дуркуя,
а менжуешься очень от Эль и Кукуя...

А для пенистой бочки сварганил бы втулку,
но от страха ты липкий – так бесится Ктулху,
завывает, пускает огня, веселится...
И в огне – ерундистика и небылица...

Трамвай

Наземный трамвай удалился от пирса -
и воздухом желтым заполнен вагон...
В ночи не теряясь, он грамотно скрылся
по маслу-по рельсам, за важным углом

Морской академии или генштаба...
И здесь для трамвая – с брильянтом кольцо...
В себя он впускает, по правилу, слабых
и глупых дельцов, мудрецов, мертвецов...

Он перекроит их за время дороги,
на берег асфальта другими сойдут –
животными, на побегушках у бога,
на счастье, а станется – и на беду...

Гривастые львы, золотые орлы,
глазастые всюду волы...

Рокмен

Свой сумасшедший гитарный запил –
"Чивасом" рокмен нечаяно запил...
Он подустал – музыка-тексты,
сбили колонку датые кексы...

После концерта – птицы да ветер...
Женщину в красном и не заметил...
Виски как виски, ветер да птица...
Мысленный рокмен – что тебе снится...

И никуда от кикоза не деться –
в клетку грудную брошено сердце...
Знаю, про клетку – вышло бездарно...
Рокмен от смеха падал с дивана

Где-то два раза и бесконечно...
Бес увязался беспечно...

На ресепшене

Три шага всего до паленого рая –
со взмыленной силой и лешими...
Отчаянье золоту не доверяет,
не правит Гермес на ресепшене...

И мутный ефрейтор запишется в маршалы,
и роботы очеловечены...
И сопли пуская, краснеют и кашляют...
Об остальном на ресепшене...

Не слышно дороги, в глуши оказались
мы – в хоре продьявольском певчими...
За город на "Эн", получили медали...
И нет никого на ресепшене...

Самолет

Нитку в иголку с блеском -
И ты, вот те на, во фраке...
Если б не тремор этот,
панические атаки...

Если б не кровь из носу –
в белый платок нескромный...
Если б не зверь во взгляде –
хва, и меня довольно...

Ночью – тьма как награда...
Круто, по-детски, страшно...
Что-то включать... За окошком
сильно мерцают, няшно

Звездочки за работой,
вечно ветхое небо...
И самолет проплывает –
сказочно и нелепо...

Дмитрий Драгилёв.

«Вспомним детали...»

*Петерису Биезайсу, капитану дальнего плавания**

Может быть, это дикость, но о сказках на сон грядущий мы никого
не просили
Приготовьте себе валерьянки, вспомним детали, поговорим за жизнь
Пересеченная местность наскутила очень сильно
Трудно обойтись без дигитальных пружин

Русский стандарт — мальчишество, коломенская верста
Встречается редко, под танго Строка или Пьяцоллы „Verano porteno“
Налей некоторое количество граммов, начиная от ста
Колено великолепно, но мы обсудим корректоров и их
грамматические антенны

Некоторых не устраивает ферзь в плаще
Настораживает брезгливость избыточная или усатость
Остается морочить девушек чем-нибудь запылившимся и вообще
Потерявшим культовый статус
(Для этой цели захвачу с собою ноутбук):

*Есть такая порода бигль — кое-кто не считает ее собакой
Пароход двухпалубный, одновинтовый, со средней надстройкой
и полубаком*

Имел пару мачт и еще дымовую трубу
Где-то здесь репетировал Цфасман и терпеливые «Moscow Kids» его
Зажигали советов люстры, речи любого Герасима слышать могла
Тверская...*

Спросишь про стрелку — что было? — не ведаю, но допускаю —
Встреча «Красина» и «Челюскина» в проливе (Б.А.)Вилькицкого

*Первый капитан парохода «Челюскин», отказался вести пароход в арктические льды.

* * *

Окстись, зазнобе не икалось!
Лолобриджида с Джино Беки
Не доучили русский малость,
Чтоб полюбить меня навеки.
(В раздумьях девушка с веслом.
Я с миром, вот тебе шалом.
Здесь зной весной, и в бриджах сноб,
И торг не в рост – как метод проб).
И вот об этом весь рассказ,
Он прост, как мышеловный сыр:
Ak, távu túmšo ácu skats,
Ak, mána skúmja, skumja sirds!*

Василий Карасёв

Поэма

в бессоннице все боги как
монеты на столе как цветы
на подоконнике и даже те
что в клумбах под окном
дрожа завидуют и музыкой
становясь искрой ползут
наверх по паутине неба то
слепота мельчайшие частицы
гексаграмм на пятнышках
зрачков и рвётся голос
прорезаясь и стекла гнёт и
мачты и музыка как остров
пропавший в водах сама себя
звучит сама себя и судит

Спасены ли фотографии неизвестного автора

искал фабрику напильников эрбе
по всей ревельской
не возражала хоть и давно знала
куда идти ведь от церкви отошли
далеко и шоколадом не пахнет
и так сильно болят от ходьбы ноги
солнечный день посидим на крыльце
вдруг откроется кафе
вдруг тротуар растерянно дёргается
рабочие редкие и ещё реже
незнакомцы наконец
одни незнакомцы в приличных
одеждах кони откуда-то и дышать
вдруг стало легче но тебе всё ясно
ты смотришь сердито прекрасно
понимаешь что это моё желание
но ты смотришь сердито тебе ясно
почему должен

спрятать как можно дальше
книгу жирмунского тебе
почти сразу оттого такое волнение
такая походка становится ясно что
сколько бы у тебя с собой не
было у нас ни копейки нет а до
моей коллекции не добраться
да и кто тут когда-нибудь принимал
такое надо подумать о том
где бы найти кров хоть и знаешь что
обязательно придумаю и не
до продуктов сейчас моей голове я
ищу фабрику напильников эрбе и
памяти меня не подвести я
почти у цели

Сергею Морейно

дикоросы в солёном тумане
у
самой
двины
тебя тайно вскрывают сны
ещё
не
исписаны
травы кончились но всаднику
не
нащупать
дресвы
колокол звонит и всё дрожат
незнакомые
тугие
мосты

Глаша Кошенбек

И всё

и всё пройдёт не всё враньё печаль легка
летит ворона мышь несёт под облака

они летят они вдвоём они одно
вверху земля и водоёмы снизу дно

синее сна такое желтое как мёд
и мышь летит и мышь кричит и мышь поёт

а мир открыт как с козинаками пакет
а страх сыпуч он вроде есть а вот и нет

и даже кажется неважным что несёт
как-будто крылья просто выросли и всё

Марианна Боровкова

Ки́рие э́лейсон

Рассеян свет. Оса качается
Над головой цветка последнего.
Напев знакомый истончается,
Ещё мгновение – и нет его.

Звездой серебряной украшена,
Красуется на глади озера
Кувшинки крохотная чашечка.
Когда заметно подморозило,

Попрятались в траву кузнечики,
Заплакали, обжёгшись инеем –
Оживлены, очеловечены,
Какую муку нынче приняли!

Сердца дрожат, конец предчувствуя,
Как в обморок глубокий падают
Осоловелые капустницы,
Задумчивые шелкопряды.

Устав от толчеи и сутолоки,
Предавшись лени и неге,
Уснула восковая куколка
В полоске будущего снега.

И стрекоза глядит унылая
На бренный мир глазами сложными:
Такое время нынче выдалось –
Немыслимое, невозможное!

И привкус яблочный не радует,
Но откуси – и алым брызнет
Безудержная, безоглядная,
Непознанная радость жизни.

Светлана Андроник

Ветренное

Б.П. от О.И.

пока ты усмиряешь сквозняки,
ловлю тебя заботами простыми.
окно починишь? на, пальто на-кинь,
простынешь.

какая роскошь, господи, одни.
ты мой несвоевременный, но поздний...
у нас врасплох кончаются то-дни,
то гвозди.

а дыму сигаретному сквозняк
ровняет разметавшиеся кудри.
ты бросить обещал ещё на-днях,
но куришь.

смотри, как город сумраком обвит,
как ветер пьяно путается в вязе.
он знает всё о нашей не-люб-ви,
но связи.

нам с рук сходила не одна зима,
сойдёт и эта... небо узловато...
а я во всём, как водится, са-ма
не виновата.

умру от смеха, ты такой чудной
стоишь в ушанке, свет фонарный застя...
спасибо за украденно-е,-но
счастье...

давай оставим сквознякам проём,
нам – ветреным теряться проще в гуле,
не врозь, но врозь,
вдвоём, но-не-вдво-ём,
и пожелать грядущее своё,
кому, скажи мне,
другу ли,
врагу ли?

Полина Орынянская

Берёза

Скрипят ступеньки сонно, через раз.
В подъезде пахнет жареной картошкой.
Приду, поставлю чайничек на газ.
Гляжу в окно. Вся жизнь – как понарошку.

Вот так спроси: а сколько же мне лет? –
и растеряюсь. Я не знаю толком.
По сумме окружающих примет
я потерялась, как в стогу иголка,

между пятью (берёза во дворе,
пора гулять, на вешалке пальтишко)
и двадцатью (берёза во дворе,
и пачка «Явы» скурена почти что).

А может, тридцатью (в окне зима,
и на берёзе иней и вороны,
у дочки грипп, и ночь темным-темна,
тревожна, бесконечна и бессонна)

и сорока пятью (зима, ликёр,
сын начал бриться – и растут же дети!
У дочери роман. Всё тот же двор,
берёза, двухэтажки, снег и ветер).

А чай остыл. И в доме тишина.
Никто так и не задал мне вопроса.
И в раме запотевшего окна
бела берёза...

Виталий Мамай

Бега, бега...

Бега, бега... Что может быть важней,
чем пыль, и пот, и топот ипподрома
в традиции и нравах urbis Romae,
где рев толпы слышней раскатов грома,
где жалкого погонщика коней
в кумиры цирка производит случай...
День догорает, томный и тягучий,
и улиц половодье в берега
лениво входит к сумеркам... Бега,
бега и на устах, и в головах,
в горячих, с пылу брошенных словах,
бега в пекарнях, прачечных и банях,
бега в трущобах и в надменных Байях,
в тавернах крик: "За синий! Мы за синий!",
рабы из галлий, фракий, абиссиний,
забыв на миг про общего врага,
горланят спьяну что-то про бега...
Бега... Матроны, те, что поглазастей,
ладонями глаза от солнца застя,
глядят на полуголого атлета,
матрон пьянит атлет, вино и лето,
и то, что колесничего судьба
найдет у поворотного столба....
Ах, как матроны падки на такое!
Век короток, а плоть... А плоть слаба.
И черный колесничий вхож в покои,
И к знатным девам, и к супругам верным...
Бега, бега клубятся по тавернам,
выплескиваясь в драки, крики, споры,
бега пройдут, но будут игры скоро,
бои и травли, новые герои,
не зря же Тит амфитеатр строит,
на то есть воля Рима и богов...
Так и живет от игр до бегов
страна, полупьяна, полунага...
И что есть жизнь? Вся эта жизнь – бега.

Артем Малышев

«Перед нами – чистый лист...»

xxx

Ковёр, лежащий на брюхе,
стал домом стране корнишонов.
Блеск люстры скрепил стаю пижонов,
а серп, отсёк все головы стужи.
Наш ответ волшебной\чудесной пилюле,
эх, ремень бы потуже.
Чудеса на воде, огонь на стене,
Ты везде и нигде.

xxx

Перед нами – чистый лист,
– Кто-то смотрит?
– Оптимист!

Мышь давно здесь чуда ждёт,
удивительный народ!
А белизна всё мнёт и рвёт.

Чёрный дым улыбок дам,
всю отчизну им продам –
опасайтесь эпиграмм.

xxx

каждому из нас,
минувший ливень первой красоты,
холодное солнце забытой пустыни,
давний знакомый,
пришедший на помощь кумир.
свет зайчика, нырнувшего в нору и небесное молоко.
пролитое. сегодня. на пол.
Звук джаза и треск кирпича.
Как широка эта пора.

XXX

Взглянешь в окно – всякая гадость,
и ливень притих, как назло.
Древесная кромка – тощая усталость,
за окном он один.
Он один, ему всё равно.
Сутулый фонарь, позабыв свою радость,
отражением льётся в вино.
Бокал не разбит,
плавник убирая, рыба-луна ложится на дно

Ярослава Гворова

Снегири

Скоро вот листья будут,
Зреют цветы,
А у меня в начале апреля
Снегири

Только вышла из дома –
Сидит!
Лапками своими
Красный как пунш
И смотрит

И я смотрю,
Что, снегири?
Январь наступил?
Или я наступила в Сибирь?

Детство меня схватило,
И в этой дикости
Вижу – Себя

В его перышках
И кисточке

Не шуточки
Мимо кашляют люди
Машины ездят
А он
Головой даже
Не крутит

Ой
Чего это
Как это я
Забыла.

На ручки
Хотела взять
А ветер за хвост
Схватила.

И детство
Теперь
Отпускает
Отпускает
Отпускает
Отпустило
Приступ
Пора
Домой

Меня спрятали на чердаке

Крыши бывают всякие
С зубами
С корявами
Плоские
И даже дырявые

Бывают как шалаши
Крыши

обычно красные
Но у нас была
Синяя
И грязная

А еще у нас был вертолет в комнате
Так вот я не помню точно
Но у него вообще крыши не было
Короче
Однажды он залетел в ванную
А там
В окне
Ну в стекле то есть
Крыши выпрыгивают как тосты
И скребут в небо
Просто
Я стоял и думал:
В эти бы крыши
Налить
Бассейн
Квадратиком
И пить

куница

Я подарила тебе ежевику,
Забавная ты куница!
Весенний салат в коробочке,
Кусок пирога с корицей

Картошку, печеную тыкву
С тимьяном и сладким соусом,
Подливку морковную,
Сырную булочку,
Кислых анчоусов

Маслины, франсезинью, пасту, багет,
Шампиньоны, эспрессо,
Креветки, омаров,
Омлет с ветчиной
И песто

Варенье сливовое, яблоки, чай,
Печенье, эклеры с глазурью,
Зефир и сгущенку,
Но ты все равно
воруешь моих
Куриц!

Это не у вас ли очки?

Смешная, вся в мандаринах
Стоит такая, хохочет
Сжимает пальто
И шапку прячет
В корзину

Танцует среди животных
Зверино подняв
Подбородок
Руками глазастыми
Шкуры
тащит
И отдает
Номерок

* * *

Сбрей челку заколкой
И ты увидишь
Соборы, рогоз, пшеницу
Пусть рыжие нитки
Сползают с лица
В другие разы.
Плутоны
пушистого лба,
Брови пахнут корицей
Свернули бы горы
такие глаза не могут
Теперь находиться
В рогозе

Екатерина Фонарикова

Невежда

Да, возможно, я невежда.
Нет таланта у меня.
Не утюжила одежду,
Не читаю книги я.

Да, есть вредные привычки,
Внешне, тоже не ахти.
Настроение – истеричка
Я глупа, как ни крути.

Даже чтобы сложить рифму,
Гуглю её в интернете.
Не придерживаюсь ритма,
Не напишут обо мне, поэте.

Не тактична и морали,
Для меня лишь пустой звук.
Мне сегодня доказали,
Кругозор мой очень туг.

Не оставлю след в газете...
 Что уж там, в людских сердцах.
 Растворюсь я в сигарете,
 Чтоб забыть о гордечах.

Люди, вы меня простите,
 Но у вас всех свой стандарт.
 И прошу вас, утвердите,
 Почему Я лишь фальстарт*?

Я прошу вас, объясните,
 Чем так плохо просто жить?
 Либо грубо пробудите,
 То желание учить:

Как закончилась война?
 Что такое пивной путч?
 Чем же жизнь Петра** важна?
 Почему салат*** могуч?

Да, я знаю, я невежда,
 Отрицать я не хочу.
 Интерес ко мне отрежьте,
 Мнение о вас смолчу.

Литературная игра со словами: фонарь, ливень, плавник, гадость, отражение

* * *

Улица заливалась горьким плачем ливня,
 И отражение мое морщилось в серых лужах,
 Пока уличный фонарь освещал листья,
 Похожие на рыбий плавник.
 А я так не люблю рыбу...
 Гадость.

Софья Исаченкова

* * *

Сойди. Сойди с кончика моего фильтра едким серым дымом, заполняющим все пространство вокруг. Всепроникающим, всепоглощающим. Сойди. Сойди со ступенек вниз, на холодный мраморный пол босиком, давая холоду проникнуть в самые глубины твоего тела. Сойди. Сойди с последней остановки, ведь ты ненавидишь окончания. Оглянись вокруг и позволь тишине поглотить тебя, окутывая зеленью сосновых иголок. Сойди. Сойди с этой линии, собрав все остатки жизненных сил. Последний рывок, последний шанс узнать какой бывает жизнь, последний раз для безумств. Сойди.

34 дня до второго марта

Будь морозным воздухом в моих легких. Будь аместистом в моих венах. Будь вихрем снежинок в моей голове. Будь образом прошедшего Рождества в моих глазах. Будь неразборчивым скрипом сугробов под моими ногами. Будь моим сном зимней ночи.

Александра Косачева

* * *

Справа и слева и сверху и сбоку была бесконечная вечность,
С ветром и пылью,
И запах полыни,
И светлая точка в дали – смотри.
Гляди безотрывно:
Сайгак или заяц,
В бинокль не видно,
Но вроде не заяц,
А даже, скорее, корсак.
Натирает тяжелый рюкзак.

Обгоревшие руки царапает флиски,
Цель будто бы близко,
Но это, конечно, не так.
И полнится Смыслом
На ужине миска,
И кажется мир весь огромным и чистым
И в нем ощущаешь себя трубочистом
Чумазым, усталым, от счастья лучистым,
Так хочется спать, но в палатке бардак.

Все пустяк.
Все тип-топ.
Все ништяк.

* * *

После первого полета вышли дюжины коробок:
Хлама, тряпок, старой Гжели, бусин, прочей ерунды.
Мне одиннадцать. Я тот же славный маленький ребенок,
Килограммами игрушки, платья, книжки и мечты.

Вот второй полет. Подросток. Хватит дюжины коробок.
Девять сотен километров, мусор не перевезешь.
И уходят в бак игрушки, половина старой Гжели,
Пара книжек, часть бумажек, куча тряпок, старый нож.

Переезд готовим третий. Много шмоток и гитара,
Два привычных амулета, книги, горстка пустяков.
Много места мне не нужно и вещей довольно мало,
Полдюжина коробок. Влезу. Будем без оков.

Сколько нужно переездов, перетряхиванья жизни,
Взглядов на приоритеты, что бы быть без барахла?
Через сколько лет при мысли о грядущих переменах
Будет мне хватать с запасом небольшого рюкзака?

Инга АБЕЛЕ

Рада была услышать, что скоро и русский читатель сможет познакомиться с прекрасным романом Инги Абеле «Ивовый монах» в переводе Роальда Добровенского. Литературные достоинства романа, поэтичность, богатство метафор, по которым безошибочно узнается почерк Инги Абеле, сочетаются здесь с глубоким проникновением в суть исторических событий, но этим дело не ограничивается. Книга повествует о той части истории Латвии, о которой до сих пор было сказано очень мало – об истории Латгалии XIX-XX столетий.

Прототип главного героя романа Франциса Себальда – выдающаяся историческая фигура, священник, политик и литератор Францис Трасунс (1864-1926), один из первых образованных латгальцев, человек редкостного ума и таланта, роль которого в становлении Латвийского государства невозможно переоценить. Его жизненный путь отмечен противоречиями и трагическими коллизиями, тяжелейшей из которых была экскоммуникация, отлучение от церкви. Часть вопросов, встающих по этому поводу, десятилетиями замалчивалась, часть до конца не исследована и не ясна до сих пор даже и для самой католической церкви. В Ватикане реабилитация Франциса Трасуна произошла лишь в конце восьмидесятых годов прошедшего века, однако в Латгалии никогда не переставали любить своего пастыря и государственного мужа, высоко ценить его кристальную честность, так мешавшую его оппонентам сводить политические счета.

Инга Абеле не стремится придерживаться одних лишь биографических фактов. Она открывает широчайшую историческую панораму, в центре которой высоко над головой, точно канатоходцы, священнодействуют Францис и его брат Езуп, по воле и фантазии автора – первый латвийский воздухоплаватель и летчик; в основу этого образа положена судьба генерала Язепя Башко (1889-1946), pilota легендарного русского самолета «Илья Муромец». Реальные судьбы исторических личностей переплетены в романе с вымышленными, те и другие вступают в сложную, подобную шахматной, игру; читатель порою не без труда разбирается в ее хитросплетениях, но усилия эти оправдываются результатом; так оно и происходит с настоящей литературой.

Приходилось слышать от читателей, в особенности из других краев, что лишь по прочтении романа Инги Абеле «Ивовый монах» к ним приходило понимание Латгалии, ее истории и идентичности. Если Францис Трасун, по общему признанию, добавил в венец Латвии третью звезду (Латгалию к Видземе и Курземе), то Инга Абеле своим романом ввела Латгалию в латышскую прозу. Но книга – не только об истории, она – скорее фон, на котором разворачивается рассказ о человеке и его Боге, человеке и его выборе, о рождении и смерти, о любви и предательстве – метафоричный, многослойный и глубокий, как колодец библейского Иакова, из которого можно черпать и черпать без конца.

Анна Ранцане

ИВОВЫЙ МОНАХ

Роман

*С латышского и латгальского. Перевел Роальд Добровенский**

Все описанные здесь ситуации и персонажи вымышлены, однако вдохновляли меня реальные исторические личности, и черты их проступают на фоне подлинных исторических событий.

Автор

ЗАПЕВ

Я узнала его сразу.

Меж страницами песенной книги Латгальской Богоматери я нашла его портрет на пожелтевшей газетной бумаге. Одет скромно, но статья, осанка... Ни намек на привычную крестьянскую тяжеловесность. Моя крестная мало что могла о нем сказать – священник, учился в Петербурге, магистр теологии, деятель Латгальского пробуждения, государственный муж, воссоединил Латгалию с Латвией, но папским декретом отлучен от католической церкви.

...Точно таким я себе его и представляла. Ослепительно белый твердый воротничок окружил тонкую шею, но галстук завязан не без изящества. И стройность. И врожденный вкус. Вот он в церкви,

* Перевод романа Инги Абеле "Ивовый монах" осуществляется при поддержке Фонда культурного капитала Латвии.

точно порыв свежего ветра, ненароком забредший сюда, вот прошумел прозрачной волной перед алтарями, вот выступил рельефом из красной кирпичной стены. Вот, незримый, явился, преклонил колени, осенил себя крестным знаменем, проходит сквозь ряды молящихся, спотыкаясь о вытянутые ноги. Отразился в девичьих глазах, шутиливо взлохматил волосы ребенку, почти коснулся ладонью дряхлых морщинистых щек. И мнится седовласым прихожанам, будто коленопреклоненный ангел сомкнутыми, белыми, как снеговая туча, крылами послал сноп света в их лица.

Но он что-то ищет.

Поздний ноябрь. Вот уже неделю, не унимаясь, сыплет холодный, монотонный дождь. Мой путь – из Разны в Лубану. Не всегда удастся поесть, да и поспать тоже. Зато в Ругайи меня ждет крестная. Ждет хлеб, теплый, насыщенный. Когда я слышу латгальский говорок моей крестной, в ноздри ударяет запах свежеиспеченного хлеба. В детстве я держала в руках горячий, только что из печи каравай, пахнувший тмином; масло текло по руке до самого локтя, и вокруг говорили на латгальском.

Понадеялась на автостоп, но мне не везло. Капало не только с меня, с моей шапчонки, с косточек сомкнутых рук, капало и с рюкзака, набитого книгами. Кто же захочет прихватить в машину с обочины целую лужу? Я уже и смирилась, перестала поднимать руку, махать. Услылав за спиной на Дагдском шоссе шум колес, оборачивалась, чтобы сквозь серую пелену дождя взглянуть на шофера. Ни один не остановился. Я их не осуждала.

Влага на спине уже добралась до кожи, лямки тяжелого рюкзака, точно проволокой, резали плечи. Но вот, наконец, над рекой Резекне, на взгорье я увидела красно-кирпичную церковь с двумя высокими башнями, верх которых пропадал в серой, быстро тающей мгле. Увидела: со всех сторон в церковь стекаются люди. Вскоре я уже вместе с ними брела по грязевой кашнице, в которую долгий дождь обратил путь наверх. Путь к собору Сердца Иисусова, кафедралу Резекне-Аглонской диоцезии. Был обычный будний день, обеденное время, но люди шли и шли. Женщины и мужчины, старцы и юноши, ученики ближней школы.

Когда в храм вошел Францис, я ахнула. Однако ничто не указывало на то, что его видит кто-нибудь еще. Каждый углубился в свою молитву перед началом святой Мессы.

Обойдя храм, он направился к алтарю Милосердия Божия, туда, где по-латгальски написано: *Jezi, es izatyci Tev* – «Иисусе, верую в Тебя», и молитвенно склонился перед вочеловеченным Словом.

Он склонил голову и погрузился в адорацию, как лебедь в воды предрассветного озера. Весь его облик говорил без слов: молящийся сознает себя созданием перед лицом Создателя. А рядом, а вокруг являлись, выстраивались за рядом ряд и на вершине света таяли в красочных отсветах витражей белые – птицы? Нет же, нет. То были зыбкие образы латгальских мужей в льняных и посконных, отстиранных до немыслимой белизны рубахах; зыбкость образов не мешала угадывать скальную твердость мужских плеч. Будто после бани, босые, с узлами одёжи за пазухой, с рваными смертельными ранами в груди они стояли на коленях, молясь вместе с Себальдом, и я видела их склоненные головы, их упрямые затылки.

В этом моем видении склоненные головы латгальских стрелков и только что пришедших богомольцев оказались вместе и рядом. Чудной и чудный калейдоскоп, в котором неудержимо сменялись странные картины – то солдаты с крылами, то ангелы в грязных обутках, сам Христос с косою в руках и в посконной рубахе; вот мой Францис в руцех Богоматери, вот свечи горят, вот просиял взгляд святого Франциска, говорящего с волками, – и внезапный удар грома, буря, и высокий горделивый храм Сердца Иисусова вдруг превращается, возвращается в первоначальное хрупкое строение, в деревянную церковку, только что пораженную молнией. Когда это было? Говорят, в конце позапрошлого века, во времена иезуитов, вот в какую даль меня занесло, и я почему-то не могу выйти из-под власти магического наваждения.

Я стою рядом, совсем близко. Трещит и ревет огонь, стены рушатся одна за другой, искры брызжут целыми роями. Пламя алым застилает мой взор, я едва успеваю отскочить от падающей церковной башни – она опрокидывается навзничь, как подрубленная ель, гулко ударяясь об землю. И тут же, на глазах, башня смешивается с почвой и прахом. Тают серебро и позолота статуй, текут растопленный лак и свечной воск, иконы догорают, обращаясь в зыбкие пленки пепла, тут же уносимые горячим ветром. Как муравьи, снуют вокруг папские служители, искры трещат, влетая в их взлохмаченные волосы, и вонь горелого мяса всепроникающая.

А потом воцаряются странный покой и странный свет – точно до начала мира или после его конца. Храмовый холм гол. Лишь черный

скелет – все, что осталось от божьего дома, – призраком вздымается над землей.

...И еще потом меж его ребрами уже зеленеют кусты. Краснотал, побеги серебристой ивы, хрупкая, зыбкая ветла, верба с пушистыми вешними комочками сережек. Все это сбежалось сюда, точно табун ошалевших коней, спасающихся от огня. Сбились в кучу, вплотную, лоза к лозе, прячась от безжалостных щупалец прогресса. Сцепились, сплелись, вздрагивают и качаются на свежем утреннем ветру, блестят, как шелк, колышутся, как вода, оберегают свою церковь, свою ивовую колыбель, такую легкую, непрочную на вид, такую гибкую и упорную, незыблемую внутри, назло всем погибелям мира возникающую заново каждой весной.

С новой силой возликовал церковный хор, вызывая меня из глубин моего видения. Некий шелест пронесся по храму; молящиеся поднялись на ноги. Из ивовой церкви я возвращаюсь в краснокирпичную готику. Стук каблуков – это вошел епископ в сопровождении протостов и служек.

Я высматриваю Франциса. Да вот же он – впереди, открывает шествие к алтарю Сердца Иисусова в убеждении, что это и его паства, и его месса. Францис так же, как я, перепутал времена, – он и вправду был деканом в Резекне, но сто с лишним лет назад. Ныне он только призрак, дух смятения, бледная матрица плазмы, моя память. Епископ не заметил и прошел сквозь него, наступил, как на каменный пол. Пролистал, как страницу молитвенника. И встал на его место.

Францис в огорчении отступил в тень амвона.

Дождь, вновь окрепший, снаружи бился об окна. Я пробуду здесь долго. Церковь – мое убежище в прямом смысле слова. Она согреет тело и высушит платье, даст долгожданный отдых ногам и мир душе. Из всех мне известных богослужений католическая святая Месса самая красивая.

Я искала свободное место и нашла его в правом приделе, где короткость скамьи оставляла тебя без соседей. Десятки рук брали книжечку Teicīt Kungu – «Обратись к Господу», и мои руки тоже. Десятки рук листали ее страницы, и мои тоже. О, эти страницы, пожелтевшие, со следами слез и пота, с отпечатками пальцев, с прилипшими волосками и с временем, которое от них не отодрать. Обложки поцарапа-

ны молодыми ногтями, женские руки ласкали листки с молитвами и песнями, пропащий мужичок с жестокого похмелья хватался за них, как за спасательный круг, лепечущее дитя пробовало молитвенник на зуб – первый еще, молочный.

Листая драгоценные страницы, я ощутила рядом чье-то присутствие. Обернулась – и лицо мое вспыхнуло: то был он. Францис стоял рядом.

Зазвучал орган, Его Преподобное Превосходительство приступил к литургии.

Епископ: *Dīva Tāva un Dāla un Svātuo Gora vuordā.* – Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Паства заудела, теплая, как пчелиная семья в зимнем заснеженном улье: Amen.

Епископ: *Dīvs Kungs lai ar jums.* – Господь да пребудет с вами.

Паства, так же многоголосо: Господь с тобой.

Епископ: *Lai mēs varātu cīnegi pīsadaleit svājtjā Mises upurī, nužāluo savus grākus, lyudzūt nu Dīva pīdošonu.* – Дабы достойно принести жертву святой Мессы, покаемся в наших грехах, прося от Бога прощения.

Мгновение полной тишины. Опустив головы, люди заглядывают себе в сердце в надежде очищения. Францис дышит рядом тяжело, как загнанный конь, он другой, совсем не такой, как при недавней адорации. Озирается на все стороны. Пот выступил на висках, с кончиков волос вот-вот закапает.

По окончании мессы я его успокою. Отвлеку разговором, ну, например, о кудеснике Вигановском, инженере-строителе из Рижского Политехнического института, том самом, что в короткий срок врастил в почву Латгале три католических храма – кафедральный собор Сердца Иисусова в Резекне, церковь Святого Франциска в Риге и церковь Сердца Иисусова в Виляке. Почерк Вигановского распознается мгновенно уже издали в крепких, ладных псевдороманских строениях с парными готическими башнями. Да, добрую славу оставил по себе на вечные времена Флориан Вигановский.

Францис прервал мои раздумья, внезапно обратясь ко мне с вопросом:

– Не знаешь, где моя сутана? – спросил он, побелев как мел; губы закусены до крови.

– Они вас ее лишили.

– Почему? Неужто Бог оставил меня?

– Бог не оставлял вас никогда, Францис. Вы всего лишь хотели быть свободным.

Его прикосновение было легким, словно бабочка задела крылом. Легким, но точным. И я в первый раз взглянула ему в глаза. В зрачках чернело время, бездонные колодцы, и вот уже мы падаем сквозь времена, мы оба. Он крепко держит меня за руку, и я вижу, вижу все своими глазами.

4 апреля 1926 года. *Sursumcorda*¹

Пасхальное воскресенье. Светает.

Пока что небо над Ригой похоже на опрокинутое морское дно с полными вмятинами от волн. Белесые облака по краям готовы вспыхнуть, как только из-за горизонта выкатится слепящий шар солнца.

В Московском форштадте древесные стволы и замкнутые ракушки домов еще окутаны синеватой мглой, но верхушки крон и церковных башен уже посветлели над сложной путаницей ветвей и дремлющими птицами. Энергия наступающего дня едва ощутима, однако упруга, как бутон, зажатый в руке.

В доме на улице Католю еще темно, никакого движения. В гостиной одной из квартир маятник часов ходит туда-сюда, словно бы преодолевая пожизненную усталость, запертый в тяжелом дубовом футляре с грубой резьбой. Дверь спальни приоткрыта, в проеме можно видеть окно, выходящее на кладбище Всех Святых, липы на той стороне улицы. Занавеска отдернута так, точно кто-то рванул ее, остро нуждаясь в глотке свежего воздуха. Запыленные стекла чуть заметно повлажнили в предутреннем холодке и скупно пропускают к одинокому обитателю жилья крохи света.

Старик спит под тонким байковым одеялом; в узловатой руке скомкана газета – «*Latgolas Vords*» полугодичной давности. Вся первая полоса отдана рижскому архиепископу Антонию Илдефрансу; буквы и слова еще неразличимы, но человек знает и помнит их даже во сне.

«С прискорбием и болью душевной приходится ныне уведомить тебя, возлюбленный наш народ, что одно из духовных лиц нашего архидиоцеа, Франциск Себальд, нарушило священнические обеты и

1. Выше голову! (Латин.)

ослушалось воли Святой Церкви. Дабы вернуть его к исполнению святых обязанностей, мы еще ранее отстранили слушника от алтарного служения. Но он, не выказав и малейших признаков исправления, в слепом упрямстве готов был попать ногами авторитет не только своего архиепископа, но и делегата Святого Отца и даже самого Святого Престола. Посему святая Церковь, духовная Матерь всех верующих, согласно указаниям Господа нашего Иисуса Христа и Его святых Апостолов, постановила заблудшего пастыря Франциска Себальда, как окончательно поврежденный член, отсечь от тела Церкви, дабы дурной пример не вредил и не заражал собою других, верных Церкви, ее членов.

Таким образом, не из каких-либо светских или политических соображений, но в целях возвращения заблудшего и строго исполняя указания Святого Престола, мы предаем гласности следующий Декрет святого Собора конгрегации в Риме об отлучении от церкви пресвитера Франциска Себальда.

Поскольку священник Рижского диоцеза Францискус Себальд пре-ступил канонические законы, а именно статьи 133 и 136 Кодекса и не исправился, хотя был предупрежден многократно, Рижский архиепископ отстранил его от служения.

Ныне с точностью установлено, что названный священник вот уже полтора года с ожесточенным сердцем продолжает упорствовать в своих заблуждениях и не только игнорирует наложенное на него наказание, но использует его как повод для публичных нападок на духовное руководство и обвинений, к соблазну и повреждению верующих.

Посему, заботясь о благе этих самых верующих и для надлежащей защиты сана духовных руководителей и дабы сломить с Божьей помощью упрямство самого несчастного пастыря, конгрегация Святого Совета, взвесив названные обстоятельства, постановляет: вышеназванного священнослужителя Францискуса Себальда отлучить от церкви; настоящим декретом объявить его отлученным со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями, если он в назначенный его архиепископом срок (который однако не должен превышать 20 дней, считая с сегодняшнего числа) не раскается, не исправит содеянного, не подчинится указаниям своего архиепископа, не объявит публично о своем заблуждении и не отзовет свои обвинения.

Вместе с тем все, что противоречит данному декрету, теряет силу.

Дано в Риме, в 21 день июля 1925 г.

Подписались: Донатс Кардинал, префект Славейти, И. Бруно, секретарь.

Итак, возлюбленный наш католический народ, Рим сказал свое слово и произнес приговор.

С сего дня заблудший пресвитер Франциск Себальд исключен из духовного сообщества Католической Церкви. Он не может присутствовать на публичных молениях, церемониях, каким-либо образом участвовать в службах и требах, вести богослужения, причащать и причащаться святым таинствам. Он лишается церковных должностей, титулов, почетных званий и всех других привилегий и прав и не может их заново обрести. И если, не дай Бог, он умрет в том же сердечном ожесточении и не раскается перед смертью, то даже похоронить его на освященном церковью кладбище будет запрещено. Таковы юридические последствия отлучения, пока он не отречется от обаяний сатаны, не признает свою вину и не покается, не исправит содеянного зла и не вернется окончательно к послушанию святой церкви и единению с ней. Дай Бог, чтобы это произошло!

Всем деканам, пресвитерам, пастырям приходов поручаю зачитать это мое послание во всех церквах архидиоцеза во время богослужения в первое воскресенье после его получения.

Дано в Аглоне 8 сентября 1925 г.

На оригинале – собственноручная подпись Его Превосходительства:

Антониус Илдефранс, Arch., eppus Rigensis».

Человек отбросил смятую газету и присел в постели. Скомканное тонкое одеяло свесилось до самого пола. Еще одна бессонная ночь позади. Веки задрожали, открывая и закрывая воспалённые сухие глаза.

– Тереза!

Овал зеркала на стене напротив отражал пустоту. Изношенный паркет потрескивал под тяжестью времени – казалось, это легкие шаги звучат, постепенно удаляясь. Терезы здесь нет. Она ушла в первый день Адвента.

И все же он спал. Во сне он как будто опоздал на Большую Мессу, пытался влиться в процессию, но был разоблачен, его гнали по ка-

ким-то сырым и страшным пространствам, все больше напоминавшим ад, пока окончательно не загнали в нечто, означавшее агонию. То была богооставленность, это она доставляла ему величайшую муку. Во сне он кощунствовал и сделался уже частью ада, больше того – выбором его было не освободиться от ада. Дыхания не хватало, в своей глухой постели он продолжал звать к Богу – беззвучно, бессловесно, всем своим существом, недвижимый, как черная лесная бочага, награжденный сознанием того, что страшный бред оказался всего лишь бредом, кошмарный сон – только сном. Он молился и отчаянно пытался обрести и почувствовать любовь, без которой не умел дышать. Постылое зло – страх, гнев, вражда, отвращение – противилось, не желало отпустить.

Угол комнаты, отданный домашнему алтарю с распятием и иконами. Алтарь он пару месяцев назад сам, точно мальчик-пастушонок, вырезывал, перочинным ножом работая по дереву. Тереза повесила над алтарем три образа: Сердца Богоматери, святого Иосифа и Пресвятой Девы Марии, украсив их бумажными цветами. В самом центре сверху – семейная реликвия столетней давности, живопись неизвестного мастера на сосновой доске, икона Сердца Иисусова, перед которой мать Франциса, Ива, пела псалмы, молилась за умерших и живых в дни бедствий и разлук; перед этой иконой она предлагала помолиться убогим и нищим, которых принимала и кормила чем бог послал. Заступничеству этого святого образа предоставил свою паству Доминикус, правест того прихода, к которому принадлежал отец Франциса Станислав, основавший в свое время деревню Колнасола. Францис помнил слабый свет, падавший на этот образ от лампадки, помнил прощальную ночь, проведенную в молитве, помнил льняные рубахи, в которых наутро отправились в дальний путь, в Елгаву, двое сыновей Станислава – Иосиф, по-латгальски Езупс, и он, Францис.

Старинные часы в гостиной еле слышно захрипели, словно бы откашливаясь, как всегда перед тем, как зазвонить. Часы его отца, Станислава. Францису это откашливание знакомо с младенчества так же, как биение собственного сердца. Во времена его детства к цепи, кроме тяжелой гири, привешивались огромные гвозди и подковы. Каждые две недели Танцлов поправлял ход часов, сверяя с петушиным пением, с восходом и закатом солнца. Спорить с отцом в этом вопросе было бесполезно, – он и только он решал, когда и какое время должны отбивать его часы.

Теперь Францис ждал – сколько же раз они пробьют? Шесть. Шесть утра. Удары негромкие, долгие, и упадают в тишину, как в колодезь. Позавчера он не мог найти ключ от часов. Не заведенные вовремя часы, кажется, стеснялись сами себя. Что-то в них еще дольше, чем всегда, хрипело и булькало, прежде чем произвести глухие невнятные звуки. На кирпичной печи – плетеная корзина, там спит собачонка. Застонавшие часы разбудили песика, он твякнул почти без звука, откинув голову. Францис этого не заметил; взгляд его был уставлен в окно, за которым позлащенные верхушки деревьев вхлохматил утренний ветерок, не помешавший невозмутимым и черным, точно бы лакированным галкам, кажется, намертво прикрепленным к ветвям.

Возле дверей – надреснутое зеркало комода, прислоненное к белой стене. Ближе к постели – небольшой секретер, некрашенный, местами поцарапанный; поверхностью, назначенной для письма, служит ставень из родной Колнасолы. Несколько фотографий представляют Франциса в разные периоды жизни, на всех запечатлен он один.

Францис не без труда встал. На нем белье с чужого плеча; подарил его вместе с щенком итальянской левретки папский нунций Алесандро Цукини. Францис не знал, какому римскому епископу, а может, и кардиналу прежде принадлежала эта вещь, ситцевые рубашка и штаны, шитые одним куском. Разве в этом дело? Главное, в ночном наряде тепло и удобно, и позади есть клапан, экономящий движения в той камерке с сердечком на двери. Щенок с момента дарения нисколько не вырос, обратившись в существо, чья синевато-серая кожа напоминала оципанную курицу. Францис назвал собачонку именем героя гомеровской «Илиады» Гектора. При малейшем движении воздуха Гектор начинал дрожать, как предутренние сиреневые отражения в озере.

Старец внезапно застонал и, согнувшись, охватил костлявыми пальцами спину там, где почки и где смутно поблескивали вшитые в откидной клапан плоские перламутровые пуговицы. Он всматривался в зеркало над комодом, ожидая, когда боль отпустит, и решал: сегодня следует побриться. И вздохнул, ибо это означало, что придется еще и топить плиту.

Его вздохи становились в холодной комнате облачками пара. Шея втянута в плечи. Осердясь на свои негибкие кости, старик хлопнул себя по коленям так, что пыль взвилась. Разминаясь, он все же добыл толику тепла в онемевших жилах. Где оно, то время, когда Францис Себальд на вечерах Петроградского Музыкального общества крутил-

ся, как с силой запущенная юла. А еще раньше были, ведь были же веселые сборища в родном поселке, танцы – польки, кручелки, кадрили... Он помнил и добрую старую мазурку, весь рисунок, ритуал танца – поклон налево, поклон направо, улыбнуться паре напротив, на лету коснуться правой лодыжки, левой – и вихрем, вихрем... Теперь припасть на правое колено, следом на левое, а Тереза, легкая, как пушинка, плывет рядом, и вшитый в ее корсет китовый ус похрустывает то у одного уха Франциса, то у другого, точно снежный наст в оттепель... и вихрем, вихрем!

Францис смахнул воспоминание, а вместе с ним и каплю, выступившую на кончике носа. С возрастом слизистые оболочки подсыхают.

Он перемешал в топке плиты присыпанные пеплом угли, заботливо уложил поверх угольков поленья. Подул. Прислушался. Подул еще раз, сильнее. Прислушался снова. На изгибе медной решетки вспыхнул клочок бересты, и огонь занялся. На дне котла, вмурованного в плиту, мигом нагрелась припорошенная пеплом вода. И вот он уже привычно взбил в мелкой оловянной миске кисточкой мыльную пену, покрыл ею щеки и шею; роняя время от времени с лезвия бритвы пену со снятой щетиной в ведро, он бормочет утреннюю молитву, слышанную в детстве от старой Хадерманихи:

– Благослови, Господи, мою коровушку... благослови дела мои... благослови каждое вымечко и каждую каплю молока... Я на путях Твоих, Боже, и Ты в каждом шаге моем...

Плюх – последняя порция пены отправилась в ведро; для верности он лишний раз провел бритвой по гладкой коже.

На башне церкви св. Франциска в этот миг запел в чистом симажоре, зазвучал, загудел колокол Флориан, возвещая утреннюю зарю. У Франциса вдруг задрожали пальцы. Он распахнул кухонное окно и до половины высунулся наружу. Над тротуаром плыли обрывки прошлогодней паутины. Свежевыбритое лицо вместе с прохладой тронуло дуновение от глубокого колокольного звука. *Defunctos ploro. Florianus est nomen meum** – пальцы Франциска вспомнили надпись, выгравированную на мощном корпусе Флориана. Может быть, не каждому, да и на твою долю лишь однажды в жизни выпало счастье своею рукой коснуться, погладить сорокапудового великана. Он был, присутствовал. Видел, как оба колокола, вернувшиеся из России, куда

* Оплакиваю умерших. Мое имя Флориан. (Латин.)

их эвакуировали в начале войны, возвращались на свою башню. На втором колоколе была надпись: *Lauda Deum vertum, Franciskus est potep teum*** . Так что и Франциск вернулся после Первой мировой. Только лишь София, меньшая сестра Флориана и Франциска, пропала где-то в дымящихся руинах империи, должно быть, переплавлена и стала частью артиллерийского ствола.

В чайнике уже давно булькала и металась вода. Франциск справился с волнением, присел к столу. Плеснул кипяток в треснутую фарфоровую чашку из Апулии, бросил сверху сушеные брусничные листочки и отставил в сторону, чтоб заварились, – это будет чай целебный, средство от почечных камней. Отрезал ломоть ржаного хлеба. Налил немного молока из медного чайничка. Молоко в дом католической курии доставлял дважды в неделю Иван из усадьбы Клейстов. Десны кровоточили и саднили, а засохший хлеб был тверд, как придорожный валун.

Вот уже три месяца, как в доме нет хозяйки, готовить же Франциск до сих пор так и не научился. Грызет черствый хлеб, откусывает кусочки копченого сыра, делится с собачонкой. Обоих истощил долгий пост, разговеться будет трудно. Горстка крупы, сваренная на неверном огне, была все это время их обыкновенной трапезой.

Покончив с завтраком, он ополоснул в ванночке с талой водой кривой нож и чайную ложку, серебро которой так истерлось за десятилетия, что выглядело не толще бумаги. Затем отправился в нужник; там, как ни старался, обронил несколько капель мимо цели. Постановившая, Франциск нагнулся, вынул из мышинного лаза старый шерстяной носок, старательно подтер пол.

Потом в гостиной, о чем-то задумавшись, он замер под стенными часами, позволив небытию поглотить безвозвратно семь минут его жизни.

Словно очнувшись, открыл шкаф. Вот его черная сутана. Вторая кожа священника. С внезапной нежностью Франциск протянул руку, коснулся мягкой ткани. Мать когда-то пряла, Тереза шила. Франциск встряхнул сутану, проверил швы, – не затаилась ли моль. Вспомнил вдруг примерку – и ту чувственность, что излучали пальцы Терезы, через швы нечаянно касавшиеся его тела. Всякий раз, когда их взгляды встречались, меж ними проскакивала искра, но оба остерегались. Оба

** Славлю Бога истинного, мое имя Франциск. (Латин.)

держались. На расстоянии тонкого шва прожили жизнь, обе жизни.

Часы в гостинной закашлялись и двойным ударом возвестили полчаса. Ему послышалось в их привычном хрипе: Все Потеряно.

Францис вернул сутану на место и открыл вторую дверцу шкафа, где висел его темный гражданский костюм, а на полке над ним ждала аккуратно сложенная белая сорочка. Опять же – материна пряжа, ткань, а пошито Терезой. На локтях рукава уже лоснились. Францис оделся, повязал галстук. Накинул плащ, надел котелок – и готов к прогулке, ни дать ни взять рижский модник.

– Гектор! – позвал собачонку, хотя та и без того уже скакала вокруг в радостном предчувствии.

Францис нагнулся, надел собачке поводок.

До чего же странно – воскресенье, а ты идешь не в церковь.

Такое с ним впервые в жизни.

Францис отворил входную дверь и наткнулся на чей-то жесткий взгляд.

Полуэтажом выше, на лестничной площадке перед бывшей квартирой правеста Николая Планиса мялась его пассия, Грязнуля Мария. Полоумная. И повидавшая виды. Сколькo ее ни хватали, ни доставляли в приют или в сумасшедший дом, она возвращалась. Вечерами бродила кругом, попрошайничая или торгуя телом, ночевала, укутавшись в какое-то тряпье, тут же, на лестнице. Планис прежде был правестом церкви святого Франциска, но его давно уже перевели куда-то на окраину, и в принадлежащем курии доме он появлялся редко.

По утрам, вцепляясь в кованный узор лестничных перил, Грязнуля Мария встречала Франциса внизу, ближе к выходу. Блестели навстречу белки ее глаз, виднелись оскаленные, как у зверя, зубы. В ранние морщинки словно навсегда впитались пыль и беда.

Она встречала его всегда одним и тем же вопросом:

– Ну, Себальд, где ж он, твой Бог?

Францис отвечал сообразно настроению. То отшучивался, то увещевал. Иной раз отвечал не без едкости, а бывало, находил слово мягче. Случалось, и вовсе проходил, не утруждая себя ответом.

На сей раз он сказал:

– В церкви.

– Ты идешь к нему?

– Да.

Грязнуля Мария взвешивала сказанное им.

– Тебе нельзя в церковь.

Францис, сам удивившись тому, что сорвалось у него с губ, замер у порога. Затем пожал плечами и поспешил на улицу.

Улицы, дома, деревья покрывала прозрачная ледяная пленка, под которой уже бродили апрельские соки. Францис торопился, скользил, спотыкался, падал, вставал. И не заметил, как оказался в ближнем парке. Когда-то здесь хоронили бедных. Рядом – Всесвятское кладбище. Так оно и водится: сперва могилы, потом сад или парк, а еще потом – город. Жизнь возводит что хочет на костях иных поколений. Но он-то, Францис, еще жив. И – впрямь явится в церковь?

Это был бы скандал.

Францис прислонился спиной к стволу старой липы. Недостаток сил, неспособность быть в полной мере собой – какая же это боль!

Да, он идет в церковь. И не в ту церковь святого Франциска, что по соседству, а в кафедральный собор Иакова в самом центре Риги. У Франциса Себальда нет причин скрываться. Пусть прячутся они! В конце-то концов, нынче Пасха! Время прощать. Прощать даже наибольшие обиды.

– Иди, иди, чтоб тебя выгнали оттуда как собаку! – кричит ему вслед Грязнуля Мария, и ее полубезумный хохот провожает Франциса, когда он приводит с прогулки Гектора и затем отправляется – куда? – в церковь.

Ничей смех его не удержит.

Францису нужно бы этим утром стоять у себя в храме – в длинной белой альбе, в парчовом орнате с шелковой столой на плечах, с великолепной монстрацией, дароносицей в руке, – там ему должно быть, в белом и золотом, в славе и благочестии, а не среди толпы, рядом с надутыми дамами, только и умеющими, что бить служанок по щекам, не с господами, норвящими сунуть вам в дружески протянутую руку какой-нибудь отравы.

По правде говоря, архиепископ – еще не самая большая беда. Пусть он справляет мессу как хочет и справляется со своими грехами как может. Францис тоже без мессы не останется. Если уж никак иначе, постоит тихонько в ризнице, радуясь Божьей близости. Францис алчет тела и крови Христовой, явленных в образе вина и хлеба. При Тайной Вечере Господь наш Иисус Христос, преломив хлеб и подав апостолам,

ученикам Его, сказал: «Примите и ядите, сие есть Тело Мое», и взяв чашу, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Францису недостает всего названного не в каком-то переносном или символическом смысле, а сугубо реально – ему жизненно необходимо, чтобы Христова Месса становилась его плотью и Христова Кровь заструилась в его жилах. Тут и есть то, чего дать не может ничто другое и никто другой: Христос становится для человека не только Учителем, не только нравственным идеалом. Он становится хлебом насущным. В ходе святой Мессы человек воссоединяется с Богом духовно и телесно.

Тело Франциса изнемогает от боли. Церковь не допускает Франциса к исповеди, и он себя ощущает бегуном, которому годами не дают омыться. Потным, измызганным там, под внешней оболочкой. Водой ведь такое не смоешь.

На пристанционную площадь уже съехались извозчики. Францис остановился, смотрит на лошадей. Что для них время? Как постичь их непонятную жизнь? Вот эти, две в одной упряжке, грызут удила, переступают ногами, вот одна другой вроде бы в шутку нежно прикусила шею. Судьба извозчичьих лошадей – вечное ожидание, вечное неведение – что дальше? Францис уставился на ближайшую: глаза полузакрыты, ноздри ходят – вдох-выдох, вдох-выдох. И кто же осмелился эти стройные, гладкие ноги заковать в металл, точно в пыточные башмаки? Теперь им уж не бежать на воле, не лететь в раскрытый простор, трепеща от радости, теперь их удел – шаг за шагом везти по городу носителей кошелев, толстых и тощих.

Бородатый, плечистый фурман в щегольски заломленной фуражке, на экипаже сбоку, как положено, номерной знак: 154, оглядел слишком легко одетого Себальда. Сам-то он в длинном пальто с кожаными рукавами: весна еще в начале, по утрам ох как свежо; поверх пальто кожаный фартук, чтобы ископытать – грязь, летящая из-под лошадиных ног, не заляпала колени.

– С Христовым воскресеньем вас! Куда едем?

– И вас так же. А едем? Да напрямик в пекло. – Франциса уже грызло сомнение. Верно ли его решение? Не лучше было бы повернуть назад и – домой?

– Ага. Нечистому только того и надо! – Фурман сердито взмахнул кнутом и тут же поднял густые брови, сложив домиком. – А мы ему не поддадимся, так ведь, преподобный отец?

У Франциса щеки аж запылали. Если каждый извозчик в Риге знает его в лицо, нельзя на людях выказывать слабость!

– Да славится Господь наш Иисус Христос! – послышался за его спиной знакомый голос.

– Во веки веков! – отозвался Францис и обернулся, чтобы увидеть говорящего. Тот, в куцем пальтишке поверх пасхального облачения и красной сутаны, казался рядом с тщедушным Францисом чуть не великаном. Старый добрый товарищ, соратник, монсиньор Никодем Римбертс, правест в Прейли. Двумя годами раньше, в то самое время, когда архиепископ наказал строптивного ксендза Франциса Себальда, запретив отправлять службы и требы в приходе, Святой Отец в Риме даровал Никодему Римбертсу почетный титул монсиньора.

Франциса всегда поражало исполненное юмора спокойствие Никодема в самых сложных ситуациях. Казалось, ничто не может его вывести из равновесия. Может быть, наглядней всего это проявлялось в том, с каким достоинством исполнял он, советник Рижского епископа и судья Духовного суда, ритуалы святой Мессы.

– Знакомое лицо! – голос Никодема погрубел с возрастом от долгих напряжений. Слышно было, что в последние годы он мало спит, зато слишком много работает, разгуливает в старой, изношенной чуть не до дыр сутане, все свои средства отдает нуждающимся воспитанникам. Накануне было объявлено, что директор Аглонского реального училища Никодем Римбертс награжден орденом Трех Звезд. Францис хотел было пошутить насчет жалкого пальтишки, вряд ли подобающего орденскому кавалеру, но передумал. Жизненный путь Никодем начинал российским военным атташе во Франции, но после откровения, пережитого именно там, в Париже, кардинально изменился. Вчерашний офицер поступил в Духовную семинарию. Вместе с Себальдом и многими другими он представлял первое поколение латгальских католических священников Латвии, пришедших в храм не ради церковной карьеры или пышного облачения, движимых лишь призванием и подлинной верой. Да, судьба распорядилась так, что недавние соратники как бы оказались по разные стороны фронта. И все же – разве изменилась их заветная суть? Разве они должны теперь смотреть друг на друга с подозрением? Себальд надеялся, что нет.

– Куда путь держим? – спросил Никодем. Он явно спешил и поглядывал в сторону кафедрального собора.

– Туда же, куда и ты. Идем вместе?

Никодем покраснел, брови дрогнули.

– Ты ведь не должен... Сегодня служит Его Преосвященство.

– Знаю.

Францис пожал плечами и опустил глаза. Тоска, снедавшая его, не только не слабела, она ширилась, как лесной пожар. Тоска по святой Евхаристии, таинству Причастия, несправедливо отнятому у него.

Оба молча уставились на башмаки Никодема, выглядывавшие из-под складок сутаны. Видно, монсиньор старательно начищал их, чтобы хоть как-то скрыть царапины и прочие изъяны обуви. Францис глянул на свою руку, ушибленную давеча в парке, сказал:

– А помнишь, Никодем, как мы отслужили Литургию в тюрьме на Гороховой?

И оба на мгновение перенеслись в далекий 1918 год, в Петроград, в застенки на Гороховой, куда их бросили большевики. Было это сразу после заседания Временного Национального совета Латвии; тогда среди них оказался предатель. Смерть в ту ночь казалась неминуемой. Оба помнили, как в сжатом безвоздушном пространстве камеры вдруг возникла молитвенная песня, нарастая вопреки безумию происходящего. Может быть, из их глоток вырывалась и не совсем песня, а тот голый звук, с каким насмерть разбивается волна о скалу. Так или иначе, умереть с песней на устах казалось правильной, чем просто согнуть в немоте и мраке. Для него тот миг завершился беспомощностью.

Вдруг вспомнилось еще, как старый усатый начальник тюрьмы отвечал на все жалобы и протесты: «Поймите же, я тут бессилён!» Заключенных после январских арестов набралось так много, что чекистам с трудом, налегая всем телом, удалось затворить стальную дверь. Почти половина арестованных к утру задохнулись. Среди выживших были архиепископ Ропс, священники Раусевич, Зерчанин, Исаев и они оба – Никодем и Францис. В субботу отслужили Мессу. Они лежали на нарах, грудь Себальда служила алтарем. Засохший ломтик черного хлеба нашелся, а вот вина, да что там говорить, воды не было ни капли. Тогда Францис зубами перегрыз себе жилку под большим пальцем, – что ж, вино святого Причастия у них теперь было.

– Я письмо в твою поддержку подписал, ты знаешь, – сказал Никодем и жадно втянул в ноздри острый весенний воздух.

Как же не знать. Сразу, как только стало известно о его отлучении,

Себальд получил конфиденциальное письмо, подписанное 22 клириками. В нем выражалась поддержка Себальду; в то же время в письме содержалась и просьба не оглашать имена подписавших.

Францис издал короткий смешок:

– Да, спасибо! Оно в моем архиве – ваше сугубо секретное письмо!

Лицо Римбертса, такое добродушное, сморщилось, как если бы он надкусил кислое яблоко.

– А что я мог сделать? Стоило кому-то всего лишь спросить: нужно ли так поступать с Себальдом? – как на него обрушивался начальственный гнев, беднягу тотчас ссылали в какой-нибудь глухой угол. Так было и с Юлианом Вавудсом, помнишь?

Францис не нашелся, что ответить.

Никодем спохватился, что опаздывает. Он стремительно повернулся, подставил Францису локоть, за который тот не замедлил ухватиться, торопливо принаравливая свои шаги к шагам гиганта.

– Ничего я не забыл, – на ходу говорил Никодем отрывисто. – Ни Гороховую в Питере, ни Владимир, ни семнадцатый год. А вот ты случайно не запмятовал, что отстранен от Церкви?

Францис, уязвленный до глубины души, встал как вкопанный.

– Опять духовный суд? Что ж вы на меня навешали все грехи? В чем моя вина, кто мне ответит? И, скажи мне, – в храме, стоя перед аналоем, кто из нас вовсе безгрешен?

– Грешники, из которых я первый, сказал святой Павел, – закивал Никодем, все так же таща растерянного Франциса за собой по узкому тротуару. – Но ведь архиепископ тебе объявил суспендию еще два года назад. Церковь ждала твоего исправления, а ты?!

– А за что, за что была та суспендия? За то, что якобы я живу в плотской связи со своей экономкой, за то, что в Сейм хожу в светском платье, – запротестовал Францис. – Нигде, ни в Европе, ни в Новом Свете уже не требуют, чтобы священник ходил на заседания парламента в сутане! Тебе ли этого не знать, Никодем! Что же касается Терезы – это все бесстыдная ложь! Тереза исправно ходит на исповедь. Сам подумай, уволь я ее – как бы это восприняли? Как подтверждение чужой клеветы!

– Да не о том речь, Франци.

– Тогда о чем же?

– Причина твоего отлучения не в конкубинате, не в светском платье. Ты не подчиняешься ординарию!

Францис еще крепче ухватился за локоть Никодема. Монсиньор продолжал:

– Что это за дела, начальства не слушаться! Послушание в церкви – закон! Если епископ находит нужным, чтоб некий ксендз отпустил свою экономку, а тот, гордец, ни в какую, – что ж, тогда закон суров.

– Да она ушла уже, – произнес Себальд чуть слышно. – Сама ушла, еще в начале Адвента.

Чем ближе к собору, тем чаще приходилось монсиньору отвечать на приветствия верующих. Праздничный люд уже заполнил площадь, радостные лица обращались к любимому всеми пастору с улыбкой; впрочем, эти же лица принимали озадаченное выражение при виде спутника монсиньора.

– Смелый ты человек, Себальд, – не выдержал Никodem. – Тебе хоть кол на голове теши, поступишь по-своему, и похоже, что всем назло.

Францис не мог смолчать. Он поднял и вперил в Никодема указательный палец, как всегда делал, чтобы подчеркнуть важность сказанного.

– Все это, брат Никodem, сплетни и политика. Сам знаешь, Илдефранс любит угодить толпе, на плечах толпы и к своему сану пришел. И не столько пасет, сколько пасется в тучных лугах нашей Латвии. Не он один. Сколько их, разбогатевших за счет нашего добра и нашей свободы! Знаешь, что я ответил архиепископу? Что в храме я ему буду целовать руку, но в политике не он меня избрал, а народ, там я от начальства не завишу. Так я решил и так будет, а что он об этом думает, мне безразлично!

Сейчас в голосе Франциса были жар и напор, почти неожиданные в его исхудалом теле. Люди вокруг начали останавливаться. Нет, Себальда не спасти, подумал Никodem, лихорадочно ища способа отвязаться от упрянца, не слишком его обидев, и поспеть к Мессе.

Солнце не жалело лучей городу, жаждавшему вешнего тепла и света. Уже все было готово к Резурекции – крестному ходу, предшественнику святой Мессы. У стен собора святого Иакова, скопивших в себе веший холод столетий, ждали выхода девушки в платьях, белорозовых, как яблони в цвету; в руках у них были корзинки с цветами. Матери подходили, поправить наряд, набросить на плечи ребенка платок или шаль потеплее, но свежий воздух апреля уже пронизывали токи тепла, и дочери высвобождались из-под ненужных накидок, смеясь и

щербеча звонче окрестных скворцов. Сам кафедральный собор со всей его сединой точно ожил и, если бы глянуть на него с высоты небес, напомнил бы, наверное, муравейник, кипящий новой, внешней жизнью, веселой и неуемной.

– Думаю, беда твоя в том, что ты избрал путь каноника. Ну, мне пора. Будь здоров! Да пребудет Господь с тобою!

Никодем оторвал локоть от локтя спутника и, шлепая по оттаявшим лужам, заторопился к собору. Францис остался стоять, прислушиваясь к сердцу: оно напряглось, как только что взведенная часовая пружина.

На какой-то миг в лице и всей его фигуре промелькнуло выражение полной незащитности, так знакомой тем, кто посмел противопоставить власти свое хрупкое «я». Не сила делает человека героем – хотя и она тоже, – героями чаще становятся те, кто не умеет и не хочет прятать свою уязвимость за напускной бравурой.

Еще с минуту он переступал с ноги на ногу, не в силах решиться и пойти в храм. Ну да, ну да, Никодем, – думал он, – по-твоему, я не должен был становиться священником. А разве люди решают, должен, не должен? Разве я унизил мой сан неверием или неправдой? Разве упрекнул хотя бы раз, хотя бы в самых потаенных уголках души Церковь Христову, разве не отделял от нее непереступимой чертой людские козни и слабости?

Мало-помалу сердце снова становилось собой. Вобрав в грудь глоток свежего воздуха, Францис мимо дверей собора направился к ризнице. Поднял взгляд вверх – прямо над его головой была необычная пристройка к башне, киверок, раньше прикрывавший собою «Колокол бедного грешника», приметный знак и кафедрального собора, и всей Риги. В свое время каждый европейский подмастерье должен был знать: «В городе Рига – три диковины: мост, что на реке лежит, великан, что у ворот стоит (статуя Большого Христофора) и колокол, что снаружи башни висит». Звуки этого колокола возвещали когда-то о казнях на Ратушной площади... Летом 1915 года, прежде чем сдать город немцам, царская администрация вывезла из Риги все, что только могла увезти. Сняли из-под киверка и колокол святого Власия. На медном позеленевшем теле увидели надпись: «Боже упаси нас от чумы и русских». Колокол отправился на Восток, и больше в Риге его не видели.

«Бедный грешник. Вернись он, был бы как раз мой колокол», – чуть не присвистнул Францис.

На паперти храма нищие и убогие на коленях ждали подаяния. Иные – возле самых дверей. Каждому нищему есть в церкви место, только не мне, думал Себальд. Там, внутри, в конце бокового нефа, за хрустальной преградой – монстранция, дароносица, обложенная белым шелком, утопает в зелени и цветах. Солнечные зайчики от высоких окон – точно возгласы ликования, не слышимые, но видимые. Строгости поста уходят, как тени; скорби спешат спрятаться по углам и растаять, точно льдины в бегущей реке. Сейчас архиепископ провозгласит, и народ подхватит:

*Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda!**

Сбоку собора пристройка – ризница, где хранятся облачения и церковная утварь; ведает ею ксендз по фамилии Яковлев. Сейчас помещение, обшитое по стенам светлым деревом, пусто. Францис слышит, как посреди этой пустоты бешено бьется, отдавая в горло, его сердце.

Он осторожно приоткрыл дверь в храм, залитый солнцем. Верующих, прошедших здесь ночь на воскресенье в молитвах и песнопениях, видно сразу. Женщины преклонных лет дремлют на скамьях, головы поникли долу, как пионы после дождя, этих даже колокольный звон не разбудит. Да и старики тоже, то один, то другой, тяжело облокотясь на столик для молитвенника, глядишь, уронил в ладони голову, увенчанную белым пухом, закрыл глаза.

В недоступном для прихожан закулисье Францис издали различил тучную фигуру Илдефранса. Клирики в литургическом облачении, малые чины в белых стихарях обступили архиепископа. Приготавливаются святая вода, фимиам для каждения во время крестового хода. На плечи Илдефранса накинута гумерал – тяжелый плащ с богатым золотым шитьем; архиепископ аж пригнулся. Никому не дозволено брать дароносицу голыми руками, потому за подкладкой шелкового гумерала устроены как бы карманы. Сняв с монстранции белый прозрачный покров, Илдефранс через дорогую ткань ухватил ее обеими руками и поднял перед собой под величавый гул органа.

– Христос воскрес! Аллилуйя! – сейчас возгласит архиепископ трижды, всякий новый раз тоном выше.

* Господь да пребудет с вами. С вашим духом. Выше сердца! (Латин.)

Сколько раз Францис служил пасхальную Мессу! Каждое слово и движение он знал наизусть.

Тут произошла заминка – ксендз Яковлев увидел Франциса в дверном проеме и вскинул брови. Эксканцлер курии кивком подозвал какого-то семинариста. Францис чуть не бегом вернулся в ризницу, остановился у иконы Сердца Иисусова.

– Ты здесь, хлеб насущный всей жизни моей! – беззвучно говорил он, не отрывая глаз от Божьего лика. – Без Тебя я ничто, а с Тобой я переполнен любовью, ибо Ты – виноградная лоза, а я лишь ветвь от нее. И Ты взыскуешь моей близости. Ты являешь мне свою любовь и тогда, когда Тебя забывают, оскорбляют лицемерием и ханжеством, когда Тобой клянутся неисправимые грешники или Твой лик выносят пред алтарем пресвитеры, сами погрязшие в пороках.

В церкви взревел орган, ликующе отозвались ему слова молитвенного песнопения. Крестный ход! – разве он может оставить равнодушным любого, даже принадлежащего не Богу, а черту. В такой-то миг фаусты и продают душу лукавому, не помня или нарочно забывая, чем кончил Иуда. Францис Себальд боится потерять рассудок в тоске по Причастию и исповеданию грехов.

Незнакомый клирик вошел в ризницу и тут же подступил к Францису с вопросом:

– Почему это вы пришли в собор, господин Себальд, зная, что Святой Престол вам это воспретил?

– Я пришел на богослужение в церковь, которую я же сам и отвоевал для католиков!

Клирик, молодой парень, явно из крестьян, густо покраснел. И повторил слова тех, кто дал ему неприятное поручение:

– У вас ни стыда ни совести. Прочь, заблудший человек! Можете постоять на дорожке у храма, но не входите в дом божий со своим сатаной!

Себальда точно ледяной водой окатили. Выслушать такое – от юнца, который еще недавно не осмелился бы и туфли ему почистить! Сердце ухнуло куда-то вниз, на миг, кажется, остановившись. Хватая ртом воздух, он вдоль пыльного солнечного луча побрел вон – а что еще ему оставалось?

Не помня себя, Францис пересек площадь, тающую в ослепительном свете, и нырнул в черную тень от домов. Оглянулся на собор, рука прижата к груди, точно пытается удержать запертую там птицу.

Скоро они вынесут Бога. Торжественно выступит из храма процессия, девушки, ангельского вида дети осыплют Крестный Путь цветами. Церковные стяги, развеваясь, засвидетельствуют победу над смертью и врагами веры, крест поплывет впереди, зажженные фонари будут указывать дорогу. Верующие последуют за балдахинном, который понесут четверо церковнослужителей. Далее будут священники с горящими свечами. И Никодем Римбертс среди них. Архиепископ, шествующий под балдахинном с сияющей монстрацией в руках, добился своего – спас Тело и Кровь Христову от приверженца сатаны Франциса Себальда.

«Глория! – запоют сотни голосов. – Алилуйя!»

Францис без сил прислонился к стене дома, какого? – он не заметил. Как рой рассерженных пчел, метались в мозгу обрывки фраз, которые он десятки раз произносил в светлые пасхальные дни. Так вот. Теперь он – прислужник дьявола? Мир перевернулся с ног на голову. С момента отлучения от Церкви он жил замкнуто и тихо, почти не появлялся на людях, – с какой стати он решил, что Пасха станет поводом для его прощения?

Францис не понял, как оказался перед стогом сена, запасенного, должно быть, для извозчичьих лошадей. Упал спиной в стог. Если бы свет ранней весны и воздух, вибрирующий от незримых волн, сгустились в светоносный образ Спасителя, если бы, взяв Франциса за руку, Он поднял в небеса, сказал – что ты так переживаешь? Смотри, там, внизу, весь мир. Легионы неправедно гонимых, без вины преследуемых, тайно убиенных, пропавших без вести, жертв насилия и клеветы. Да, ты страдаешь безвинно, но ведь и им всем не легче!

Но воздух не сгустился, лишь сквозняки, спорящие друг с другом в промежутках дворов, между серыми тушами сараев, задевали тощее тело Франциса, точно бы лишненное кожи. Он хотел бы всю ночь провести в адорации, а потом лежать у подножья креста. Исповедаться, вычистить себя исповедью изнутри и снаружи. Утереться покаянием, точно рушником из детства, получить прощение от Отца и Матери. Родители умерли, а небесного Отца и Матерь запретили ему братья по вере.

Колокола только что смолкли, больше не слышен и орган. Те, кто заказывал музыку, разошлись? Толпа рассеялась? Нет, нельзя так. Какая толпа? Церковь – живой организм, мистическое Тело Христа, прекрасная Невеста Господня.

Приступ паники охватил Франциса. Верно, так чувствует себя летчик в самолете с заглохшим мотором – ему ли не знать: в небе из живых пока что никто не остался.

В этот миг рядом с ним подкова ударилась о камешек. Лошадь. Хозяин, видно, только что пристроил ее у коновязи, а сам – в трактир. Большие, мягкие ноздри обнюхали затылок Себальда. Теплое дыхание обдало одно и тут же другое ухо Франциса. Бархатная верхняя губа коснулась его шеи и сдвинула на глаза котелок. Будто говоря ему – держись, брат, не все так уж плохо!

Францис поднял взгляд и увидел лошадиные глаза, огромные, со слезой в уголках, и шелковый рот, изуродованный изжеванным до блеска железом удил.

Уши приподняты – знак подлинного интереса. Лошадь потерлась мордой о плечо Себальда, уронив на пальто слюну и овсяную шелуху. Францис не сердился.

– Что тебе, милая? Хлебную корочку? Нет у меня корочки, карманы пусты.

Вместо ответа лошадь легонько подтолкнула человека головой в спину. Точно урезонивая:

– Эй, встряхнись! Ты ведь не хочешь, чтобы уважаемые представители твоей породы увидели тебя тут, в канаве, в таком виде, точно кабацкого пьянчугу!

Себальд поднялся, отряхнул сено с брюк, поправил котелок. Конь стоял прямо перед ним – теплый, живой, облитый солнцем. В воздухе плясали невесть откуда взявшиеся комарики, солнечные зайчики вспыхивали на мостовой и пропадали. Жизнь хороша. Лошадиный глаз, большой и мглисто-голубой, вдруг вызвал в Себальде слова, кажется, всегда бывшие в нем: «Кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня».

– Нет, нет. Он слишком тяжел для меня, – пробормотал Францис.

Конь, видимо пораженный человеческой слабостью, фыркнул с такой силой, что пена разнеслась по воздуху. После чего потерял интерес к собеседнику, всем своим видом говоря: раз так, справляйся, брат, сам.

– Может, все ж подвезти куда-нибудь? – прозвучал от крыльца знакомый голос. Тот самый плечистый фурман, что говорил с Себальдом на станционной площади. Большие пальцы обеих рук – за поясом, крупное тело сотрясла отрыжка. Напился чаю, изо рта в утренний

воздух летят клубы горячего дыхания. – Вишь ты, строгий был пост! – добавляет он, оглядывая исхудалую согбенную фигуру перед собой.

– Ну так что? – не отстает детина и вдруг склоняется, поцеловать руку пастыря.

Францис отмахнулся.

– Эртелисы мы, вот уж второе поколение, фурманы Эртелисы. Денег не надо. Помните, жена моя, грешница Янците, помирала, и от вас было ей причащение и святой сакрамент, и вы не взяли за то ни копейки. Век не забуду! Мы тогда бедовали, лошадь сдохла, в доме ни гроша, самим впору камень на шею и в Даугаву! Это вы нас утешили, почитай к жизни вернули, – чего ж вас не отвезти? Отвезем!

Себальд силился припомнить грешницу Янциту.

Траурный рефрен зазвучал в голове: «Господи, услышь мой голос. Из глубин взываю к Тебе, Господи!»

В памяти всплывали бессчетные комнаты, воняющие смертью, как лады в водах Ахеронта. Истончившиеся руки судорожно цепляются за ладонь священника, бесцветные слезы жилистых мужиков, плачущих, может быть, в первый и в последний раз в жизни, угасающее дыхание крохотных младенцев под всевидящими ликами закопченных икон; животная сила матерей, их напускное спокойствие; ребенок еще дышит, а ладонь матери уже прикрыла уходящему веки, и тут вдруг стоическое молчание разбивается вдребезги, мать бьется в рыданиях, содрогаясь, как раненый зверь. А твое дело, твой долг – елеосвящение. Как запомнилось с семинарии, слово в слово: «Таинство это имеет тройное действие: во-первых, отпускает грехи простительные, и остатки других грехов, уже отпущенных или забытых; во-вторых, укрепляет больного в страданиях и борьбе с ужасами смерти, ободряет его и умножает освящающую благодать; в третьих, восстанавливает даже здоровье телесное, если только оно полезно для спасения души». Отпущение грехов тифозным, умирающим от чахотки, изъеденным болезнью сифилитикам, утопленникам и замерзшим до смерти, задушенным дифтерией, – в пышных каменных хоробах или в дощатых лачугах, где шныряют невозбранно крысы и горести. Где, когда и какой была встреча священника Себальда с этим добрым человеком и его умирающей женой?

Не в силах вспомнить, Францис неопределенно кивнул и без дальнейших отговорок полез в коляску. Хочет везти – пусть везет. Внутри него была странная пустота, точно в сердце никого и ничего не оста-

лось и время потеряло значение. К тому же он не знал, способен ли своими силами добраться до дому.

– На Католическую? К дому курии?

Францис слабо махнул рукой.

– Н-но, Гнедой! Этот адрес нам знакомый. Бывали и по утрам, и посреди ночи. Сколько раз привозил ксендза Планиса, то из кафешантана, то от Казаровского винного погреба, аль от Сукуба. Мотались по всей Риге, он бормочет, бывало, по-русски: «Ныне всякое житейское речение отложи на попечение!» Кое-как заползет в экипаж, а ближе к дому уже совсем никакой; взвалишь на плечи и тащишь вверх по тем ступеням.

Францис, кляя носом, вздрагивает при каждом толчке и видит, как беззаботно, весело смеется фурман; апрельское солнце точно бы затачивает лучи о его крупные белые зубы. Сколько жизни в старом извозчике, думает Себальд, и каждое им произнесенное слово вибрирует, точно пуля в полете.

– Вы же знаете, святой отец, правеста Николая Планиса? Колю, Кольку, знаете? Ясное дело, он ваш сосед. Вся Рига его знает, и в окраинных кабаках, и в любом заведении на Дзирнаву, и в шинках на Бривибас. За войну совсем одичал. Да и многие выбились из колеи, разве нет? Архиепископ потом долго бился, чтобы привести в чувство и прихожан, и, извиняюсь, своих. А у Планиса... У Коли, значит, была такая яркая девица, Путныню Мария, балерина из Оперы. Вот ей, бедняжке, Коля дорого дался. Ваша пани Терезия меня еще ночью вызвала, отвезли мы с ней ту Марию к доктору Мутулису, помните? Что с ней случилось потом, не слыхали? Жива ли? Вот никак не пойму: за всю эту мать Планису ничего, от архиепископа ни штрафа, ни взбучки. А вы, такой человек, святой отец, пастырь, депутат Сейма... Вас церковь чуть не собаками травит. Как это понять?

Фурман, полуобернувшись к седоку и теребя концы вожжей, ждал ответа. Не дождавшись, сел прямо, подстегнул кнутом лошадь и закончил:

– Наш сосед, он лютеранин, знай посмеивается: католикам нельзя этого, католикам нельзя того. Чушь, католику можно все, когда лютеранин не видит...

В пасхальное воскресенье ездовых мало. От кафедрального собора до улицы Католю не так уж далеко. Миновали тесный проезд меж-

ду Биржей и Мариинской церковью, распустившей по мостовой павлиний хвост своей пышной узорчатой тени; на Тиргоню, узкой, как ледяное ущелье, пришлось лавировать между оставленными у тротуара повозками с деревенскими злыми жеребцами, охотниками полягаться. Выбрались на улицу Кунгу, теперь по Карловской до виадука Железного моста, до начала длиннющей Московской улицы. Колеса прогремели по мосту через городской канал, мимо котлованов, вырытых под будущий Центральный рынок, мимо двух краснокирпичных валов, оставшихся от недавних богатых лабазов. И не спеша, – дальше, через Русский купеческий двор, оставляя за собой еврейские лавчонки, домишки, палатки, мастерские скорняков, швей и плотников.

Полукруглые булжники всяк по-своему отзываются на касания копыт и колес: тот позвонче, тот поглуше, тот погромче, тот потише, тот потоньше, то побасовитей. Фурман Эртелис за долгие годы сросся со своим Гнедком, а конь с ним. Достаточно хозяину шевельнуть вожжами, чтобы Гнедой сообразил – базарчик на Красной Горке, где продают самый вкусный овес, нынче не светит; ага, поверни налево и тащись в гору по улице Католю. Не по вкусу ему это, а что остается? – только сердито прижать уши.

Навстречу – с десяток юношей из Католического общества, недавно основанного при церкви святого Франциска. Здесь тоже только что завершился Крестный ход, и у них короткая передышка перед Суммой – пасхальной Большой Мессой. Народ все прибывает, заполняя улицу. Эртелису, впрочем, толпа уступает путь, раздаваясь по сторонам, любопытные взгляды ищут в экипаже седока. Молодые люди приоделись, причесаны старательно, песенные книжки прижаты к груди. Семинаристы, участники спортивных, театральных обществ, хористы.

Францис съезжился под откинутым складчатым верхом коляски, слился с угловой тенью. Католическое общество создавалось не без его участия. Не хотелось, чтобы его узнали. Тпру! Гнедой встал как вкопанный у дома номер 19. Вокруг тишина, только где-то в кронах лип каркают вороны. Улица перед домом католической курии светла, песок уже подогрет солнцем. На Всесвятском кладбище высыпали гурьбой подснежники, и у них Пасха.

Эртелис кашлянул в бороду и с улыбкой обернулся к пассажиру:
– Вот мы и у католиков.

Францис боком соскользнул с черной обивки сидения. По бледной бритой щеке катилась слеза, круглая, как жемчужина. Фурман испугался, ойкнул, скинул рукавицы, соскочил с козел:

– Господи! Я, что ли, расстроил своими глупыми речами?

Седок только покачал головой. Пошатываясь от слабости, выбрался из экипажа номер 154, обошел стороной извозчика и, ухватившись за шею Гнедого, зарылся в его густую, лохматую, сальную гриву. Он плакал, как ребенок, прижавшись щекой к шелковистой коже коня, отстраняя от себя назойливо липнущую к лицу уздечку. Эртелис подбежал к старику и стоял, переминаясь, у него за спиной, то подымая, то беспомощно опуская свои огромные лапищи.

Гнедой стоял недвижимо, прикрыв глаза. Себальд, наконец, отпустил конскую шею. Фурман подхватил Франциса, не дав упасть.

– Ах боже ты мой, – выдохнул он.

На Себальда вдруг напала икота. Сил его хватило, чтобы ухватиться за могучую шею фурмана; тот поднял его на руки, внес в дом и теперь вопросительно смотрел на лестницу.

– Нет-нет. Здесь, – с трудом произнес Францис. – Спасибо. Теперь уж я сам. Вы идите... пожалуйста.

Фурман нерешительно повернулся, постоял, глядя на него, ушел. И тут же бегом вернулся, боязливо водрузил на голову старика котелок, оставленный в коляске. Францис стоял, недвижно глядя в пустоту перед собой.

– Может, доктора позвать?

– Нет, не нужно.

Францис поискал в кармане ключи. Из-за двери послышался собачий скулеж.

– Простите... Пани Тереза дома? Там есть кому присмотреть за вами? Плакать бы не надо уже. Не плачьте, святой отец.

– Идите, мил человек. Спаси вас Бог. Ступайте.

Эртелис, поклонившись, ушел. В наступившей тишине снаружи послышалось: – Нно! Пошел!

И удаляющиеся конский топот, дребезжанье колес.

– Эй, ты чего к стенке прилип? Себальд! Волосы встрепаны, котелок набок. Наклюкался с самого ранья, что ли? Говорила же – не быть тебе в раю, грехи не пустят!

Францис поднял глаза. Там, на лестничной площадке перед быв-

шим жильем ксендза Паниса смутно виднелась Грязнуля Мария. Темносиний взгляд ее вобрал жалкую фигуру Франциса. Женщина сладко зевнула, потянулась. Видно, только что стряхнула сон. Францис слабо улыбнулся в ответ и помахал ключами. Затем отпер дверь и вошел внутрь.

Дверь осталась полуоткрытой.

Грязнуля Мария о чем-то размышляла.

После долгих сплошь черных часов она видела сон, цветной и залитый светом.

Во сне она была, вся в белом, в полутемном готическом соборе с высокими сводами из грязновато-белого известняка. Скамья была неудобной – никак не усесться как следует. Так-то ей было бы совсем хорошо, но все-таки что за скамья, никак не выходит устроиться. Вокруг гудела толпа. Люди тоже располагались полусидя, полулежа, в странных позах, было в них что-то текучее, зыбкое, но они болтали, ходили как ни в чем не бывало, угощались лимонадом и вишневым сиропом, – улыбочивые, довольные собой, облепленные какими-то крошками люди.

Мария держалась из последних сил, но усидеть не получалось.

К ней подошел Иисус. Мария Его не узнала, потому что никогда прежде не видела, но каким-то чудом она в то же время знала, что это Он; притом живой Иисус был совсем не похож на того, что с детства знаком по иконам. Грязнуля Мария видела Его не глядя, – прямо взглянуть на Христа она не осмеливалась.

Но Он на миг приобнял ее и, уходя, сказал:

– Боле не греши, Мария.

И она поняла, что теперь может подняться.

Слезы облегчения и любви наполнили ее глаза не только во сне. Когда она встала, глаза были мокрыми, и губы на невымытом лице были горячи и мокры от слез.

Уфф! Бред!

Мария пожала плечами, почесала голову там, где укусила вошь, и медленно спустилась вниз по ступенькам. У дверей Себальда она оставилась, чутко вслушиваясь в тишину жилья. Из приотворенной двери с неистовым лаем выскочил Гектор. Мария легонько шлепнула его по пуговке носа и двинулась дальше. За тяжелой дверью подъезда ей в лицо ударило солнце.

Себальд, присевший с краю постели, слышал, как хлопнула наружная дверь. Мария никогда не заботилась о том, чтобы закрыть ее тихо – звук был, точно колуном со всей силы хватили по камню.

Наконец-то в комнате воцарилась полная, долгожданная тишина; лишь капли от тающих сосулек позванивали, ударяясь о жесть подоконника. Францис заставлял себя прислушиваться к их ритму, чтобы не думать. Он подавлял в себе слова, хотевшие всплыть.

Пока он ехал в коляске фурмана, в мозгу Франциса бродили латинские фразы из его письма папе римскому – и разом те ответные, безоговорочно осуждавшие и отлучавшие его. Где правда?

Больше слов – больше хаоса.

Ошибку на бумаге можно исправить, просто выдрав испорченную страницу или зачеркнув неверное слово. Но как исправишь целую жизнь?

Францису вспомнилась почему-то черная доска, мел, мокрые тряпки в приходской школе. Тут же увиделся берег с затейливыми значками древних рун на песке; набежавшая прозрачная волна смывала их, и песок становился вновь нетронутым, как нежная кожа девственницы. Вот мама стоит перед дверью и на косяке мелом выводит буквы: К+М+Б. А он, подбежав, стирает их. Изумление в темнозеленых глазах мамы.

Отцовские часы у стены захрипели. Сейчас зазвонят.

Надо стереть слова. От слов вся неразбериха. Или еще глубже – от мыслей?

Он закрыл глаза и представил себе туман, вспыхнувшее латгальское слово *mygla* тут же погасил, нет, стер мокрой тряпкой с блестящей черной доски. Белый потолок утекал куда-то ввысь, там угадывались луна, звезды. Оба слова, «луна» и «звезды» он тоже поспешил стереть. Нырнуть еще глубже во тьму, из нутра которой что-то блеснуло, погрузиться до полной потери себя.

Так он гасил вокруг себя звуки, запахи, вкусовые ощущения, осязание. Он не знал уже, как это бывает, когда касаешься чего-либо.

Но тут к нему как раз прикоснулись, и это был отец. Францис попытался погасить и его, но оказалось, это невозможно, – отец не был просто словом, прикосновение ощутилось физически. Они встретились в немыслимом никогда и нигде.

– Ты кто? – спросил Танцлов.

– Я твой сын, – отвечал Францис.

– Сыновей мне больше не надо, у меня их пятеро. Я хочу говорить с Богом. Ты случаем не Бог?

Францис горестно покачал головой. Он не знал, Бог он или нет, но был уверен, что он еще не Францис. Знание это, с обоюдоострым лезвием, было нестерпимым. Лезвие разрубало, разделяло горизонтальное бытие на вертикальные столбики. Это что, урок? Даваемый себе. Вот он опять в Елгове, под микроскопом изучает препарат: себя, Франциса Себальда.

Свежевспаханное поле. Пахнет глиной, навозом, весной.

Колени матери, теплые, когда приникнешь. И – только что забытый ягненок.

Аромат ладана, сильный, чуть кисловатый, как воздух в церкви перед Пасхой, преред тем, как впервые после зимы распахнут настезь окна. И тот душок, сладковатый и щемящий, когда надо отпевать и спешно предавать земле умершего, а хоронить некому, все на сенокосе, родню не собрать.

Прохладный, тяжелый лемех плуга.

Большое, влажное, доброе лицо коровы, а язык как наждак.

Францис отщипнул кусочек земли, сунул в рот. Оказалось, это сока из его младенчества – льняная тряпица, а в ней чуток ржаного хлеба с крупичами сахара. Сладость с горчинкой. Он выплюнул соску и открыл рот для мглы. Мгла влилась внутрь, как медовуха бабы Алмы, приторная, пьянящая.

Тут его вдруг со всех сторон обступили звуки. От гула церковного колокола, проникающего твое тело насквозь, до нервного колокольчика, вызывающего свой путь под дугой рысака. Многоголосие органа, зычный бас знакомого клирика. Звуки кокле, зяблик, поющий перед дождем.

Бом-бом, – прорбили, наконец, часы в доме на улице Католю. Он открыл глаза. Два часа пополудни.

Между привычным хрипением и боем часов он пребывал где-то за подкладкой времени. Время, он подумал, брать легче всего органами восприятия. Самым чутким из них у Франциса было сердце. Им же самим и погубленное. Вон как неровно бьется оно между ребер, припадая вниз, как подстреленная птица.

Вот и сейчас.

Тиканье часов подгоняет его – куда? Надо бы старые часы остановить, что ли. Пускай помолчат, пока служитель божий не приведет себя в себя, как в летний сеник.

Тут он вспомнил, что потерял ключ к часам. Так что недолго ждать – скоро встанут сами...

ЗЕМЛИ ТАНЦЛОВА

Себальдов Станислав или – как звали его местные – Танцлов пошел примаком в дом Ивы Хадермане; невеста была девятью годами младше его. Женился на девушке и, считай, на всем тамошнем хозяйстве в Презмском приходе села Путну. *Птичьего* села.

Птичье так птичье: дом Себальдов напоминал скворечник. Три небольших оконца, да и те зимой приходилось заваливать чуть не доверху льняной кострой – для сбережения тепла, излучаемого по утрам и ввечеру пылкой молитвой и большой хлебной печью посреди жилья, а по воскресеньям еще и духовными песнопениями. Танцлов, как и все его предки-католики, не позволял даже самым спешным делам задеть нерушимый воскресный мир с непременной поездкой в церковь, с божественными песнями у себя дома.

Каждые три-четыре года в семье прибавлялось по сыну. Дети росли смышленными, работающими, белоголовыми. От многолюдья дом сужался, становясь все теснее. Танцлов сдвигал шапку на лоб и чесал в затылке. Но чеши, не чеши – не поможет. Когда в кухне за общим столом, помолясь, приступали к трапезе, случалось, на долю матери мяса не хватало.

Но так-то Танцлов Иву жалел и своими руками смастерил из белой вербы аккуратный шкапчик для хозяйки дома, отгородив с его помощью отдельный закуток. Иве шкапчик понравился, и она украсила его изображениями ангелов и цветов. В отделенном пространстве поставили кровать, и осталось еще немного места. От шкапчика до стены Ива протянула шнур, на который прицепила полог с вышитыми птицами, и теперь мать с отцом могли обособиться от семейства. Ива знала, тепло мужнего тела насыщает не хуже разносолов и врачует лучше местного лекаря.

Уже входили в силу или подрастали пятеро сыновей – Онтон, Игнат, Донат, Юонис и Езуп, – и могло показаться, что жизнь вошла в конечное, неизменное русло, но тут ворвался в Российскую империю ветер крутых перемен. В 1861 году вышел царский манифест об отмене крепостного права. И по всей Витебской губернии перед многолюдными крестьянскими сходами зачитывали бумагу, переве-

денную на латгальское наречие по приказу местного управителя, барона Густава Мантойфеля, называлась она «*Cyrkulara-gromota, izduta no gubernatora-kunga, tys ir nu posza viersinika Witebsku gubernias del zemnikim Inflantu-zemies, Lopi mieniesi 1861. godā*». Циркуляр разъяснял порядок освобождения, неодинаковый для помещичьих и государственных, «казенных» крестьян, к которым принадлежали и Себальды. «Помещичьи» должны были выкупать у своих господ ту землю, на которой жили. «Государственным» давалась возможность выкупать и арендованные прежде, и другие земли, принадлежавшие казне, и Танцлов не преминул этим воспользоваться.

Ива Хадермане происходила из рода свободных людей – ленников Курляндского герцога. То были потомки древних курземских вождей. В свое время герцог Екабс, не слишком озабоченный правами своих вассалов, добавил им обязанностей, обложив новыми данями и повинностями. Гордые курземцы не смирились; многие вместе с семьями подались на Восток, за Даугаву. В Инфляндии они появились свободными, грамотными и небедными людьми, и местные помещики охотно сдавали им в аренду свои земли.

Ива выросла достойной своих вольных предков. Она умела многое, но коньком ее и признанным искусством было ткачество. Девушки со всего села приходили посмотреть и поучиться. Владелица ближнего имения Наталия заказывала ей ткани, а там потянулись к дому Себальдов и другие – из Кукова, Посины, Туоловы, Синупе. Об Иве никто в округе не обронил худого слова, все знали, что Себальдова жена – умница, заботливая мать, искусная мастерица. Люди ее любили. И Танцлов, само собой, и муж любил ее. Сам он не жаловал ни пива, ни тем более горькой, не пристрастился и к куреву. Что ж ему оставалось? Что нравилось? А нравилось ему целовать свою Иву и умножать свою землю. Земля! С ней возиться, ею умываться, ее оплодотворять, ее пить и есть! Земля была страстью, радостью Танцлова и его молитвой. Землей измерял он все события своего бытия. Земля была плодovitа – и он тоже. Земля была безжалостна – и он не знал жалости, если надо. Сыны выросли ладными, и к тем работам, что отвечали их годам, тянулись сами.

Когда появлялась возможность прикупить кусок земли, Танцлов доставал из шкафчика завернутые в льняную тряпицу золотые пятирублевки. Мог ли он мечтать, что когда-нибудь эти тяжелые кружочки

будут не только золотом как таковым, но и средством добыть для себя и детей наиглавнейшее на земле – землю? Ему было 55 лет, и сбылось то, о чем мечтать он боялся, но что беспрерывно снилось ему по ночам.

Он призвал трех старших сыновей и брата Юониса, столь же надежного и крепкого хозяина, как и он сам. Запрягли лошадей и впрягером объездили всю округу, ища достойную партию драгоценным, потом и кровью заработанным монетам.

Бедняки, испуганные неожиданным разворотом жизни, растерянные, ломали шапки перед приезжими, точно перед господами. Выражение непреклонной решимости на лицах покупателей озадачивало, если не пугало. Да ладно, решал человек, была не была, не продашь этим – придут другие и отымут! В ком не было уверенности и хватки, тот гнулся под ударами судьбы, не решившийся взять во что бы то ни стало – отдавал. Тем временем кони Себальдов рыскали из конца в конец, и долго еще эхом отдавался перезвон веселых, напористых колокольчиков, колотившихся под дугой.

В конце концов Танцлов присмотрел Колнасолскую казенную мызу, а Юонис – Ряснскую, ближе к городу. Сыновья помалкивали, слушали, плотно сомкнув молодые губы, что кому и о чем говорят отец с дядей.

– В пригороде жиденята по ночам выберут всю картошку, в саду не оставят и яблочка, – постановил Танцлов, и вопрос был решен. Остановились на Колнасолской мызе. Братья Себальды получили по три земельных участка, и поскольку они были первыми, центр казенного имения достался тоже им. Примеру последовали ближние и дальние соседи, так и возникла новая сола, – село, людское поселение. Колнасола.

Сначала казалось, что добытых сорока десятин хватит, ведь за них расплачиваться с казной предстояло еще полвека. Но семья росла, а по старому латгалскому обычаю землю, если таковая была, полагалось делить поровну между сыновьями. Ничего не поделаешь, хотя бы еще десять десятин надо было прикупить.

Вышло еще лучше. Брат Юонис перебрался в Дрицанскую волость, купил там землю, а свои 40 десятин в Колнасоле передал Танцлову – поверил в долг. Долг – ну и что? Танцлов долгов не боялся. Долг понуждает действовать быстрее и думать шире. Теперь Танцлов искал и находил все новые дела не только в Колнасоле. Он хорошо ладил с помещиком Модестом фон Розенкранцем-Павлином, чье имение было по соседству, в Акменае.

Кто рано встает, тому бог дает. Себальды рано вставали, ложились поздно, и время было на их стороне. Когда-то, еще в 1851 году царь Николай Первый повелел строить железную дорогу Санкт-Петербург-Варшава. Но помешала Крымская война, денег в ту пору не нашлось, и лишь при новом государе, в начале тысяча восемьсот шестидесятых строительство развернулось полным ходом. Российское общество железных дорог закупало у крестьян лес на дрова и шпалы, на ближней станции Ивановской за лес давали хорошую цену. Вывоз леса Танцлов взял на себя, нанял людей. Зимой в этих местах снега было по пояс. Лошади и люди, вывозившие сваленные в лесу сосны, кипели, как паровые котлы. Танцлов, стиснув зубы, всюду успевал быть первым. Не каждый конь выдерживал – бывало, опрокинув тяжелый груз в канаву, понурый работяга оставался обок пути. Но Танцлов, не скупясь, покрывал хозяину старого одра убытки, и люди не были на него в обиде.

Себальд не брезговал ничем – покупал и продавал лес, арендовал и сдавал в аренду земли по всей округе. Добро семьи множилось. Сам же Танцлов умудрялся находить время и для души, для главного в его жизни – сыновей и лошадей.

Бог судил так, что из всего женского пола Себальду довелось знать лишь его жену Иву. Дочерей у него не случилось, сестер тоже не было, мать умерла совсем молодой. Потому-то, встретив на пути какую-нибудь молодку, грузный и высокий, как гора Казбек, Танцлов весь сжимался, потел, краснел, надвигал на лоб шапку и давал дёру. Не знал он, как обходиться с этими созданными. В мире Танцлова были существа двух родов, как он говаривал, – ребята да жеребята. Сыновья и кони. И тех, и других он принимал при рождении самолично. Молча отодвигал в сторону роженицу и, взяв в свои огромные руки комочек жизни, еще влажный, на минуту заворачивал его в полу одежды. Он верил, что таким образом передает новорожденному частичку своей удачи, выдержки и силы.

Рассуждая иной раз с мужиками-соседями по поводу прибавлений в семействе, Танцлов хитро прищурился:

– Кто в хозяйстве нужнее – жеребенок аль кобылка?

Летним вечером, выбрав час, Танцлов мог долго-долго, неотрывно смотреть на игры молодых жеребят, их борьбу, на гибкие лебединые шеи годоводков, на их пробежки и взбрыки.

Когда старшие сыновья подросли, Танцлов прибрал к рукам *стойки* – почтовые станции с постоянными дворами, построенные еще в те времена, когда прокладывали тракт Санкт-Петербург-Варшава. К густой крови себальдовых лошадей примешалась кровь варшавских почтовых рысаков, породистых, выносливых. Эти кони хвост несли высоко, точно факел, их дыхание оставалось ровным после самого быстрого бега. Теперь по воскресеньям он летел на своих гнедых, как на крыльях. А зимой, когда перед святой Мессой тут же, у Тискадского озера устраивались конские забеги, Танцлов и его лошади неизменно были первыми, к чести и удовольствию старого Себальда.

Правда, поздней первенство пришлось уступить брату Юонису, тот выписал рысака-рекордиста аж из Америки. Но ведь все на свете никому из людей не поднять.

БАБА АЛМА

«А я-то надеялась, что на этот раз святая Дева по милости своей даст мне дочку», – шептала чуть слышно Ива, заботливо прикрывая младенца овчиной; расписные сани летели сквозь дымящийся снег, Танцлов вез крестить Доната, своего третьего сына.

– На что тебе дочка? – обернувшись, выдохнул вместе с паром Танцлов. – Тебе что, меня не хватает?

Ива тяжело вздохнула. Всего-то и хотелось ей, что мирно посидеть на скамеечке перед домом, поговорить с живой, понятливой душой, ведь кругом одни мужики, а с ними не больно-то поговоришь. Не говоруны. Да ежели и откроют рот, сморозят такое, что хоть стой, хоть падай. Нет, муж для разговоров не годился, другое дело – женская беседа.

Правда, Алма Хадермане, мать Ивы, тоже не была разговорчива, вот уж нет. Была она знаменитая на всю округу повитуха, кроме того, умела при желании исцелить чуть не любой недуг. Это о ее пращурах с изумлением писали летописцы дальних веков: «едащие и спящие вместе со змеями».

Змеи! Из-за них едва не лишился жизни зять Алмы, Танцлов Себальд.

Тут, впрочем, нельзя не заметить: не один Танцлов терпеть не мог змей. Ядовитых гадов боялись и ненавидели все вокруг. Их приканчивали при любой возможности, и поделом, считали жители Ин-

фляндии: кто, как не змей, соблазнил первых людей, Адама и Иву? А сколько жизней оборвалось после змеиного укуса?! Но Алму все это, похоже, не беспокоило. Она привечала и кормила ужей. Она даже устроила для них корытце, куда каждый вечер подливала парного молока. В свой час ужи мерцали по всему двору, как речная зыбь. Ладно бы ужи. Но ведь баба Алма водилась и с гадюками!

Инфляндия богата озерами и болотами, и одно из самых непроходимых и таинственных мест в крае, Большая чаруса, начиналось рядом с Птичьим селом, за речушкой Оша; болота, трясины, топи, чередуясь с вечными лесами, тянулись к востоку вплоть до Пыталова. В тех местах скрывались юнцы от рекрутчины, оттуда зимой раздавался леденящий душу волчий вой, в тех болотах кишмя кишели неизвестные твари, поставлявшие колнасолецам пищу для долгих зимних вечеров, для запутанных и жутких историй, пугавших не только детей. Там, в Большой чарусе, обитали, по слухам, шестипалые медведи, там скрывались будто бы красные оленихи с золотыми рогами. Души убитых детей носились там клочьями белесой мглы, а поверх кочек синим пламенем горели, не сгорая, тридцать серебряников, иудины деньги.

Не каждый, понятное дело, видел все названное своими глазами, но уж гадюк встречал каждый. В сенокосную пору в Заречье под любым клоком сена могла таиться зловеющая лента. Вспугнешь ненароком – метнется молнией, не разбирая, старый перед ней или малый. Ужаленного змеей спешно доставляли к бабе Алме. У матери Ивы были острые белые зубы, ими старая прижималась к месту укуса и высасывала яд, приговаривая:

*В поднебесье божьи руки,
Божьи вожжи – две гадюки,
Божьи кони рвутся ввысь.
Что упало, воротись.*

Ее верхняя губа, похожая на створку раковины, переходила в поросль усиков; говорили, это от змеиного яда. Высосанную из раны отраву баба Алма сплевывала в глиняный горшочек, чтобы потом, прокипятив, получить противоядие. Готовое зелье Алма хранила в пузырьке из пчелиного воска. Всего пара капель снадобья, внесенных под язык укушенного, возвращали с того света на этот. За Алмин дар целительства змеи, гадюки, однако, ждали ответной услуги. Они поползали на двор знахарки рожать.

Рассказы о змеиных родах длинными зимними вечерами выходили еще более жуткими, чем истории о шестипалых медведях Большой чарусы. Иные рассказчицы знали невесть откуда все в мельчайших подробностях – как Алма укутывает змею-роженницу в свой шерстяной платок, как гадюка извивается, тужится и мучится, как Алма бормочет ею же сочиненные молитвы, успокаивает и заговаривает болящую, как в нужный миг властно произносит: «Сейчас!» – и сжимает рукой созревшее к метанию брюшко змеи. В тот же миг расширившееся отверстие выплевывает от пяти до пятнадцати мелких гладких змеенышей, одного за другим, легко, точно клецки.

Гадюки в благодарность за помощь никогда не жалили никого из Алминых близких. Когда Танцлов Себальд выбрал Иву и вошел в семью примаком, он слухам и рассказням не верил, пока не увидел однажды: множество ужей стекаются, точно ручейки, к хлеву, – а там выставлена для них кормушка, корытце с молоком. В руке у Себальда как раз была сечка для соломы, и он, даже не успев ни о чем подумать, принялся оттяпывать змеиные головы, пока не устал весь двор ужиными трупами.

Вышла на двор баба Алма с подойником, вскрикнула. Очами, темно-зелеными, как морская глубь, зыркнула, повела на Танцлова тяжело, недобро.

И с того дня Танцлов стал чахнуть, убывать, как убывает полная Луна. Всего неделя прошла, а он, слабый, как грудной младенец, в одной рубаше сидел на скамье перед домом, не в силах подняться. Непонятный, неистовый жар сжигал его изнутри. Завидев Иву, он всего-то и мог, что заплакать. Ива знала: ее мать способна одним только взглядом спалить избу того, кто ее разозлит. И взмолилась к Алме: пожалей моего Танцлова! В раздавшемся теле Ивы уже подавал признаки жизни Онтон, первый сын Себальда. Алма сказала зятю: «Поклянись, что в жизни больше не тронешь ни одну змею!» Танцлов слабо кивнул головой. И теща, поджав губы, напоила его молоком. Поила до тех пор, пока оно не потекло мимо рта на скамью, а со скамьи на молодую траву.

Танцлов быстро пошел на поправку. Но с той поры и всю жизнь зять избегал даже смотреть в сторону Алмы. Ни одной улыбки не нашлось у него для тещи. Стиснув зубы, наблюдал Танцлов за тем, как на лугу три гадючьих самца боролись за благосклонность юной гадюки, как гады, спариваясь, сплетались и ласкали друг друга раздвоенными

язычками, смотрел, все видел, но никогда и пальцем не тронул адские отродья. Он понял, что теща не просто терпит змей. Черви земные у нее в чести.

Холодом, правду говоря, несло и с другой стороны. Когда Иве пришлось рожать, она позвала повитуху с другого конца села. Ее матери, принимавшей при рождении чуть ли не каждого второго младенца в Колнасоле, первые крики внуков не достались.

Алма могла, знала и умела многое. В ее арсенале были средства от всяких-разных недугов и немощей, людских и скотских. Против опухолей – отвар из земляных сверчков, от сердца – боярышник, мочегонное – из березовых почек, от воспаления горла помогали старые кости; бородавки она сводила, обвязав их красной ниткой, и все это с приговором. Других путей к исцелению здесь не знали. Сначала в церковь, за отпущением грехов, за благословением. А если не поможет – не мешкая к бабе Алме. Кое-кто из женщин пробовал подражать травнице, но безуспешно. Это потому, шептались в селе, что Алма знает сроки – когда месяц растет или убывает, когда погода в самый раз, когда небеса не против и земля благосклонна.

«Всему свое время», – говаривала старая, открывая истрепанную тетрадь, где для памяти записывала даты, дни лучшие и худшие, смотря для чего. Со всех сторон ей в уши шептали подсказчики: кусты и травы, божьи твари всех мастей, солнце с луною, ветер, вода. Змеи, не имеющие ног, зато ощущали всем телом каждый вздох, каждый вздрог земли и без слов умели об этом поведать. Птица и лягушка, лошадь и мышь-полевка делились с нею зрением, не таким, как у всех.

Глаза самой Алмы были зоркие, строгие, испытующие. Темно-голубые. Морской синевы, морской глубины. Ни одному из сельчан, испокон века живших посреди суши, не приходило в голову это сравнение. Но сама-то Алма знала и говорила: да, у меня глаза цвета моря.

Инфляндцы море знали разве понаслышке. Возвращался со службы старый солдат, отбывший рекрутчину, рассказывал о Черном море или о Финском заливе, но таких было мало, и говорили они уже большей частью по-русски, за четверть века разучившись родной речи. Алма утверждала, что с морем знакома. Иной раз на сенокосе, а не то перед грибной корзиной, полной собранных боровиков и груздей, вдруг застывала, приноживалась: морем пахнет! В детстве Ива часто слышала от матери об этом неизвестном море, об огромных волнах, о кусочках янтаря, выброшенных морем на берег. От матери ей доста-

лось янтарное ожерелье, которому все дивились; светоносный янтарь защищал владелицу от сглаза и порчи. Прадед Ивы, Карлис Хадерманс, рассказывала Иве мать, был моряком.

Но жену Танцлова прошлое не слишком волновало. Матери она побаивалась. Казалось, сгибаясь все больше под тяжестью дарованных ей десятилетий, родительница пропиталась тайнами, грозными и непостижимыми. На вопросы дочери Алма отвечала порою так странно, что сердце в Иве замирало. Даже молилась она не так, как другие, своими, выдуманнными тут же словами.

– Боже, благослови мою буреньшку, освяти ее вымя и каждый сосок, и каждую каплю ее молока! Не сойду с пути твоего, Господи, я везде с тобой, Ты всегда во мне...

Так бормотала она, доя корову, и это никуда не годилось. В церкви клирики меж собой говорили: баба Алма христианка только поверху, внутри же язычница. Попрекали, осуждали ее и с амвона; но стоило служителю божию занедужить всерьез, как приходилось и ему крадучись, вечером, как стемнеет, поспешать к бабе Алме: пусть приложит пиявок, что ли, да руку наложит – скрюченную, с обломанными ногтями, морщинистую, а боль почему-то снимает.

КСЕНДЗ ДОМИНИКУС

У Танцлова камень с души свалился, когда баба Алма наотрез отказалась переезжать вместе с ними в Колнасолу.

– Гадюк своих не хочет бросать! – усмехнулся он в пышные усы, а губы под усами сложились в довольную улыбку. Одним едоком меньше.

Днем и ночью он прикидывал, как заполучить побольше земли. На землю, прежде всего на землю он готов был и работать, и тратиться. Танцлов осмелился в мыслях даже Богу намекнуть, что сыновей ему больше не требуется, хватит пятерых.

Но свято место пусто не бывает. Место тещи пустовало недолго. В новом доме появился отец Андрус Доминикус, глава Цискодского прихода.

Доминикус был литовец, назначенный духовно окормлять инфляндцев. Ксендз, в свое время испеченный в Краславской Духовной семинарии, как мягкая булка с твердою коркой. Приход его распро-

странялся на Берзгалу, Рубени, Наутраны. Отец Доминикус жалел и опекал здешних жителей, как детей, но к семейству Себальдов привязался особенно и вошел в него, как кольцо в бычьи ноздри. Не так Станислав Себальд, как его дети занимали ум пастыря. То и дело, кстати и некстати он заводил речь о Елгаве («Елгова», говорили латгальцы), о главе тамошних католиков, литовце Матейе Валанчюсе, о Елгавской католической школе.

Доминикус был по-медвежьи силен и огромен. Выставив вперед брюхо, круглое, как сельдяная бочка, он не раз выходил меряться силами с колнасолскими первыми силачами и, как правило, побеждал.

Танцлов хорошо запомнил их первую встречу. С двумя старшими сыновьями он вез к себе на двор здоровенное бревно – будущий колодезный журавль. Ствол, еще не ошкуренный, комлем был уложен на повозку, а его тонкий конец, привязанный к кованым санкам, катился следом почти двадцатью метрами дальше. На перекрестке санки завалились в сугроб, и груз застрял. Как ни старался лучший Себальдов рысак, как ни понукал его Танцлов, как ни наваливались на санки отец и сыновья, ничто не помогало. И тут к ним подъехал отец Доминикус.

– Вот... Никак не вылезем, – извиняющимся тоном сказал Танцлов.

Доминикус соскочил с саней, поплевал в ладони.

– Пустите-ка меня, – пророкотал святой отец. – Попробуем, с Божьей помощью...

Священник захватил в охапку санки вместе с вершиной хлыста, приподнял и поставил на дорогу. Там, далеко, вывернутые оглобли вернулись на место, и конь наконец-то вздохнул свободно. Танцлов переглянулся с сыновьями. Все трое, как по уговору, сняли шапки, глядя, как служитель божий, лишь слегка порозовев, катит мимо.

Так началась их дружба. Доминикус, проезжая через Колнасолу, никогда не упускал случая заглянуть к Себальдам. В беседе и за столом был прост и открыт; о себе рассказывал скупое, но не скрывал: живя вдали от родных мест, никогда не забывал своего языка и народа.

Он умолчал – но другие рассказывали шепотом: Андрус Доминикус в 1831 году в Вильне с голыми руками шел против драгунов; царь тогда послал войска на усмирение мятежных поляков и литовцев, и молодой Доминикус вместе с другими бунтовщиками оказался за решеткой. На счастье Андруса, среди соседей по камере нашелся высокообразованный латыш из Инфляндии, Андриус Платпиерс, и время

заклучения оба провели с величайшей пользой, беседуя о свободе и необходимости, о звездах над нами и нравственном законе внутри нас, о Кенигсбергском мудреце Иммануиле Канте, которым оба восхищались.

Из Вильны Доминикус был сослан в глушь, на задворки империи – в Витебскую губернию. Но нет худа без добра – в здешних латгальцах опальный ксендз увидел братьев по судьбе и своей участью нимало не тяготился.

Танцлов Канта не читал, да и такого имени не слыхивал; о бунтах тем более не помышлял. Но святой отец был добр и приветлив, за столом не отказывался от глотка медовухи и рассказами своими развлекал Танцлова, молчуна по призванию.

ГОСТЬ

– Вы, конечно, знаете, что однажды в Лейпциге войска Австрии, России, Швеции и Пруссии победили непобедимого Наполеона, и это событие теперь называют Битвой народов, – говорил Доминикус, – но я не о том. Я о ближайшем сподвижнике Наполеона, маршале Понятовском. Все три дня он провел на поле сражения, и вот, измученный, сокрушенный, подъехал к броду на реке Эльстер, пришпорил своего белого красавца-коня и – угодил напрямик в глубокий омут. Туда его вместе с конем и затащило...

Ну кто еще в Колнасоле, да и во всей Инфляндии мог бы рассказать такое? Никто, кроме нашего гостя, думал Танцлов.

На дворе стояла стужа, обычная для этих мест посреди зимы. Жители Колнасолы в такую пору приоткрывали дверь дома лишь на миг, чтобы бросить кость собаке, не морозя рук. С дальних северных болот доносился волчий вой, в хлевах и клетях от стужи трескались балки, стонали, вздыхали в риге черти и прочая нечисть. Кто-то отпраивался по неотложному делу в путь, невзирая на мороз. Холод ошпаривал, точно баннным паром, щеки ездока уже на первой версте, обводил ноздри трудно дышащих лошадей ледяной коркой. По-дурному кричало воронье на верхушках берез. В безветрии слышно было только, как незримый ангел сталкивает с голой кроны дерева шапку снега. Метель вдруг вздымала в воздух облако серебряной пыли, и казалось, это снег идет не с неба на землю, а с земли в небеса.

Но в доме нынче жарко натоплено, уютно. После бокала медового

напитка, цветом в темный янтарь, тройной подбородок пастыря опустился до складчатого воротника сутаны. Но вот гость снова встрепенулся, на чистейшем латгальском наречии не в первый раз попросив:

– *Laid, Tanclov, tu dalus školuos! Redzēsi, ka nabyus juonūžāloj!* То есть: отпусти, Танцлов, сыновей в ту школу! Увидишь, жалеть не придется!

Танцлов, слушавший святого отца и, чтоб не терять времени, чинивший сапог одного из сыновей, в досаде отбросил обувку. Лучше бы Доминикус и дальше рассказывал про того маршала, что ли. Виданное ли дело – сынов отослать со двора в такую даль? Оно и заманчиво тоже. Но... Но нет.

– Чем жили наши отцы и праотцы, тем и сыны, и сыны сынов будут жить! – вымолвил он, наконец. – А грамоте они и без того хоть чуток, да научены.

– С большой семьей, Танцлов, можно горы своротить. Отпусти самых младших, хозяйство твое сейчас обходится без них, обойдется и дальше!

– А я скажу – если Бог даст еще сыночка, отдадим в ксендзы! – это вдруг из своего зашкапья подала голос Ива. – Пуццай послужит Богу, за нас помолится!

Ее темнозеленые глаза встретились с изумленным взглядом Танцлова, и она, застыдившись собственной смелости, отпрянула назад, в полутьму.

Танцлов на миг остолбенел. Так вот о чем думает Ива? И гость тоже хорош. Как ему-то в голову пришло такое? В округе нет и веки не было католического священника из латышей. С амвона никогда еще не раздавалось ни одного латышского слова – язык язычников, разве Бог пожелает понять его? А если бы и пожелал, и понял... Учение сына небось обошлось бы в копеечку. А где прикажете ее взять, лишнюю копейку? За землю долги еще платить и платить!

– Вы уж извиняйте мою Иву за глупость, святой отец! Зима еще долгая. Нам бы дотянуть до весны, вот о чем надо думать, – сказал Танцлов сердито, стараясь не глядеть в сумерки за шкапом.

Доминикус, между тем, размышлял совсем о другом. Хозяину дома – под шестьдесят, Ива хоть и помоложе, но и ей полвека, не меньше. Неужели и впрямь она надеется родить еще сына?

– Не бойся, сын мой, – сказал он вслух. – Бог даст, дотянем и до весны, и до лета.

ТРИ КОРОЛЯ

Вечер 5 января 1864 года, накануне дня Трех Королей выдался мирным. Танцлов долго не шел в избу, ходил по двору, и его призрачное отражение возникало то в одном, то в другом окне. Вечерняя мгла спускалась вместе с темнотой, жадно заглатывая все вокруг. Показались первые звезды.

Углем, захваченным из печи, хозяин подновлял на воротах, дверях и окнах буквы: К+М+Б. Каспар, Мельхиор, Бенедикт. Три волхва. Три короля. Наперед знавшие о великом событии, пришедшие издалека, с Востока, чтобы увидеть Богоявление своими глазами, принести святыне дары Матери и Младенцу.

Ива, только что из бани, с узелком в руках, окликнула мужа:

– Ты скоро? Небось, все собрались уже.

– Сейчас. Знаки подновить надо. Не то Три Короля не вспомнят путь к нашему дому.

– Нужен им наш дом!

– А вот и нужен, сама увидишь.

Лужицы, напоминание о новогодней оттепели, затянуло ледком, и сейчас он звенел под ногами. Волосы Ивы под платком, толстая коса, змеившаяся из-под него, еще дышали банным жаром. Ива знала – Танцлову в такие минуты нельзя перечить. В доме его ждали пятеро сынов, а он ждал Трех Королей.

Мимо голых кленов, очертания которых едва угадывались, Танцлов, весь ожидание, весь смирение, прошел в поле. Снежная пыль подымалась кверху. Ночные светила, проглянувшие было недавно, затянуло мглой. Танцлов с куском угля в руке нырнул в туман, почти наугад ступая к середине поля. Странно – вместе с видимым миром куда-то пропало и время; вокруг было клейкое никогда и нигде. Внезапно к нему прикоснулись. Танцлов, вздрогнув, пал на колени.

– Кто ты? – спросил, не слыша своего голоса.

«Я твой сын», – прозвучал тоже без голоса, без слышимых слов, ответ в нем, внутри.

– Сыновей мне больше не надо, их у меня пятеро! Я хочу говорить с Богом. Ты, случаем, не Бог?

Мгла вдруг уменьшилась на добрую треть, как если бы вынули втулку из бочки, и лишнее вытекло. Открылись месяц и звезды над головой. В руке Танцлова все еще оставался кусок угля. Тяжело под-

нявшись с колен, Себальд с силой потер друг об друга шершавые, черные ладони.

Лошадь фыркнула совсем близко, на подъездной дороге. Кого там бог послал? – Танцлав заторопился. Жидкий лунный свет позволил не столько увидеть, сколько угадать зимнюю легкую повозку ксендза – двуколку, поставленную на полозья. И седок, и конь были хорошо знакомы Танцлову. Только что остановленный рысак по кличке Седой грыз удила, роняя пену.

– Будь славен Господь Иисус Христос! – сказал Доминикус, с любопытством глядя сверху на подошедшего Танцлова.

– Во веки веков, аминь, – отозвался тот.

– Кого-то ждешь?

– Жду. Трех Королей, – сказал Себальд, кажется, покраснев, но если и так, в темноте этого никто бы не увидел.

– У них свои пути, Танцлов. Бог с тобой говорит через твоих сыновей, они и есть твои короли! Разве ты глух, сын мой?

Танцлов отшатнулся от пастыря, как от привидения. Тот взмахнул кнутом с кисточкой рысьей шерсти на конце и уехал.

– Папа, ты где? – из приотворенной двери раздался голос Юониса. К руке сына привязан шнур, второй его конец прикреплен к колыбельке младшего, Езупа. Куда бы ни двинулся Юонис, он качнет колыбель, а младенцу, чтоб не плакать, того и надо.

Отец последовал в дом послушно, словно сыновья его притянули невидимыми нитями. Все обрадовались, увидев его. Ива уже переплела косу, нашла прибереженный заранее ладан и мел, освященный в костеле. Воскурила ладаном, над буквами К+М+Б, выведенными на косяке хозяином, начертала мелом такие же свои. Вишь ты! Никому не сломить гордость Ивы, Танцлов понял это давно, нечего и пытаться.

Потом они оба стояли во главе стола – волосы матери все еще черны, как уголь, волосы отца белы, как мел. Оба серьезны, строги, оба сознают важность подобных минут на людском пути. Танцлов глянул на своих сыновей, перевел взгляд выше, на икону Сердца Иисусова.

– Божественное Сердце Иисуса, – начал он в полный голос. – Чрез невинное сердце Пресвятейшей Девы Марии обращаю к Тебе все мои молитвы, и дела, и помыслы. Мое горячее желание – заслужить отпущение грехов и для нас, и для всех умерших.

Малыш Езуп заплакал в колыбельке. Ива произнесла: «Амен!» и пошла успокоить ребенка.

– Там, за порогом, ночка что надо, – сказал Танцлов, когда они остались вдвоем у себя за пологом. – Славная ночь! И звезды Трех Королей я видел. Ясно, как тебя.

– Ты о чем, Танцлов?

– Я о том, что, что, значит, лето будет не слишком сухое, не чересчур дождливое, а как раз посередке. Плодородное будет лето.

– Пло-до-род-ное, будет! – промурлыкала Ива, поудобней укладываясь. Белая ночная сорочка застегнута до горла, но тело под ней горячо и упруго. Сыновья в большой комнате уже спят все, кроме младшего, Юониса. Шлеп-шлеп, тут как тут босые ножки, головенка просунулась за полог: «А сказку?» «Ну-ка брысь на лежанку! Какая сказка? Поздно уже. Завтра будет тебе сказка».

Наконец, одни. Танцлов с Ивой всегда спали вместе, как котята одного помета. Крепкие, старые, и чем старше, тем крепче. Будто два сосновых корня, сплетенных навеки. Волосы Ивы, распущенные на ночь, в темноте мерцают, как шелк. И шелковисты на ощупь. От них исходит слабый запах ладана. Ива Хадермане из Презмского прихода, ладная, теплая, желанная, как и тогда, впервые увиденная в церкви на Троицу, – сколько же лет назад? Много, лучше не считать.

Во сне Танцлов двигал руками, тяжело дышал. Ива погладила его ласково, как ребенка, и повернулась к нему спиной. Небось, и во сне обсуждает договоры! Бормочет что-то, спорит со своими Тремя Королями – поляками, русскими, с отцом Доминикусом.

Сон снизошел на хозяйку. Завтра рано в церковь.

Добрая, теплая ночь окутала дом.

Оба проснулись около пяти. Окна серебрились. Дом, казалось, светился изнутри. Их дыхание выровнялось, двое, не двигаясь, лежали рядом, открытые глаза вглядывались в неизвестное будущее.

Ива почувствовала – не увидела, не услышала, а ощутила – чье-то еще присутствие. Незримое. Благое для них обоих. Словно малая, безмянная душа, не имеющая пока телесного пристанища и облика, витала над ними. Это дитя, предсуществующее, поглядывало на грядущих родителей с любопытством, морщило крохотный носик и, как почему-то знала Ива, желало быть.

– Да отчего же нет? – пронеслось в мыслях Ивы, и она, откинув на подушку гордую голову, зовуще тронула мужа.

Не так уж много места доставалось ей в этом, окруженном полями, просвеченном звездами, пропетом сверчками, надышанном и намо-

ленном доме. Может, поэтому она умела промолчать, и молчание это бывало важным и значащим в минуты, когда Слово готовилось еще раз обратиться в Плоть.

Танцлов заметил движение Ивы. И подался навстречу, обвил руками-ногами, легкую и сильную, зрелую и словно бы неподвластную годам, подтачивающим и обрушивающим всех, и, как в юности, словно падая в бездну, проник крепким стержнем. Мощным, все еще полным житнетворящего сока. Предрасветное небо согласилось принять их в глубины своей высоты, двое стали единая плоть, и тугой сгусток света, вызванный из небытия, был захвачен и принят возлюбленным лоном.

Десять месяцев спустя, 4 октября 1864 года от Рождества Христова, родился Францис.

КОСТЯНЫЕ ВОРОТЦА

В календаре, составленном по приказу помещика Густава Мантойфеля, было сказано по-латгальски: *Dina Frančiska, atzynotoja, istatejo klašturu Bernadyņu. Saula lac: 6 ap 32 m, saula nor. 4 ap 54 m.* День святого Франциска. Восход солнца в 6.32, закат в 4.54.

Октябрь пришел с первыми заморозками, опалившими картофельную ботву, окрасившими придорожные клены каждый в свои цвета. По холмам теперь гуляли туманы. Урожай убран, откормившиеся на отаве бычки и свиньи забиты. Амбары и кладовые заполнены зерном, маслом, копченями.

Ива в ожидании родов была спокойна на удивление. Время от времени она обращала взгляд в небо, задумывалась. Застывала, как была, – с подойником или охапкой сена в руках, глядела в небеса, думала. Если спрашивали, что с ней, так и отвечала:

– Задумалась чтой-то.

О чем задумалась – не уточняла; может статься, и сама не знала.

Однажды вечером крохотное существо внутри нее повернулось головкой к выходу. Ива доила корову и ощутила внезапную боль в животе. Ива знала: младенцу ведомо, когда ему выйти на свет; он и пробивается к материнским костяным воротцам по своим таинственным путям, предуказанным от начала времен.

Роды были в жизни Ивы обычным делом, столь же естественным, как сама жизнь, Богом сотворенная в этом мире, и все ее законы; оставалось лишь быть послушной вышней воле, как послушны ей все

божьи твари – звери на земле, рыбы в воде, птицы на деревьях. И еще быть счастливой. А что есть счастье? О, уж это Ива знала наизусть, как «Отченаш»: счастье – это мир, покой. Счастливый человек никуда не рвется, ничего не требует. «И на земле мир, в человецех благоволение», воскликнуло все небесное воинство, когда родился Христос.

Дитя, пробывшее столько месяцев в материнской утробе, несло с собой мир и спокойствие. Даже великанши-кобылы, забрюхатив, становились спокойней и больше не лягали борону. Ива думала, что ребенок, спящий внутри матери, пример всему живому – начавшись почти что из ничего, он растет медленно и вдумчиво, согласно знанию, заложенному в нем. Создатель позаботился о том, чтобы в теле роженицы вызревал не цыпленок, не ягненок, не жеребенок, а дитя человеческое. Божий перст был во всем – кто ж еще, кроме Господа, мог влиять на происходящее в потайных глубинах женского тела? Правда, Алма, мать Ивы, говорила, что беременной желательно пристально глядеть на образы ангелов, тогда ребенок родится красивым. Иве не часто удавалось разглядывать ангелов, но Себальдовы сыновья и без того рождались здоровыми и пригожими.

В тот день Ива на боль почти не обратила внимания; она подоила корову, и потом, вымыв молочную посуду, развесила на кольях забора. Постояла бездумно на дворе, посмотрела в темносинее небо, где одна за другой загорались желтые звезды, похожие на осколки разбитой чашки. Осень успела понакрыть лужи первым, хрупким ледком. Руки немного мерзли.

Вечером Ива занялась ненадолго шитьем, прочитала «Отченаш» и приготовилась ко сну. Шепнула мужу, чтобы с утра увел сыновей, а сам вернулся и был поблизости, когда придется ехать за повитухой Бернадеттой. Все ее звали, впрочем, Бертой, и жила она на другом краю села.

Сон Ивы был глубок и спокоен. Она дышала ровно, покуда Провидец вселенских судеб вручную свершал свой труд, постепенно высвобождая, открывая для младенца путь наружу.

Наутро Ива проснулась рано. Сыновья еще посапывали в своих постелях, но Танцлов, поднявшийся еще раньше, чистил и проветривал хлев, чтобы от густого скотного духа Иву не затошнило. Как и всяким утром, Ива затопила в кухне плиту, напевая чуть слышно годзинки – часовые песни в честь Девы Марии; как и всегда, задержала взгляд

на иконе в Красном углу, на потемневшем ангельском лике. Громче пропела «Мария, Мария, сиятельной солнца» и «Кто хочет Марии служить». Работы, как всегда, не кончались. Ива пела все громче, словно пробуя перекричать возобновившуюся боль.

Ее делом было всякий день накормить свою «артель», – считая с малышом Езупом, который уже топал ножками и ел толченую репу, в доме крутились семеро. С утра надо было начистить целую гору картошки, чтобы хватило на три раза. В большом котле варилась капуста с засоленной на зиму бараниной.

Доставка воды из колодца была в ведении Танцлова. Приготовить свекольную ботву уткам и свиньям было также делом его и детей, а вот коров доила только она сама.

Сжав последний раз коровий сосок, Ива поднялась, и тут в животе ее ворохнулось – словно плеснула большая рыба; на дойную скамеечку отошли воды.

Она еще успела подлить свиньям в кормушки теплого молока, и те, толкаясь и визжа, набросились на лакомство. Квохтанье кур возвещало о только что снесенных яйцах; молодые петухи горланили, будто стараясь перекричать друг друга. Крякали утки, стайка воробьев шныряла у порога. Ива отбросила подойник и сквозь весь этот гомон бросилась в дом, словно убегая опрометью от повседневности. Все бросить. Труд любви, вот что ей предстояло.

– Езжай за Бертой, – сказала она Танцлову, сидевшему на кухне с чашкой кофе. Он тут же пошел будить сыновей. Не прошло и десяти минут, как телега с детьми растворилась без остатка в осенней мгле; в ближайшие часы на дворе и в доме будет женская власть.

Спустя добрый час Танцлов вернулся с Бернадеттой. То была девушка, еще молодая, с гривой темно-каштановых волос и высоким чистым лбом. Она уселась в углу и успокаивающе смотрела теперь на роженицу глазами, отливающими стальной синевой. Несмотря на молодость, Берта успела прославиться нерушимым спокойствием в решающие минуты, а главное – умной, страдающей и крепкой рукой.

Танцлов глянул на жену, охнувшую от очередного приступа боли.

– На все Господня воля, – тихо произнес он, комкая шапку в руке, и пошел, время было молотить бобы.

Солнце опустилось уже почти над самым жнивьем, когда в овин ворвалась Берта.

– Танцлов, бросай все, тащи сюда бабу Алму! – скомандовала она,

отирая пот с багрового лица. Танцлов разогнулся; одного взгляда на повитуху ему хватило, чтобы смекнуть: дела плохи. Он запряг в легкую двуколку лучшего рысака и помчался в Птичье село так, что колеса по сосновым корням только успевали отбивать частую дробь.

Старая сидела в тесной каморке, чистила яблоко и покачивала ногой, глядя в окно. Со стороны леса выкатилось нечто вроде пыльного шара, выросшего на глазах в темное облако. Потом из завихрения пыли выделились конь, а за ним и возница. Щедро облаянный всеми собаками улицы, ездок вихрем подлетел к крыльцу и оказался ее зятем. Сердце Алмы екнуло.

– Если она сама не зовет, не поеду, – отрезала теща.

– Да она может помирает! – крикнул Себальд не своим голосом. Это заставило тещу мигом вскочить на ноги, подхватить корзину со всем, что требуется повитухе. Дверь Алма заперла снаружи длинной метлой.

– Когда помирают, зовут не повитуху, а ксендза, – буркнула она себе под нос для порядка.

Двуколка, теперь с двумя седоками, сорвалась с места. Ух ты! Вот это скорость. Алма терпеть не могла нудной, неспешной езды; свою собственную белую одноглазую лошаденку поносила последними словами, ибо заставить беднягу хоть немного прибавить шагу не удавалось еще никому. А вот Гнедко Себальда, стоило хозяину натянуть вожжи, обращался в летящую стрелу. Черные стволы деревьев слились в сплошной забор, за которым изредка вспыхивали и пропадали пятна полей и лугов. Баба Алма даже прикусила кончик косы, как ее подопечные при схватках. Обида, досада на дочь растаяла в минуты бешеной езды, как тает олово на сковороде.

Когда оба ступили за полог, Ива лежала в постели, укрытая одеялом по горло. В ушах еще висел ее собственный недавний крик, но волны боли уже не накатывали, теперь ею овладело бессилье. Только глаза дочки вдруг вспыхнули надеждой и благодарностью при виде входящей Алмы. Она ощутила душой и телом связь с родным существом, с той, что кормила ее грудью и собою защищала от всех угроз мира. Эту связь не каждый сознает, но тело-то помнит все – запах, тепло, первый в жизни услышанный голос, первый встреченный взгляд.

Алма поставила привезенную с собой корзину, прошла на кухню вымыть руки.

Танцлова, все еще мявшегося у порога, она взглядом отослала в сенцы. Подойдя, одним движеньем расплела косу дочери, – волна темных волос хлынула на подушки. Тут же баба Алма подняла одеяло и знающей рукой нырнула в глубины дочернего тела.

– Так-так. Ишь, какой гордый! – Крохотный, упрямый подбородок младенца, упершись в костяные воротца роженицы, откинул его головку назад, как у забиваемой птицы.

Повитуха подхватила Иву под бедра, приподняла дочь и с силой тряханула, точно соломенный матрац. Ребенок скользнул назад, поосвободив себе выход.

– Лобиком идет, вот в чем закавыка, – пояснила Алма Бернадетте; та стояла у окна, вытирая слезы. – Что стоишь, неси таз, щас будет.

Иву она спросила:

– Доча, у тебя как, силы есть?

Ива хотела покачать головой – нет, нисколючки, – но не было сил покачать головой.

Единственное, что в ней оставалось после целого дня борьбы, это пульсирующий комочек, упрямо не желавший рождаться как следует, как все Себальдовы сыновья. Роженица замычала, как телок, и собрала остатки воли в один-единственный подтверждающий взгляд.

– Сейчас! – твердо сказала Алма, всей рукой, длинными пальцами вновь проникнув в дочкино тело; захватив затылочек маленького упрямца, она направила его головку вниз, в темную влажную теснину, где все, казалось, безнадежно застряло, и в промежутке между жизнью и смертью отменилось время.

Но шевельнулись застывшие было шестерни, вернулись минуты. Ива изгибалась всем телом, извивалась, как плеть, и в руках Алмы была как те змеи, приползавшие к ней за жизнью. Роженица очутилась вдруг на холоде, в ледящей стуже, на одно нескончаемое мгновение ее тело обратилось в хрупкую кристаллическую решетку, лопнувшую со звоном.

Ива кричала трижды – утробным, звериным криком; все правила, все добрые советы вылетели у нее из головы и ничего не значили. Кричала не от боли, а чтобы ухватить ртом клочок недостающего воздуха. Дитя перед костяными воротцами остановилось, точно страшась выйти на свет; затылочек с темными, волнистыми волосками застыл у порога. И чуть не отпал обратно, в небытие, но тут ладонь бабы Алмы ударила справа и слева по лицу дочери с каменно стиснутыми зубами:

– Открой рот! Что говорю – разомкни рот!

Ива поняла. Расслабилась, одновременно напрягшись.

Ребенок выглянул, высвободился по плечи. Крохотные кулачки были сведены вместе под самым подбородком. Он открыл глаза, сморщил носик и чихнул.

– *Vyusi vasals!* – Будь здоров! – услышал новорожденный два первых слова родного латгальского языка. Когда после еще одного, решающего усилия матери дитя окончательно явилось на свет, баба Алма возложила его не на живот роженицы, а на свою иссохшую грудь.

– Дочь? – со слабой надеждой спросила Ива одними губами.

– Сын! – отвечала ее мать с умилением и торжеством.

Случилось, наконец. Ни одного Себальдова ребенка ей не дано было принять из-за той гадючьей вражды. И вот – странное дело! – время словно бы повернуло вспять, и ей дозволено было обновиться вместе с новорожденным. Да, это легкие младенца, почти невесомые, открылись земной атмосфере и жадно схватили первый глоток воздуха, это его крохотные ноздри, тонкие, как бумага, впервые раздулись и опали, это его первый крик, словно бы пробуя на вкус незнакомую мелодию, огласил новый мир, и все это было его – и не его, а бабы Алмы. Сто раз виденное вдруг открылось ей заново. Глаза малыша, мерцающие, как дымчатые опалы, из непостижимой дали смотрели ей в душу. И как чудесно пахло от него – чистотой, лавандовым мылом и свежим ветром.

Пуповина, все еще соединявшая сына с матерью, только что перестала пульсировать.

– Франциск! – воскликнула баба Алма. Она перерезала пуповину и завязала узлом, тем самым как бы окончательно присвоив младенца. Ива беспомощно смотрела на то, как ее мать облизывает личико дитяти, ведь это полагалось сделать ей, чтобы уберечь сыночка от сглаза.

«Да уж ладно. Пусть!» – подумалось Иве. Сколько раз она об этом мечтала – чтобы змеиный спор окончился миром.

Бернадетта смотрела на происходящее не мигая. Сколько она слышала о бабе Алме, и вот увидела своими глазами. Всё, даже мускулы, вздувшиеся ниже плеч повитухи в тот миг, когда надо было расширить костяные воротца. Алме ведь далеко за семьдесят! Откуда только силы берутся. Уж на что силен колнасолский кузнец Кауприс, а тут вряд ли справился бы. Берта скосила глаза на свои предплечья. Если старая на такое способна, то и у нее есть шанс.

Францов послед Бернадетта уложила в таз и вынесла в большую комнату, где в полнейшей растерянности столбом торчал Танцлов. Все предыдущие сыновья как бы сами собой скатывались ему в руки и под полу его платья, суля отцу все, чего он от них ожидал, – силу, статью, смелость и послушание. А этот, нарушив обычный порядок, чуть не прикончив свою родительницу, отдыхал теперь на тощей тещиной груди, притом Алма уже успела имя ему дать, не спросивши ни мать, ни отца: Франциск.

Раздумывая обо всем этом, Танцлов с тазом в руках покорно пошел за лопатой. Себальды твердо знали – то дерево, под которым закопают послед, станет защитником мальчика. Всем предыдущим детям досталось по крепкому дубу. А этому?

Что-то холодное коснулось наморщенного в раздумье лба. Танцлов остановился и откинул голову. Там, вверху, атели гроздь рябины, нежно мерцала кора, серая, с серебристым рисунком; кисти свисали с гибких ветвей, и крупные ягоды, каждая, оканчивалась крестиком. У кроны за пазухой устроилась стайка птиц, и только сейчас Танцлов услышал их щебет. Ну что ж. Пусть ему, Франциску, будет рябина! И Себальд закопал послед под выбранным деревом.

Когда он вернулся в дом, все и вся было прибрано, Ива лежала с заплетенной косой. Ребенок спал, припав головкой к вырезу льняной сорочки. Ива виновато улыбнулась мужу. В этот раз вышло не по заведенному им обычаю.

Баба Алма неохотно отвела взгляд от внука.

– Корми как следует! – сказала наставительно дочери. – Как за оводи примется, пришло за парнем. Возьму к себе.

И, не оглядываясь, вышла, уселась в повозку, где уже ждала ее Бернадетта.

– Но-о!

Вот удивился Езуп, когда увидел, что место в его колыбельке занято! Там лежал и смотрел на него новый братик. Удивился и Юонис.

– Где ты взяла его, маменька? – спросил он, внимательно осмотрев маленького.

– Берта увидела – кто-то барахтается в озере Асара, выплыть не может. Взяла его за ножки и вытащила! – объяснила Ива. После всего пережитого ей наконец-то дышалось легко и сладко.

– Кто же купается в такой холод! – не поверил Юонис.

Тем временем Езуп надулся, вот-вот заплачет. Кто это, почему это занял его ивовую колыбель!

Мать встала на ноги, взяла Езупа и бросила на широкую постель, на ею нагретое место. Пускай немного поживет с ними, а уж после переберется в мальчиковую комнату. Колыбель в Себальдовом доме редко пустовала.

Езуп тут же успокоился, и, взяв в рот большой палец, мирно уснул. Ива взглянула на Танцлова, задумчиво сидевшего у плиты.

– Присмотри тут, я скоро буду, – сказала она.

Во дворе Ива нашла подойник нетронутым, там же, где оставила утром. Она подняла его и припала к белому. Сливки, успевшие всплыть, прохладные, пила долго, так, как пьют осенний туман.

Точно просыпаясь от смерти.

ПУЗЫРИ МОЛОКА И ПУЗЫРИ КРОВИ

Прошли еще четыре весны, и повитуха Берта приняла еще одного сына Ивы и Танцлова, седьмого по счету, Константина. Ива не уставала удивляться – разве такое бывает? – ей было уже за пятьдесят, старшие из сыновей успели подарить Себальдам внуков.

Вновь пришедший оказался очень маленьким, очень тихим, так что появлением своим не потревожил ни отца, ни мать; ни лишняя пылинка с цветка, ни росинка с листа не упала.

Ива и прежде редко бывала на людях, а теперь и вовсе замкнулась у себя во дворе. Она ждала, когда младенец малость подрастет и ничем не будет отличаться от бегающих по двору внуков. Полвека за плечами – и сынок, припавший к груди. Чудны дела твои, Господи! Правду говоря, в ней самой, в ее внутреннем календаре время не менялось. Ей могло быть шестьдесят, а могло быть и двадцать, и сорок. Точно так же она продолжала бы работать с зари до зари, чуть слышно напевая. Точно так же заплетала бы с утра тугую косу, и глаза ее оставались бы темными, зеленоватыми в глубине, как всегда.

Одно только она уже твердо знала, нося в утробе Косту: это будет их последний ребенок. До конца дней всякое еще может с ними случиться, но такого больше не будет никогда, и потому Ива нехотя расставалась с каждым днем этих месяцев. Легко ей не было, а чудесно было. Так ли? – спрашивала она иной раз, наклонясь над ручьем и глядя в свое зыбкое отражение. Да, так, подтверждал ручей.

Рре-ббе-нок, ррре-ббе-нок твой последний, рре-ббе-ночек, – бормотал ручей, пуская пузыри. Как малыш, который только учится говорить, подумалось Иве.

Чужих она сторонилась, у себя дома была счастлива. Ей нравилось молчать, молчать и вглядываться в новое существо, ласкать крохотные пальчики, запрягать в глубину зрачков каждую улыбку дитяти. Работ не убывало, но Ива всегда улучала лишнюю минуту, чтобы заглянуть в колыбель. От нее ласково, но решительно был отлучен четырехлетний Францис. Необходимость перебраться в широкую постель старших братьев была преподнесена ему как новое и ценное право.

Новость о рождении Константина дошла до ушей бабы Алмы лишь на девятый день, когда в церкви восприемником младенца от купели выступил отец Доминикус. Алма праздники в доме Танцлова не посещала никогда, но на сей раз запрягла своего белого одра и отправилась на Себальдов двор. Белыш за последние годы ослаб и на второй глаз, и на все четыре ноги, и старой приходилось в гулком бору еще туже натягивать вожжи, кричать на беднягу вдвое громче и грозней, а все без толку: конь демонстрировал в ответ полнейшее равнодушие и всем своим видом как бы говорил: куда спешить-то?

В доме Алма, бросив быстрый взгляд на мать и новорожденного, поискала глазами Франца. Ребенок играл тут же, под столом, с парой ягнят. Темные глаза мальчика блеснули навстречу, когда бабушкина рука приподняла край клеенки.

Алма кривоватой клюкой извлекла внука из подстоля, взяла за пазуху, точно гуся, и собралась уже улизнуть, но в сенях перед ней возник Танцлов.

– Здравствуй, баба Алма! Что это ты – никак ягнят крадешь?

– Э-э... Я еще в тот раз вам сказала: этого я возьму к себе. Вам же легче – когда еще один сосунок в доме.

– А дочку ты спросила?

Ива отозвалась не сразу. Откашлялась.

– Пуцай ребенок сам скажет, – сказала неожиданно низким, грудным голосом.

Танцлов взял сына за хрупкое плечо, встряхнул:

– Поедешь с бабкой? Али тут останешься? Ну, говори!

Францис боязливо поглядел в глубоко запавшие глаза бабушки, и пропищал:

– Вушкинюс... ягненков хочу, чтоб со мной!

Танцлов вытащил из-под скамьи плетеную ивовую корзину, посадил в нее обоих ягнят, вынес, поставил в повозку, принес туда же отчаянно блеющую овцу со связанными ногами. Алма привела Франциса попрощаться с мамой и протянула Иве темный флакончик.

– Так я и думала. Совсем дошла. Вот, будешь пить по глотку каждое утро!

Ива приняла снадобье, поцеловала Франциса и осталась вновь в желанном двуединстве со своим последышем.

Неспешная поездка через Войновый Бор в Птичье село оставила в малыше впечатление негасимое. Негасимое и в то же время несознаваемое, поселилось оно в той части души, откуда его при всем желании не достанешь. Такой и следовало быть именно этой части души – оставаться неприкасаемой и невидимой. Только странное, необъяснимое волнение вдруг взбудоражит кровь, когда глазам предстанет картина, в чем-то схожая с той, виденной и всеми порами кожи впитанной вскоре после рождения.

Бельш осторожно переставлял непослушные ноги, бабушка одной рукой правила, другую держала за загривок овцу. Францис устроился на скамеечке двуколки, прислонясь к надежному изгибу бабкиного локтя, и вертел головой во все стороны, как птенец с первым пушком на шее.

Необычайно широкий вид открывался его взгляду. То была Латгольская возвышенность, так называемое Разнское плато. В том месте, где леса отступали от дороги, по всем сторонам света на горизонте виднелись острые башни церквей – вон там Виляны, там Варакляны, дальше Дрицаны, Цискоды, перечисляла бабка. Францис неотрывно смотрел налево, в сторону Лубаны. Было на что посмотреть! Луга, пашни, озера, дымчатые майские березовые рощи, сперва позлащенные, потом розовеющие под закатным солнцем, наполнили душу малыша до краев, до отказа, так что понадобилось свернуться калачиком и уснуть, чтобы освободить место для следующих изумлений.

Эта поездка, впрочем, быстро исчезла из памяти, канула в подсознание, но уж оттуда убрать ее не могло теперь ничто и никогда.

Эдарчану баба – так на селе чаще всего именовали Алму – жила в доме, который мог показаться одновременно и юношески сильным и по-стариковски уязвимым. Приметы старости наблюдались прежде

всего в чертах дощатой пристройки, служившей и сенцами, и кладовой, где в сундуках и ларях, похожих на брошенные в высохшем речном русле лодки, хранились проветриваемые раз в год холсты, сотканые еще в прошлом столетии, отрезы, из которых однажды могли бы получиться рубахи, одеяла, юбки, простыни, а может, и пальто до пят, кто знает. На чердак, всегда открытый, вела деревянная, вся в сучках лестница, там проживали куры со своим начальником, петухом. Раз в день или два Алма, пыхтя, подымалась туда, чтобы нашарить в соломе снесенные квочками яйца. Под лестницей стояло древнее, выдолбленное из цельного дуба корыто. Даже будучи сухим, оно издавало сладковатый, пьянящий запах; служило оно для пивной закваски. В канун любого праздника корыто наполнилось золотистым ячменем и коричневатым густым суслом, только вот праздники случались в доме Эдарчану бабы все реже, и все мрачней и темнее глядело вверх на ступени пустое корыто.

За входной дверью открывались две жилые комнаты, узкие, но длинные; разделяла их большая печь с лежанкой, на которой Францису было суждено вместе с бабушкой коротать грядущие зимы. Обе комнаты, обшитые ивовой дранкой, в душе нечаянного гостя рождали щемящее чувство. Может быть, повинны в этом были подслеповатые оконца, наполовину заслоненные острыми, изумрудной зелени листиками герани.

Жизнь, казалось Францису, была там, снаружи, и его это устраивало. Ощущение надежности, защищенности никогда его не покидало в бабкином доме. Все вокруг было наполнено смыслом. О некоторых вещах – о царапинах на подоконниках, на боку печи, о вышивке на полотенцах бабка говорила: твоя мать постаралась. Давно, еще ребенком. В грустную минуту Францис любил пальцем провести по этим отметинам – словно бы притронуться к материнской руке.

С правой стороны жилья за низенькой дверцей обнаруживалась угловая кухня. Пол глинобитный, никаких окон – полукухня, полуамбар, в старину такие были в каждой избе. Свет проникал лишь через проем во внешней стене дома, через него же выходил дым. Посреди пола – яма для огня, над огнем – котел, подвешенный на крюке. Котлы, черные от копоти, каждый на трех высоченных кованых ножках, выстроились в ряд у стены. Это добро Алма унаследовала от курземских предков, и на чугуне сбоку можно было если не разглядеть, то нащупать чужие замысловатые гербы.

Все сваренное в таких котлах было особенно вкусным. Бабка вечером непременно присыпала пеплом последний тлеющий уголек, чтобы утром можно было подкинуть щепок и без труда, подув дважды-трижды, оживить вчерашний огонь. В котле, пристроенном в самом теплом углу, не переводился квашеный овсяный кисель; кисловатый и бодрящий глоток его по утрам помогал бабе Алме справиться с изжогой. Овсяную муку для очередной порции она просеивала руками, побронзовевшими от старости; кисель, казалось, набирался сил от ее пальцев. Сверху за упавшими наземь крупинками с интересом наблюдали куры.

Самым первым блюдом, которое бабка приготовила для Франциса, была затирка – молочный суп с небольшими клецками. Мальчик не отходил от двух ягнят, точно приклеился. Гладил, догонял, пытался пристроить на колени. Еще бы, они были из дома! Но вот усталость навалилась на мальчугана. Он присел на порог, глядя, как бабка колдует у стола. Колдует, не иначе, так он и думал. Глаза его слипались. Он их тарачил изо всех сил, но глазные яблоки под веками поворачивались как-то странно, голова тяжелела, тонкая шея, не выдержав ее веса, сламывалась, как цветочный стебель.

– Не спи, дружок, чтоб не съел ужок! – не бойсь, ужи детей не едят. Я тебе о них после расскажу.

Кажется, он заснул все-таки, но встряхнулся, как от удара, глаза распахнулись сами собой. Тропинка, что вела в яблоневый сад, шевелилась. В вечерних сумерках он не сразу разглядел: десятки змей продвигались к дому, текучая живая лента, бесшумная и быстрая – как можно так ловко, так быстро ползти на животе? Коричневатые, синеватые и совсем темные.

– Узнаешь? Ужи, – сказала бабка.

Ужи подымали коронованные плоские головы с желтыми заушинами, смотрели через порог, ничуть не боясь Франциса.

– Туорпи! – выкрикнул Францис шопотом. Черви! – так называли змей все в Колнаsole. Он искал глазами что-нибудь – суковатую палку, кочергу. – Прибить их! Прикончить!

Лицо бабки миг посуровело, и голос изменился.

– Ишь ты! Прикончить, значит! Прибить! А тебя кто-нибудь грозился прикончить?

Францис смутился. Нет уж. Такого опыта у него не было.

– Так зачем же других пришибить грозишься? Они ведь тоже живые, как ты да я. И никого не трогают.

Бабка переступила порог, сразу за которым стояло низкое корытце, и налила в него молока из подойника. Один за другим ужи подползали к кормушке и пили. Францис смотрел на них, и понемногу любопытство брало верх над страхом. Ужи пили так же, как птицы. Глотнет молока и закинет голову к небу. Много им не требовалось – пару капель. После чего они покачивали из стороны в сторону высокой шеей, будто танцуя, и тут же пропадали в траве.

– Чего это они?

– Чего-чего. Славят по-своему Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию. Подожди, скоро спать укладываться, я тебе про ужей расскажу, что сама слышала от своей бабки.

Вода в котле уже бурлила вовсю. Бабушка сыпанула на стол муки, кривоватым указательным пальцем проделала в кучке борозду, разбила и вылила в нее яйцо. Добавила щепотку соли, ложечку сахара. Смешала, ловкими пальцами стала скатывать клецки и кидать в кипящую воду. Готовый суп с клецками разлила в глиняные чашки и добавила парного, только что надоенного молока. Для Франциса у нее нашлась и еще ложечка сахара и чуток масла.

Францис ел и думал: странно. Никогда еще так не было – все ему одному. Мать тоже готовила затирку. Для всех. В их доме за еду еще надо было побороться. В кухне всегда хватало народу – старшие братья и самые старшие, навещавшие родительский дом уже со своими детьми, младшие, родные и двоюродные, почтовые кучера, конюхи, сябры, вальщики леса, нищие, еврей-разносчики, дальняя родня, – разные люди, то порознь, то вместе оказывались в доме Себальдов по разным случаям, и никому не принято было отказывать в куске. У матери хватало забот, успеть бы помолиться перед готовкой и посолить то, что в котле и на сковороде. А уж за столом всегда находился кто-нибудь из взрослых, кто как бы шутя отстранял протянутую к еде ручонку малыша: «Ты что, не видел? Котенок сковороду облизал!» – и тут же хватал самый вкусный, горячий блин или кусок мяса и отправлял в усатый смеющийся рот.

Но здесь все было для Франциса, для него одного. Если не считать ужей и птиц.

Бабка тоже была только для Франциса. С улыбкой смотрела, как он ест. Помыла на ночь ноги и уложила в постель, на деревянной кровати,

приговаривая: «Это моего дяди кровать, не удивляйся, Франци, в то время люди были покороче».

Слегка опьяневший от запахов бабкиного дома и от сытного супа, изнутри согревавшего каждую клеточку тела, Францис теперь слушал сказку Бабы Алмы про ужа и кукушку.

«Одна дочкина мать вырастила у себя в баньке вошь, такую здоровенную, что из вошиной шкуры сапожник стачал для дочери пару туфель. Как-то обеих, мать и дочь пригласили на свадьбу. И там, при всем честном народе, мать возьми и объяви: мол, кто отгадает, из чьей кожи у ее дочки туфли, тому отдадут ее в жены. Парни гадают, галдят наперебой, и все бестолку. Тут из щели в полу просунул голову уж, и шипит: «Туфли из вошиной кожи, туфли из вошиной кожи!» Нечего делать – надо отдавать дочь за ужа. Уж увез молодую жену в свой замок, в море. Ну, живут они там и живут. И однажды взбрело жене в голову – надо повидаться с родителями. Муж ни в какую – вот сносишь свои вшивые туфли, тогда пуцу. Прошло семь лет, жена вошинные туфли сносила вдрызг, и вот в дальний путь собралась, взяла своих троих детей, показать отцу с матерью. Уж поплыл провожать всех четверых и говорит жене: – Будешь возвращаться, встань на берегу, позови: «Муж уж, если жив, пусти пузыри молочные, если нежив, пусти пузыри кровавые. Тогда я вас встречу». На том, значит, и расстались. Ну побыла материна дочка у родителей, насмотрелась и по ужовому замку заскучала. Пора, говорит, загостились мы у вас. А родители отпускать не хотят. Захотели они выведать, какой у дочки с мужем уговор. Море-то большое, как ужа вызвать? Дочку спросили – не говорит, скрывает. Деток спросили. Старшего спросили – не сказал, среднего спросили – не сказал, младшего спросили, тот все и выложил. Отец, узнав, что хотел, вышел к морю и кричит: «Муж уж, если жив, пусти пузыри молочные, если нежив, пусти пузыри кровавые». Уж пустил молочные пузыри и выполз к дюнам, а отец в него выстрелил из ружья, да так метко, что убил. На другой день дочка вышла к морю, говорит: «Муж уж, если жив, пусти пузыри молочные, если нежив, пусти пузыри кровавые». И видит – вот они, пузыри кровавые. Мать в слезах, спрашивает детей: кто из вас об нашем уговоре проболтался? Младший и говорит: это я. Тогда мать сказала троим, что их ждет. «Ты, старший сын, станешь дубом могучим, ты, середняя доченька, станешь липой прекрасной, ты, младший, за твою болтовню

станешь кочкой, о которую каждый споткнется. Ну а я буду век вековать-куковать, своего муженька-уженька вызывать».

За открытым окном в теплых сумерках одуряюще пах подмаренник. Издалека, от придорожного большого креста в Птичьем селе доносился хор – это женщины пели псалмы в честь Пресвятой Девы Марии, Королевы родной им земли.

Ближе, совсем рядом послышался голос кукушки.

– Море – это что? – спросил Францис.

– Море – это то, у чего нет ни конца, ни края, – ответила бабка.

– А-а... – сказал Францис. Глаза его под тяжелыми веками повернулись вверх, и он соскользнул в мягкий сон, как уж в душистую траву. Ему приснилась бесконечность, голубая и зыбкая. На краю этой бесконечности кто-то стоял и звал его. Кто-то, для кого он был всем. Кто-то, кому он был бесконечно важен и нужен. Кому его никогда не будет достаточно. Кто-то, готовый ждать и звать его бесконечно.

И смутное предчувствие любви зародилось в нем вместе с предчувствием бесконечности.

ИВОВЫЙ МОСТИК

Хутора в Витебской губернии были редкостью. В деревнях и селах люди жили неразлучно, как травинки в стогу. И дело вместе, и недело вместе. Сообща гулять, сообща горевать и легче, и трудней, и просто, и ох, как непросто. Своего рода искусство – жизнь прожить на миру.

Дом бабы Алмы, когда-то стоявший с краю, с течением времени оказался в самой середине деревни, но сама она держалась особняком. Да и стара она была настолько, что люди иных поколений смотрели сквозь нее – идет ли мимо, сидит ли на скамейке под липой, старость ей как шапка-невидимка: есть Эдарчану баба и как бы нет ее. Седина и мудрость, кроме того, освобождали ее не только от мелкой житейской шелухи, но и от некоторых работ, обязательных для прочего люда. Зато внука от общих повинностей никто не освобождал.

– Проснись, Франци! Солнышко-то встало, и ты вставай!

Бабка тормошит Франциса, и внучок встает в постели с закрытыми глазами – ни жив, ни мертв, ни спит, ни проснулся. Сон был так сладок, он еще не ушел, он тут, в каждой клеточке тела. Чего бы мальчуган, кажется, ни отдал за лишнюю минуточку этой неги! Ан нет. Не успел человек толком глаза открыть, а на ногах уже лапоточки, подвя-

занные шнурками-оборами, на плечах котомка, а в ней бутылка молока, творожок, хлеб с маслом, и с тем работничек вытолкнут за дверь – пастуху никак нельзя опаздывать! Солнце и впрямь уже высоко. «Посреди ночи, что ли, встает?» – думает мальчик, но ведь уже не спит, уже думает. На слепящий шар не посмотришь, но глянь, в каждой росинке – по солнышку, взятому и отданному.

– Перекрестись, да не забудь помолиться там, на пастбище, – говорит, стоя на пороге, бабка то ли вслух, то ли про себя, и сама не знает. И, прикрыв глаза ладонью от солнца, смотрит вслед.

Длинная улица, единственная в Птичьей деревне, постепенно оживает.

Кристина Филатова

*

Зимой случаются чудеса. Попросите любого вашего знакомого рассказать вам какую-нибудь волшебную, проникнутую добром рождественскую историю, и он обязательно найдёт для вас такую, хотя бы одну.

Вот и я нашла...

В маленьких городках есть своё очарование, тут все друг друга знают, тут уютно и как-то по-домашнему что ли... Особенно это ощущается в Рождество, когда городок наряжается в новогодние декорации, а все прохожие, встречая знакомых на улице, говорят: «С наступающим!».

И особенно ярко в этих городках заметна эта цепочка рождественских чудес... Одну такую заметила и я.

Любовь Николаевна была стандартной продавщицей из местного магазинчика, ярко накрашенная, вечно недовольная, всё своё рабочее время она листала журналы и созванивалась с подругой Людой и своими такими же сварливыми двоюродными сёстрами. Люба не любила много всего на свете, но в особенности снег и праздники. А потому, когда за неделю до Рождества выпал первый снег Любовь Николаевна недовольно покосилась в окно, пробормотала «ну вот опять!» и скрылась в своей коморке продолжать листать журналы.

В доме напротив магазинчика Любы жила Танюша. Это была светловолосая очаровательная девушка с голубыми глазами и курносым носом. Она всегда носила нелепые шапки и оставляла следы на нетронутым снегу, просто, потому что, хотелось, а не нужно было. Она подкармливала дворовых кошек, читала русскую классику и имела тёплые отношения с соседками-бабушками, которые, казалось, были разочарованы во всем молодом поколении. Кроме Тани. Ну и своих внуков, пожалуй.

Танюша первому снегу очень обрадовалась, набросила куртку, нацепила нелепую шапку, взяла с собой свою пушистую собачку Тусю и выскочила на прогулку.

Бабушки тогда лишь неодобрительно покачали головами, но недолго, на повестке дня было обсуждение бабы Раи из соседнего подъезда, которая не соблюдала график уборки, и это было поважнее!

А Танюша под звонкий лай своего пса радовалась снегу и каким-то волшебным образом вдруг оказалась в том самом магазинчике, кото-

рый уже года два обходила стороной после крупной ссоры с нашей Любой. Вообще этот магазинчик не любили многие – неприветливая продавщица, которая встречает тебя в магазине, всем своим видом крича «не возвращайся», отбивала всякое желание посещать это место. Честно говоря, Татьяна уже и не помнила из-за чего они тогда так сильно поругались, но кажется всё началось из-за молока...

Забыв про все-все обиды, Таня влетела в магазин, оставив свою собаку зябнуть на морозе и дожидаться хозяйку у магазинчика.

Звон колокольчика оповестил Любу о приходе посетителя, первого за этот вечер и совсем нежеланного. Она оторвалась от своего любимого растворимого кофе, раздражённо закрыла журнал со статьёй о том, как вылечить спину и поплелась к прилавку.

При виде Тани лицо женщины вытянулось, она раздражённо буркнула что-то себе под нос и проскрипела «Здрасьте...»

В отличие от незлопамятной Тани, Любовь Николаевна тот скандал запомнила хорошо, и всё действительно началось с молока...

Ровно два года назад, прямо на Новый год.

Люба тогда впервые затосковала, её вдруг перестали радовать журналы, растворимый кофе, а снег стал раздражать в тысячу раз больше обычного. Любовь Николаевна ощутила своё одиночество в новых красках.

За окном слышался салют, весёлые голоса, подруга Людочка праздновала с семьёй, а старенький телевизор в каморке Любы транслировал праздник в столице. И Любе тогда так захотелось семейного счастья, и так остро она ощутила себя одинокой и никому ненужной, что аж прослезилась. Села и тихонько заплакала в своей каморке.

А тут вдруг пришла какая-то девчонка, которую Люба с первого дня невзлюбила, в глупой шапке, нанесла снега, громкая, суматошная и неловкая, она олицетворяла хаос для однообразной и спокойной жизни Любы.

Да ещё и прицепилась с молоком, мол, оно у вас старое, просроченное, а кто ей привезёт новое? Отменили завоз продуктов, праздник у всех... А девчонка такая недовольная, кошек ей вишь ты покормить надо. А просроченное она покупать кошкам не будет! И такое отчаяние, и обида Любу захлестнули, что она вдруг возьми и наори на посетительницу. И началась ссора, о которой бабушки на скамейках шушукались ещё очень долго. Обе дамы потом всю полночь ревели.

Одну успокаивала верная собачка Туся, в глазах которой читалось «Не переживай, у тебя же есть я!», а другую растворимый кофе и статья «РЕВЕНЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» с фотографией какого-то важного доктора, который вселял бабушкам-читательницам доверие.

Таня после этого в магазин больше не заходила. А Люба, завидев её из окна, ощущала себя ещё более недовольной, чем обычно, и отчего-то ещё более одинокой. Помимо хаоса эта девчонка олицетворяла счастье, позитив и веселье.

А Люба только и делала, что отпугивала всех и вся...

А ведь когда-то она была такой же, как Татьяна, девушка, стоявшая перед ней, но что-то пошло не так, и сейчас сидя за прилавком она была самым грустным на свете человеком...

Таня рассматривала полки с товарами, считала копейки в кошельке и вдруг, не выдержав пристального недовольного взгляда Любы, решила завести ещё более нелепый, чем все её шапки вместе взятые, разговор:

– А вы с кем Новый год отмечать будете?

– Кхм, с кем, с кем. С президентом! – пробурчала Любовь Николаевна, и покосилась на девчонку с ещё большим недоверием. – Вон каждый год транслируют!

– А Рождество?

– А ты вон какая любопытная! Ни с кем я отмечать Рождество не буду! Сдалось оно мне! Отмечать! Помолюсь себе тихонько и спать пойду!

– Вы что?! – Таня удивлённо посмотрела на неё. – Ведь Рождество на то и Рождество, чтобы становиться ближе, чтобы ощущать единство, добро и мир. Это же праздник семейный! Как же так...

– А нет у меня семьи! – и в голосе этой сварливой женщины послышалась Тане горечь и непролитые слёзы.

– А... – девушка замерла на секунду, прежде чем озвучить самое странное предложение на свете. – А давайте вместе праздновать? Я к вам приду, булочек свежеиспечённых принесу! Фильм какой-нибудь включим...

Таня притихла, сама поражённая своим предложением. Эту сварливую женщину обходили стороной все на свете, но она вдруг поняла, что, наверное, в этом и заключалась вся проблема...

– Ишь ты, сама же говоришь – праздник семейный! С родственниками и отмечай!

– А я сирота, у меня только собачка да кошки, и баба Маша, соседка. – Обе замолчали, каждый не верил в происходящее и обдумывал это странное предложение. – Всё! Решено! Прихожу к вам через неделю со своей Тусей, она у меня собачка хорошая, не обидит! Несу вам домашнюю выпечку, а с вас хорошее кино, и уютная атмосфера!

И девушка выскочила из магазина, так ничего и не купив. Дверь захлопнулась, колокольчик второй раз за этот вечер зазвенел...

Любе хотелось бы сказать, что собак она не любит, кино уже давно не смотрит, а сладкое не ест, но как-то не успела она... Она была искренне поражена. Девочка, которая виделась самой счастливой на свете, оказалась сиротой, такой же одинокой, как и сама Люба. Только почему-то она могла улыбаться и радоваться, а Люба нет...

Всё как-то странно сложилось в голове, упростилось что ли, и впервые за многие годы Любовь Николаевна, вечно сварливая и грубая, улыбнулась, хихикнула, а потом и вовсе расхохоталась на весь магазин. И ей вдруг так весело стало. Подумать только! Она, ОНА будет отмечать Рождество! Да ещё и в компании какой-то сумасбродной незнакомки!

Люба скрылась в своей каморке, бросила журнал в сторону и начала вспоминать любимые фильмы, которые она смотрела ещё в молодости и так сильно обожала. Она ведь и Рождество когда-то любила...

Рождество. За окном салюты и хохот, все куда-то торопятся, но всё равно успевают улыбаться и приветливо махать друг другу.

Любовь Николаевна сняла свою странную пеструю кофту и впервые за много лет нарядилась. Она даже сделала себе причёску, и накрасилась как-то по-другому... Не броско, а как-то по-настоящему, ярко и весело. И улыбаться захотелось. Вот только Люба забеспокоилась. А вдруг она, дурочка, зря украшала свою коморку, притащила диск с любимым фильмом молодости и совсем зря испекла пирог по бабушкиному рецепту, который не готовила бог знает сколько.

Вдруг эта Татьяна не придёт...

Но зазвенел колокольчик, показалась нелепая шапка, затем её хозяйка, и очаровательное пушистое создание в виде Туси.

В руках Таня держала подарочный пакет и кучу разных вещей. А Туся вдруг подбежала к Любе и радостно гавкнула. И Люба поняла, что на самом деле она очень даже любит собак...

Сначала они неловко переговаривались о всякой ерунде, накрывали стол и спотыкались об бегающую под ногами Тусю.

А потом уселись на диван, попробовали пирог и начался самый душевный на свете разговор. Они смотрели рождественский фильм, который навёл на Любу тысячи воспоминаний о светлой молодости.

А Таня вдруг увидела в этой взрослой сварливой женщине недолюбленную и несчастную девочку.

Прошло несколько месяцев, теперь каждый день Туся залетала в гости к своей лучше подруге – продавщице Любе. Вместе они обсуждали классические романы, а те старые журналы Любовь Николаевна уже давно не читала, и в силу ревенья верить тоже перестала.

Посетителей в магазине становилось всё больше и Люба стала слыть самой дружелюбной и приветливой продавщицей. Она всегда улыбалась, завела себе толстого рыжего кота Марса, который быстро нашёл общий язык с мельгешащей и активной Тусей, несмотря на все их различия, они подружились. Прямо как их хозяйки.

А ещё Люба теперь очень любила снег, Рождество и людей. И верила во все чудеса. И вдруг стала очень счастливой...

А бабушки на скамейках ещё очень долго удивлялись странным событиям маленького городка, где, казалось, ничего не меняется и не происходит, а время остановилось.

Но под Рождество чудеса случаются везде, и особенно это заметно именно здесь...

Вы, наверное, скажете, что ничего волшебного в этой истории нет, но на самом деле бОльшого чуда, чем сделать одного человека счастливее и стать им – нет.

С Рождеством!

МОНОЛОГ ПОДРОСТКА

*«Я боюсь стать таким, как взрослые,
которым ничто неинтересно, кроме цифр».*
(А. де Сент-Экзюпери)

В мире взрослых царит вечный счёт. Счёт денег и расчёт жизни. И неизвестно, что хуже. Взрослые планируют каждый свой шаг, они всегда пытаются держать всё под контролем – смотрят прогнозы погоды и таскают с собой огромные ежедневники, в которых всё расписано по минутам. Взрослые считают всё. Мне кажется, они возомнили себя Богами, хозяевами своей жизни. Но на самом деле они выглядят как живые холодные роботы, в чьих головах только цифры...

Когда ты маленький, ты веришь в чудеса, ты удивляешься каждому шагу, каждому совершенно обычному явлению, ты живёшь одним днём. В твоих глазах есть живой огонь, его, конечно, скоро погасят, но пока ты этого не знаешь и продолжаешь удивляться всему на свете. Это волшебное чувство, но, к сожалению, мы не остаёмся с ним на всю жизнь, мы хороним его в старом альбоме с детскими фотографиями, мечтами и надеждами. Открываем только в старости, но быстро закрываем. Взрослые планируют даже свои похороны...

У взрослых своя картинка счастливого будущего. Они рисуют её долгие годы и очень разочаровываются, когда эта картинка не превращается в реальность. Они злятся. Тогда их большие надежды и планирование переходят границы их собственной жизни. Они подводят расчёты о том, что выйдет из их детей, из маленьких волшебников, которым суждено стать роботами.

Взрослые – настоящие математики.

Мне кажется, что тысячи талантов разбиты о прагматизм старшего поколения. Нас учат выгодной жизни, нам выбирают перспективную профессию, нас заставляют хорошо учиться. Нас не считают умными и достойными, если у нас не самые высокие оценки по всем предметам. Наше мнение не воспринимается. Мы только условно люди, на самом деле нас таковыми не считают...

Ахматову в школе считали «серой мышкой», у Пушкина не ладилось с математикой, а Эйнштейн был двоечником. В них конечно не верили. Мы все знаем эти истории. И не они меня волнуют.

Меня волнует то, сколько таких же Ахматовых, Пушкиновых и Эйнштейновых было и сколько пропало. Сколько талантов убито в борьбе за

картинку счастливого будущего, выстроенную взрослыми-роботами. Мы боимся разочаровать родителей и учителей, они нас вырастили и, наверное, им лучше известно, что правильно, а что нет.

Наверное, неправильно не знать, кем ты хочешь быть в этой жизни в свои пятнадцать лет. Так говорят взрослые, они же умнее, они правы.

Я знаю, что никогда не свяжу свою жизнь с математикой. Это наука взрослых, и я, наверное, не хочу взрослеть. Взрослые – максималисты, а дети видят всё абстрактно. Великий художник Марк Ротко говорил, что его главная цель – писать, как ребёнок, который не видит максимумов, фигур, острых углов. Он всё воспринимает туманно, цветами, без контуров. А взрослые потеряли эту возможность. Может быть, в какой-то особенный возраст к тебе приходит осознание взрослой правильности бытия, и ты перестаёшь видеть краски – ты видишь углы. Бедные взрослые.

Я не люблю математику, потому что не верю в неё. Она объясняет саму себя. Биология объясняет природу, она не может объяснить всё, хоть и пытается. А математика может. Взрослые и умные максималисты, живые роботы собрались и создали для этого мира хоть что-то полностью объяснимое. Они создали математику.

Забавно, если никакого предназначения и смысла нет. И весь наш мир – это детское абстрактное видение. Возможно, если бы взрослые прислушивались к нему, они бы знали, что никакого смысла нет. Есть краски, а всё остальное иллюзия. Прагматичные взрослые не могут жить без выстроенных граней, им кажется, что отпустив их они сойдут с ума. И эти грани всё прочнее цепляются за их ноги, словно железные оковы. Мы учимся, получаем образование, потом ходим на работу. Но всё это придумано. Наша реальность чем-то похожа на виртуальный мир. Он разработан. Человек мог бы жить и без всего этого, но он бы сошёл с ума. Взрослые боятся сойти с ума, взрослые боятся быть детьми.

Взрослые работают на нелюбимой работе, живут в нелюбимом городе и не выходят за рамки. Дом-работа-дом. Иногда праздники. Но праздники всё чаще используются как повод поесть у телевизора. Я не думаю, что этот образ жизни правильный, но другого мне не предлагают. Если ты существуешь в мире взрослых, ты обязан следовать их правилам и стандартам, официально до 18 лет нас считают чуть ли не собственностью. Это жутко. Взрослые говорят, что это типич-

но, подросток ищет себя в этом мире и наши мысли – это глупости. Повзрослеем – поймём. Взрослые считают, что твоё место в этом мире уже определено. Вот он – весь конфликт отцов и детей. И возможно через десять лет возвращаясь с нелюбимой работы и сидя у телевизора с оливье на праздники я не буду так думать. Я буду жить в хорошо созданной иллюзии счастья, а позже мои дети скажут обо мне так же. Я боюсь стать роботом, я боюсь создать роботов и однажды перестать видеть краски.

Я боюсь прожить свою жизнь, которая только началась, зря. Я люблю взрослых, но я не хочу жить в их мире цифр. Я просто хотела бы, чтобы они чаще прислушивались к детям, я бы хотела, чтобы они отпускали свои грани и позволяли внутреннему ребёнку внутри себя просыпаться и вершить историю иначе. Мы бы избежали войн, потому что дети не спорят из-за территории, дети знают, что нам ничего не принадлежит. Мы гости на этой планете, и я не хочу прожить жизнь среди граней и иллюзий, я хочу сделать мир лучше.

*

Иван Васильевич говорил мне, что у человека всё начинается с детства, им и заканчивается. В детстве я любила мамины руки, тёплые и мягкие, в них хранилась история, в них хранилась любовь. Я плохо помню маму, была совсем маленькой, когда меня у неё отобрали, помню, что она всегда меня обнимала, помню её руки, даже глаз не помню, а руки почему-то запомнились. Мои руки тогда были другими – слабыми и нежными, а нежными, оттого что я была ребёнком, её руки были пережившими кучу событий, они были руками трудящейся всю свою жизнь женщины, в них жила история, но они не были грубыми, они были нежными, оттого, что она была матерью и женщиной, она умела любить, хоть её никто и не любил никогда. Когда я выросла, в доме, где я жила, да и после, я всегда смотрела на руки людей и видела в них сказки, которые рассказывала мне мама в детстве, сказки про восточных царей и принцесс, про тёплое море и жаркий песок под ногами. Я не знала, что такое жаркий песок, но мама говорила, что это, когда земля голая и греет, когда не снег, а мягкая земля. Я удивлялась: «как так может быть, чтобы снега не было?», она смеялась и говорила мне, что и такое на свете бывает. Я мало, что помню из её историй, но запомнила одну хорошую фразу «у нас люди хмурые и

холодные как снег, но берёшь его в тёплые руки и он тает – иногда быстрее, иногда медленнее, говорят от снега зависит, а всё на самом деле от рук». Позже эти южные сказки отзывались во мне щемящей болью в груди каждый раз, когда я брала за руку наших северных людей. Их руки были грубыми, потому что их история была тяжёлой, они были сильными и всегда вели себя грубо. Старшая из нас говорила, что от них зависит наша жизнь и им нельзя быть мягкими. Помню, что руки у них были всегда ледяные, зачастую оставляли синяки на чужих и моих запястьях, наверное если бы я была ангелом, я бы увидела все их грехи на руках. Странно, ведь на море я не бывала, но когда я брала за руку северян, я слышала шум волн с юга, я тогда выдумала, что это их душа меня за ухо держит, пока я их за руки. Была долгая и холодная зима, время, к которому все готовились, тяжёлое время, все охотились и голодали, время, когда руки женщин становились сухими и измученными, а мужские грубыми и вечно ледяными, как все те животные, убитые ими. Сидя долгими зимними вечерами за шитьём одежды, которую вывозили на экспорт, мы слушали восточные песни и ждали лета, лета длиною в один день, длиною в одно объятие, которое отчего-то никогда не наступало. Старшая тихонько шептала младшим любить свою родину, несмотря ни на что, но на самом деле, ни у одной из них родины тут не было, их вывозили к нам со всего севера. Я упрямо шила, иногда тихо шипела от укола иголки в нежные пальцы, говорила себе, что история, она тоже в моих руках. Когда старшая слышала это, говорила: «Вот ты чудачка, совсем ребёнок, но руки у тебя золотые, девочка...». Я не помню моментов, когда я засыпала за шитьём, помню как меня будила старшая (будила она меня только в крайних случаях, я у неё была любимицей), и говорила, что мужчины пришли и ужин подан, если хотим отхватить кусок хлеба, нужно бежать наверх. Если мужчины были в хорошем настроении, нас вели кататься на ездовых собаках, под общий смех и улыбки, если в плохом – оставляли удары, в полной тишине, я знала, что старшим хочется сказать что-нибудь, но их участь и так наступит ближе к вечеру, а отхватить лишний раз никому не хочется. В ту зиму у меня не хватало времени ни на что, кроме шитья и ужинов, которых все ждали и одновременно боялись. Первой на разведку шла Мару, она часто била меня, за каждую шалость, и из-за этого ругалась со старшими. Мару была старой и некрасивой, руки у неё были все в порезах и о ней ходили странные

слухи. Когда она кивала головой – это означало, что мужчины хорошо поохотились, если показывала свою иссохшую страшную руку – это значило, что сегодня беды не миновать. Иногда я смотрела на свои руки, рассматривала следы от собачьих укусов, рассматривала синяки от мужской хватки. Мужчины меня редко били, они вообще младших не трогали, только один был, Мару шептала, что он очень плохой человек, и что однажды он отхватит себе в греха такую дурёху как я замуж. Спустя много лет старшая сказала мне, что на самом деле Мару умерла за меня, что она любила меня. В этом были все северные люди – если любили по-настоящему, молчали, лишь тихо показывали свою любовь в маленьких или больших поступках. Мару вступилась за меня перед этим мужчиной, а он её порезал. В деревне объявили траур, женщин убивать нельзя было. Что было с тем плохим человеком – чёрт знает, но говорили, что он наша главная беда и главный грех. Больше его в деревне никто не видел. Та зима была особенно долгой, казалось, она длилась особую часть моей жизни и после неё я всё забыла, словно это был длинный монотонный сон, словно в спячке я ежедневно с утра до вечера шила, словно в спячке ездила на собаках, словно в спячке получала удары. И только мои руки, на которые я смотрела спустя годы, говорили мне – это была реальность. Однако, всё же есть одна вещь, которая мне запомнилась на всю мою жизнь. Говорят, нашему народу сны не снятся, потому что нам спать бог запрещает, мы на него трудимся. Но мне снились, и пусть я держала это в строгом секрете всю свою жизнь, боясь кары, – я помнила и любила свои сны. Когда я засыпала над шитьём, с проколотыми иголками пальцами, мне снился тёплый летний вечер и вкус мёда, нам однажды, женщинам в подарок, привезли маленькую баночку мёда, всё поделили старшие, но моя Старшая унесла мне немножко. Это было самое сладкое и вкусное, что попадало мне на язык. В моих снах также хранился мой самый главный секрет – я знала, что если подойти близко к морю, которое снилось мне белым, как снег, можно увидеть мужчину с голубыми глазами. У нас таких мужчин не бывает, была одна девочка разве что, да её увезли в столицу, теперь она жена важного человека, он нам каждый год собак привозит и весточку от неё, она нам часто присылала варежки, говорила, что девушке руки в тепле держать нужно, варежки нам правда нужны не были, старшие говорили, что перепродавать такое барахло буржуйское нужно, так-то может и принесёт пользы, однаж-

ды в письме она написала, что там есть мужчины с голубыми глазами, и она очень этому удивляется. Я видела одного такого в своих снах, а ещё у него были руки тяжёлые, руки трудящегося мужчины, но они были тёплыми и нежными. От них не ожидалось ни удара, ни собак, ни грустных вестей. От них ожидалось лето.

В тот же год началась война. Наш дом разгромили, мужчин перебили, а нас увезли по разным краям. Собак хотели продать, но везти было слишком проблемно, поэтому на месте шкуру спустили. Меня увезли в Москву, там всё было странно и я всему удивлялась, особенно поражало, что снега нет и солнце иногда появляется. Свою Старшую я увидела спустя много лет со шрамами по всему лицу, тогда я узнала, что так они откупались за младших – за нас. В Москве меня продали какому-то чиновнику, он сказал, что ему такая не нужна и выбросил на улицу. Там выживать приходилось самой, без Старших. Но зато там меня нашёл Иван Васильевич, добрый мужчина, профессор, он научил меня грамоте, всё расхваливал моё шитьё, говорил, что устроит мне будущее. Взял к себе жить. Но у него сердце сильно болело, у нас в доме говаривали, что сердце болит только у хороших людей, они так откупаются за весь мир. У нас таких благословляли. Иван Васильевич умер зимой и с тех пор я определённо точно знала, что зима в России – это время потерь. С горем пополам меня взяли работать в местную лавку, там добрые женщины сделали мне документы, говорили, что мне нужно в люди выбиться, что талантливая, что руки золотые. Смеялись, что, когда прославлюсь, буду их на Канары возить. Рук я кстати холодных больше никогда не держала, в новой жизни они были не нужны – животных не руками да палками, а ножами да топорами. Вот и выходило – грехов они на руках не носили. Красивых рук тут тоже было мало, но зато все тёплые. У Тани, старшего кассира, руки были как у мамы. Её сын уходил на войну, а после она его никогда не видела. Говорила, что её Толеньке я бы понравилась, что он всегда любил черноволосых да черноглазых. Сны мне после зимы уже не снились никогда, по поверьям нашей деревни – из меня Чёрт вышел. А я думаю, что это всё Москва так людей меняет. Тут город не спит никогда, вот и выходит. Замуж меня не взяли, время такое было – народа нашего все чурались. Потом повезло мне – взяла подмастерьем богатая дама в своё ателье, заметила у меня шитьё на прилавке и позвала. Я уходить не хотела, но бабы мои в один голос кричали, что это мой шанс. Женщина та моё шитьё за своё выдавала, но платила неплохо, мне даже

на пельмени в магазинах хватало. На них писали, что завод в моём посёлке находился, я представляла, что со Старшими снова за шитьём сию, вот только мы в доме тогда такого не ели. Потом заболела я что-то. Да и толку от меня в Москве было – человеком больше, человеком меньше. Хозяйка лечить пробовала, а я что-то сильно захворала. Всё про глаза ей болтала отчего-то, она же баба видная, что ей глаза... В России я встречала много голубоглазых людей, но у всех у них глаза были, словно занесённые туманом, словно стекляшки, какие носила моя хозяйка на своей шее. Девушки голубоглазые ходили в меховых шубах за руку со своими спутниками, осматривали меня взглядами неприятельскими. Парни же были смешливые, да все какие-то пусто-головые. А глаза из моих снов были словно хрусталь, они были добрые и живые. Таких глаз я в своей жизни так ни разу и не увидела. Хотя было однажды, в последний раз, когда мне отчего-то вдруг снова сон приснился, тогда голубые глаза закрылись в первый раз, а мои больше уже не открывались никогда.

Алексей Герасимов

КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Субботним вечером сорокалетний служащий банка смотрел остросюжетный кинофильм. Мускулистый, ловкий киногерой застрелил пятьдесят врагов, десятерым расколотил головы ногами, двум перерезал глотки, четырех сбросил в пропасть, остальные – разбежались. Киногерой сел в танк и поехал спасать шикарную блондинку, запертую в подземном гараже графа Дракулы.

Сутулый, рыхлый, слегка пузатенький служащий банка, досмотрев кино, грустно вздохнул и плеснул в бокал виски – пятую порцию за вечер.

Служащий банка пил, вспоминал свою жизнь и думал – сюжет его жизни придумал какой-то очень нудный, неизобретательный сценарист.

А вкратце сюжет таков: отличная учеба в школе (особенно давались точные науки), учеба на факультете экономики, удачное трудоустройство в банк, ровная – не быстрая, но и не медленная – карьера. Женился лет в тридцать на тихой, скромной мымре из пресс-службы. Мымра оказалась редкостной пилой и занудой, родила от него двух детей. Начальство его ценило, женщины не замечали. К сорока годам он стал полнеть. Пристрастился к выпивке по субботам. Выпивая, смотрел остросюжетное кино – несколько картин подряд. И думал, что совершил ошибку, – пошел в жизни не той дорожкой, не своей.

Он создан был для спорта, для кино! Его пузатенькое рыхлое тело, это не его тело, ему нужно тело ловкое, гибкое, мускулистое. Работа в банке, это не его работа, ему нужна работа на съемочных площадках голливудских блокбастеров. Мымра-пила-зануда, это не его жена, ему нужна шикарная блондинка, извлеченная из подземного гаража графа Дракулы.

Он пил, сожалел о потерянных годах и мечтал: эх, начать бы все заново, лет с тринадцати. Переписать сценарий...

Ну, раз есть мечта – пусть сбудется. Волей автора.

В сказке мечту персонажа могла бы исполнить, например, Баба Яга. В научной фантастике персонаж мог бы переместиться на двадцать семь лет назад, скользнув по какой-нибудь дурацкой «петле во времени».

Но зачем все эти условности? Вам они нужны?! А мне нет... Я – автор, я тут главный, и моей авторской воли достаточно. Абра-када-бра-дыньсь, раз-два-три...

И сорокалетний служащий банка уже не сорокалетний служащий банка, а тринадцатилетний школьник.

Он в первый миг перепугался, конечно, но быстро пришел в себя. Сказал мне спасибо и начал осваиваться...

Забросил учебники по физике-математике на антресоль и начал заниматься восточными единоборствами, боксом, фехтованием, гимнастикой, альпинизмом, стрельбой из лука и бодибилдингом. Стал посещать театральную, танцевальную и цирковую студии. Изучил английский в совершенстве, освоил даже диалекты и арго, и мог говорить с любым акцентом – австралийским, мексиканским, ирландским, кокни.

В восемнадцать лет он махнул в Америку – было трудно. Но ведь я и не обещал ему, что будет легко. Он работал официантом, массажистом, стриптизером и крысоловом. Пел на улицах Лос-Анджелесса песни-кантри, преподавал самооборону в доме престарелых, танцевал за деньги со вдовами нефтяных магнатов, выгуливал породистых собачек топ-моделей. Посещал актерские курсы, участвовал в кастингах, снимался в массовке.

И, наконец, ему подвернулась удача: он получил роль гусеницы-мутанта в фильме ужасов. Одетый в костюм, похожий на презерватив со щупальцами, рогами и присосками, он гонялся за шикарными блондинками, обволакивал их мерзкой, ядовитой слизью, насиловал и поедал. Продюсер обратил на него внимание: «Этот парень неплохо двигается!..» – и дал ему роль албанского беглого каторжника в своем следующем фильме. На десятой минуте фильма албанца застрелили из гранатомета, но публика успела оценить мускулатуру и бойцовские навыки молодого артиста.

Карьера пошла в гору.

Он играл бандитов и маньяков в дешевых фильмах, а затем полицейских и спецназовцев в дорогих. Он играл в фантастических комедиях и в мистических вестернах. Он стал актером-звездой, богатым и знаменитым, но не слава и деньги были для него самым главным, главным было то, что он занимался теперь своим делом: бегал, прыгал, стрелял, махал руками и ногами, гонял на джипах, летал на вертолетах, мужественно щурился и обнимал шикарных блондинок. Ему доставляло наслаждение делать все это перед камерой: он выходил

под свет софитов, мужественно шурился и отправлял очередного наглеца-противника в нокаут. Однажды, перед тем, как сложить апперкотом гигантского татуированного отморозка, который шел на него с бензопилой, актер-звезда лениво процедил сквозь зубы: «Мальчик... сопли подотри!» Этой реплики в сценарии не было, но режиссер пришел в полнейший восторг. «Мальчик, сопли подотри!» – это выражение актер стал использовать в каждом последующем фильме, выражение обрело крылатость, его печатали на тишотках и постерах с изображением звезды.

Но вот актер приблизился к своему сорокалетию. И хотя он находился еще в хорошей физической форме, поток предложений от киностудий стал иссякать. Агент актера, проработавший с ним лет пятнадцать, переметнулся к восходящей звезде – мастеру капоэйры из Бразилии. Бывшая жена актера, шикарная блондинка, отсудила у него четверть состояния, тринадцатилетняя дочь угодила в клинику для наркоманов, а семнадцатилетний сын зачем-то ограбил бензоколонку в Арканзасе. Горничная обвинила актера в изнасиловании, садовник в сексуальном домогательстве, а личный шофер выложил в Интернете видеоролик, на котором вдрызг пьяный актер лезет целоваться к ручной обезьяне и поет ей русские народные песни.

Деньги таяли стремительно. Актеру удалось запродать слоган «Мальчик, сопли подотри!» фармацевтической фирме, но много не дали. На последние миллионы актер основал кинокомпанию, чтобы самого себя снимать в собственных картинах, но фильмы плохо шли, хотя были сняты не слабее, чем у других.

Актер оказался на грани нищеты – по голливудским меркам.

Он перестал посещать спортзал, обрюзг, располнел. Целыми днями он сидел у видеоэкрана, пил виски, гладил отрастающий животик и смотрел остросюжетные кинофильмы. Сожалел об ушедших годах и мечтал: эх, начать бы все заново... изучить бы экономику... заняться бизнесом.

Я, как автор, конечно, все могу. Абра-кадабра-дыньсь... и тэпэ. Моя воля – я здесь главный.

Но как-то запаadlo мне по кругу гонять...

Есть пара вариантов, как завершить историю:

1) актер скатывается все ниже и ниже, у него хронический алкого-

лизм и ожирение, но тут о нем, о его вкладе в киноиндустрию, вспоминают, довозят его на тележке до Аллеи звезд, он из последних сил впечатывает свою ладонь в лужицу цемента и тут же умирает, а пресса захлебывается восторженно-трагическими некрологами;

2) актер скатывается все ниже и ниже, у него хронический алкоголизм и ожирение, но о нем никто не вспоминает, тогда он из последних сил доползает до Аллеи звезд, разводит лужицу цемента, впечатывает туда свою ладонь и сразу умирает, разгорается жуткий скандал, о вкладе актера в киноиндустрию, наконец-то, вспоминают, отпечаток ладони решают оставить, слоган «Мальчик, сопли подотри!» вновь становится популярным, а пресса захлебывается восторженно-трагическими некрологами.

Я еще не решил, какой вариант хуже

Яков Берг

«ЛЮБИМАЯ, УЖЕ НАПИСАН ВЁРТЕР...»

Рассказ

Этот маленький человечек появился на улочках Риги неприветливым осенним днём тысяча семьсот – одни утверждают, что 1757 года, другие – 1764, а третьи и вовсе – 1773. Достоверно лишь то, что ему было около двадцати лет, багажа никакого, а в глубоких карманах потёртого камлотового камзола – не более пяти серебряных талеров и один золотой гульден. Примечателен был не сам молодой человек, а его зелёный камзол, под длинными полами которого замысловато путались тонкие кривые ноги в белых шерстяных чулках и в негнущихся, почти железных, башмаках. На голове его колыхался старомодный треух неопределённого цвета, совершенно скрывая лицо, – виден был лишь его длинный нос.

И час, и два приезжий бродил по кривым узким улочкам города, отыскивая нужный ему дом, но никак не мог найти. Совершив два или три круга по одному и тому же маршруту – улицы Торню, Пилс, и Смилшу, – наконец, догадался, что без посторонней помощи ему не выбраться из замкнутого кольца. Но прохожих в этот слякотный осенний день, почти уже вечер, не было, а если и были, то почему-то всё время далеко впереди него, и он никак не мог догнать их...

Отчаявшись от долгой погони за призраками, бедный молодой человек прислонился к дубовым резным воротам краснокирпичного трёхэтажного дома, отдышался, покачиваясь, вдруг увидел тяжёлое медное кольцо и с великой надеждой схватился за него. Но сколько он ни тряс кольцо, никакого звона извлечь из него не смог...

И когда он понял, что все его усилия напрасны, бедняга вдруг услышал над своей головой старческий скрипучий голос и сумел разобрать исконно немецкое «Вас ис дас?» На третьем этаже, под самой крышей, отворилось двустворчатое окно и показалось симпатичное мужское лицо нестарого бюргера. Наш герой, захлёбываясь словами, затараторил и по-немецки, и по-латышски, ибо изучал до приезда в Ригу все европейские языки:

– Уважаемый Кунгс, господин, я ищу дом г-на Химзеля! Где мне справиться о нём? Да, да, г-н Химзель, кажется, Николай Николаевич! Я ищу его уже битый час, мне рекомендовали устроиться на работу в публичный музей его имени, в музей природы... Не сомневайтесь, я привёз с собой рекомендации великого Гёте и Фихте, и Шлиссера... Сам я есть просто Генрих Готлиб Гензельштоп. Нет, нет, я не профес-

сор Генденшток, я пока лишь бакалавр, будущий магистр естествознания!

Бюргер в окошке пожевал губами, вдруг состроил злобную мину и совершенно грубо прорычал:

– Ко ту гриби, мошенник? Да будет Вам известно, г-н ГГ, что первый в Риге музей природы будет создан лишь в 1773 году, а сей момент, кунгс Химзель, как правильно выразились Вы, Николай Николаевич, да-с, преставились! Умерли.

– Как так есть? Я знаю, что г-н Химзель умер в 1764 году. Но ведь на дворе сей момент – год 1775. Музей открылся, стало быть, два года тому назад, и меня настойчиво приглашали... рекомендовали...

А тут и дубовые ворота вдруг со скрипом отворились и привратник в таком же камзоле, как у нашего героя, поклонился ему, приглашая войти.

– Пожалуйте к гробу г-на Химзеля. Его вдова ныне безутешны! – И длинная сильная рука привратника ухватила Генриха Готлиба Гензельштопа за воротник и внесла в покои безутешной вдовы.

ГГ благоразумно перестал возражать и сопротивляться, поспешно пошёл, почти полетел в покои, где стоял гроб, и воочию увидел известное ему по литографиям лицо великого врача и не менее великого собирателя земных редкостей Николая Николаевича Химзеля. Дымились свечи в полутьме...

– Ах, шалунишка, красавчик мой, ну иди же, иди ко мне, целуй!.. И-и, какой же ты тощенький, ничего, я тебя подкормлю, вот моя грудь, – молочка много, молочко парное!

Вдова, большая грудастая дама, тянула нашего героя к себе и на себя.

Откуда она взялась, ГГ не понял, в голове помутилось, дыхание прервалось и он упал замертво.

Сколько времени был в забытьи наш герой, – история об этом умалчивает. Злые языки утверждали, что через девять месяцев вдова профессора Гильберштейна родила прелестную чернокожую девочку, но нам доподлинно известно, что ГГ нанёс визит вдове профессора Химзеля, а вовсе не вдове какого-то вымышленного Гильберштейна, да к тому же – по здравому размышлению – с какой стати у белой женщины мог родиться чёрный ребёнок, ежели наш ГГ был чистокровным немцем!

О, Господи, пути Твои неисповедимы, и чего только не брешут на хуторе близ Диканьки!?

Генрих Готлиб ощутил свою земную сущность не в доме, а на булыжной мостовой, и осознал, что очень и очень голоден! И только он подумал о еде, как тут же перед его длинным носом закрылся наглухо и нагло некий погребок...

Боже, он ехал и плыл, оставил позади себя тысячу вёрст и не менее двух десятков лет, а его не хотят признать своим в остзейской Риге! Да позвони он хоть сейчас в ООН, и знаменитый веймарский министр Иоганн Вольфганг Гёте такое бы наговорил, такое бы сделал... «Алус паграбс» бы вздрогнул от ужаса!..

И тут наш герой услышал над собой ласковый голосок:

– Мальчик, ты что плачешь?

«Я не мальчик!» – хотел было сказать Генрих Готлиб, но сил не было говорить и возражать.

– Идём со мной, мальчик, ты проголодался, ведь так? В доме госпожи Карклини тебя и накормят, и обогреют...

Хорошо и нарядно одетая дама повела, как маленького, нашего героя в маленький домик, деревянный, но тем не менее, двухэтажный, а если считать комнаты под крышей – то домик был трёхэтажный. Кухонька была тесной, но зато густо замешанной на вкусных запахах – на плите зримо шипели свиные шкварки, в духовке прел разваристый серый горошек. Но не успел ГГ стащить с узких плеч свой громоздкий камзол, чтобы сесть за обеденный стол, как заскрипели ступеньки антресоли, и в кухне появилась хозяйка дома, г-жа Карклия, и устроила головомойку своей служанке-кухарке Аннушке:

– Мм-ль Анхен! Вы опять притащили на кухню бродягу-проходимца! Я запрещаю вам, гоните его вон! – И так далее, в том же духе – визгливым, противным старческим голосом.

Генриху Готлибу ничего не оставалось, как позорно ретироваться. Даже аппетит пропал, остались лишь печаль и жалость к миловидной и доброй Аннушке.

И опять лабиринт узких улочек, незаметно перетекающих одна в другую, не имеющих ни начала, ни конца. И хоть бы одна христианская душа на чёрном белом свете!.. И вдруг ГГ заметил тусклый свет двух уличных фонарей. Догадка его оправдалась, это было некое питейное заведение, нечто вроде «алус паграбс».

Раскисшая под дождём дверь гулко ухала на ветру, впуская и выпуская посетителей. Только что Генрих Готлиб вознамерился переступить порог этой забегаловки-харчевни, как в него врезался вонючий бородатый тип, чьей-то сильной рукой направленный вон из питейного заведения. Они упали оба, но если бородач шустро вскочил на ноги и убежал в чёрную дыру ночной улицы, то наш герой долго и немело скреб руками и ногами по грязным мокрым половицам, прежде чем подняться во весь свой неказистый рост...

Кто-то весело помог ему и подвёл к пивной стойке, за которой хохотал очень самоуверенный тип, по всему – хозяин заведения.

– Что угодно-с, г-н кунгс?

– Мне бы поесть, кюхенменш, – пролепетал ГГ.

– Поесть? Что ж, можно горошек с беконом и кружку пива? Пиво холодное и горошек тоже. Бекон несколько засох, трудно прожевать, но у вас молодые зубы, авось справитесь!

Генрих Готлиб овладел глиняной миской и засохшей, давно приготовленной едой, и тут же устремился к столику, за которым никого из посетителей не было.

– Эй, кухенштюк, кто платить будет?.. Цик макса? Два, нет, три талера. – ГГ безнадежно пошарил по карманам и грустно доложил:

– У меня нет таких денег. Было пять гульденов, но они пропали. Осталась мелочь – около одного талера... – И протянул воделенную миску с едой хозяину.

– Ладно, я согласен покормить тебя задарма, г-н кюхенштюк. Гони сюда свои грязные гроши!.. Да здесь наберётся два талера. Кружку пива бери тоже, за мой счёт.

Генрих Готлиб живо похватал со стойки свою еду и стал остервенело разжевывать холодную твёрдую свинину, глотать безвкусный горошек и хлебать жидкое пиво. Тут-то к нему и подсел мило улыбающийся, приличного вида старичок.

– Ну, что, молодой человек, нашли г-на Химзеля?

ГГ даже не удивился, почему незнакомец знает, что он весь день и ночь ищет г-на Химзеля, вернее, музей его имени – первый публичный музей в Риге.

– Меня г-н Химзель пригласил работать в его музей, я закончил Йенский университет, у меня диплом бакалавра...

– Курс философии слушали у г-на Фихте?

– О, да-да, господин?..

– Август Айнзидель, литератор. Литератор, у которого нет ни одной книги. Но мои изустные рассказы записывает сам г-н Гердер, ближайший друг и сподвижник г-на Веймарского министра Иоганна Вольфганга Гёте!

– А господин Гердер нынче проживает в ?.. – с надеждой спросил Генрих Готлиб, чтобы наконец-то выяснить – какое же столетие на Рижском дворе! «Гердер по окончании Кёнигсбергского университета, с 1764 по 1769 г.г. жил в Риге, был пастором... Да, да, именно так, кажется!» – быстренько прокручивал мысль ГГ.

– Правильно мыслите, молодой человек! Иоганн Готфрид Гердер ныне проживает в Риге, он протестантский пастор, всё верно! Но верно и то, что его дружба с Гёте в 80-х и 90-х годах прошлого века – уже позади.

– Как так? – Генрик Гётлиб перестал жевать свинину. – Время потекло вспять? В 1803 году г-н Гердер, кажется, родился? А в 1744 году умрёт? Может ли быть такое?

– Э – э, плохо же вы, дорогой мой Генрих Готлиб Гензельштоп, изучали философию. Вы не поняли главного, что время течёт из будущего в прошлое, а не наоборот, как это кажется необразованному человеку, материалисту. Субъективный идеализм тоже не представляет себе такого положения вещей, но объективный идеализм не только представляет, но утверждает, что из ничего не может быть чего. Вы же не станете отрицать, что жизнь предполагает расцвет, рост чего-либо, а смерть – угасание, верно? Поэтому и человек обязан вначале быть старым и мудрым, а потом расти – расцветать и придти к своей молодости, и от молодости к детству, а потом уже превратиться в ничто. Ничто наступает после смерти, ведь рождение из ничего не бывает. Вы схватываете мою основную мысль?..

Ничего «схватить» из рассуждений г-на Айнзиделя Генрих Готлиб не смог, мозги отказывались работать, да и сон окончательно сморил нашего героя. Под тихий весёлый говорок Августа Айнзиделя наш ГГ вдруг уронил голову на доски стола и всхрапнул... Тогда г-н Айнзидель перестал философствовать, разбудил молодого человека и повёл его к себе домой, спать-спать!

Генрих Готлиб плохо помнил, как они шли скользкими тёмными улочками, почти падая под крепкими порывами ветра. Как вскарабкались они по шатким лестницам куда-то высоко, под самую крышу

некого дома, как кто-то помог ему высвободиться из жёсткого плена одежды, – камзол упал на пол и стоял по стойке смирно, словно железные рыцарские доспехи, и как заскрипела под невесомым телом деревянная кровать, как погас огарочек свечи и голуби застучали клювиками в крышу дома – прямо над головой, и тут же брызнул солнечный свет в тусклое оконце, оповещая приход утра, а наш герой рассчитывал хорошо поспать...

С трудом он разлепил глаза, попытался встать с постели...

– Лежите, лежите, мой юный друг, – весело и добро проворчал г-н Айнзидель. – У нас ещё есть время выпить по чашечке кофе перед тем, как мы нанесём визит пастору Гердеру.

Тут же в их «голубятню» поднялась служанка с подносом и поставила две чашечки дымящегося кофе на письменный стол. Генрих Готлиб взглянул в лицо служанки и узнал Аннушку.

– Мм-ль Анхен, это вы? – изумлённо прокричал ГГ и натянул одеяло до подбородка, а перед этим он уже спустил свои тонкие кривые ножки на коврик...

– Ах, г-н Гензель... Как я рада Вас видеть! Я всю ночь проплакала, когда г-жа Карклия выпроводила Вас из нашего дома. Спасибо нашему постояльцу, г-ну Айнзиделю, он всегда так добр к бедным людям! Давайте помолимся за г-на Августа...

Анхен стремительно подскочила к кровати, на которой барахтался Генрих Готлиб, схватила его за руку, буквально силой вытащила из-под одеяла, бухнулась на колени перед старичком-постояльцем, то бишь перед г-ном Айнзиделем и заставила встать на колени нашего героя рядом с собой. Генриху Готлибу было стыдно за своё грязное нижнее бельё, он покраснел, потом посинел и попытался выдернуть руку, но не тут-то было! Анхен крепко держала его руку, плотно прижавшись к нему своим пышущим теплом и здоровьем телом, беззвучно шептала молитву, а ГГ весь горел в огне уже не только со стыда, а ещё из-за чего-то такого нежного и горячего, чего он не мог понять. «Ах, как Вы красивы, майн Готт!» – прошептали губы девушки и коснулись щёки ГГ. «Она издевается надо мной, я же урод!» – успел подумать он, проваливаясь в небытие... Коротко ли, долго ли пребывал наш герой в беспамятстве, но когда открыл глаза, над ним сидел лишь г-н Айнзидель.

– Ну вот, какие хлипкие юноши на исходе Восемнадцатого века! Анхен – добрая душа! А Вы так грубо оттолкнули её, мой юный друг.

Показали слабую воспитанность... Ладно, ладно, не огорчайтесь, девушка простит вас. Сейчас собирайтесь, пора нанести визит г-ну пастору...

Днём старые улочки Риги смотрелись привлекательней. Но погода по-прежнему была скверной, вместе с дождём густо сыпал мокрый снег, да и ветер утих ненадолго. Теперь ГГ шёл по тротуару, а не по бульжной мостовой, и ногам его было легче. Вчера он не разбирал дороги, натёр мозоли, сбил в кровь, если так можно сказать, свои железные башмаки...

А сегодня утром даже было солнце! Правда, всего две-три минуты, но было. Значит, жизнь продолжается и не всё так плохо на земле, как казалось вчера, в болезненной гонке по лабиринту улиц, веков, отчаянья. Сегодня выпала ещё одна радость – предстоящая встреча с пастором Гердером, другом великого Гёте...

Они шли, ГГ и г-н Айнзидель, и последний, ни на минуту не прерываясь, рассказывал «своему юному другу»:

– Вот вы, мой юный друг, учились в Йенском университете, а Веймар и Йена – почти одно и то же, две половины одного великого города. В Веймаре был кружок Гёте, Гердера и вашего покорного слуги Августа Айнзиделя, а в Йене философский кружок Фридриха Шлегеля. Вам знаком профессор Шлегель? Вот видите!.. Это же г-н Шлегель утверждает, что человек достигает подлинной свободы в сфере художественного творчества. А самое верное средство – это ирония! Цитирую Шлегеля: «Ирония – самая свободная из всех вольностей, которая позволяет человеку возвыситься даже над самим собой!..»

Каково, а? У нас в Риге есть такая газета, где её сотрудники знают толк в иронии! Да-с! Но о чём я? Ах, о сфере подлинной свободы. Так вот, Фридрих Шлегель считает, что есть ещё одна сфера свободы – это любовь! Понимаете, мой юный друг, любовь к женщине, поэтому вы не стыдитесь своих чувств к прелестной Анхен. В любви все люди прекрасны, и вы, как гофманский «Крошка Цахес», рядом с Анхен преображаетесь, вы становитесь прекрасней Аполлона. Я не шучу, хотя без иронии, мой юный друг, никак не обойтись!..

Так, философствуя, старичок Айнзидель вывел нашего героя на Домскую площадь. Перед взором юноши предстала кирпично-красная громада Домского собора. Кажется, здесь Генрих Готтлиб уже бывал, но тогда здесь было грязно и темно, и он не нашёл в себе сил

восхититься творением рук человеческих. Сегодня всё было иначе, хоть и пасмурно и

густо валил мокрый снег, но было не так холодно и не так темно...

– Когда мы были в Веймаре, – продолжал г-н Айнзидель, – со мной приключилась большая любовь. Ах, сколько было шума, разыгрался скандал... Если бы не участие Гёте и Гердера, я бы покончил с собой. Ведь я полюбил замужнюю женщину, имя её вам что-нибудь говорит, мой юный друг? Эмилия Вертерн! «Страдания юного Вертера», а?

Представляете? Сам Гёте надоумил меня инсценировать смерть моей любимой, и мы устроили в Веймаре пышные похороны! Похороны моей Эмилии. А сами мы тут же уехали в Африку. Но через год-два всё обнаружилось. И какой был скандал! О-о! – и г-н Айнзидель впервые расхохотался, а ГГ, глядя на него, даже испугался. – Вот так-то, мой юный друг, вот что делает с нами любовь! Я хотел об этом написать роман, но не решился. А мой изустный рассказ записал пастор Гердер. Теперь потомки могут обо мне и моей бедной Эмилии Вертерн прочитать в записках Гердера. Я уже не говорю о романе Гёте...

Они уже были около высоких парадных ворот Домского собора, до них донеслись величественные звуки органа и пение церковного хора. Г-н Айнзидель бережно подвёл Генриха Готлиба вплотную к чёрному бюсту пастора Гердера.

– Спасибо, месьир! Я Вас понимаю, теперь я всё понимаю!

Его уже не удивило, что накануне он был здесь, и что теперь под именем «Иоганн Готфрид Гердер» даты переставлены, читались по-другому, нежели вчера: «1803 – 1744». Так, только так надо писать даты смерти и жизни на могильных плитах. Ибо в таком порядке эти, казалось бы, бездушные, ни к чему не обязывающие цифры, только в таком порядке они, даты жизни и смерти, предполагают вечную юность, расцвет и вечную жизнь – от смерти к возрождению, от старческой немощи к цветущей юности.

Юрий Касянич**ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ**

(листая специальный номер журнала «Иностранная литература», №3 – 2019)

Начиная обзор этого почти уникального издания в истории культурного сотрудничества двух соседствующих государств, посвященного 100-летию Латвийского государства, я решил для вступительного абзаца одолжить приемчик у Бориса Равдина, историка и исследователя культуры, литературы и общества стран Балтии, который нередко сопровождает презентации новых изданий различной и любопытной статистической информацией. Итак, в журнале представлены 34 прозаика и поэта, из них ныне здравствующих – 21. Золотое соотношение классики и современности. В наличии практически все жанры: роман целиком, фрагменты романов, рассказы, цикл рассказов, эссе, мини-мы, эпистолы, рецензия, стихи, фрагмент монографии, поэма, пересказ части эпоса, интервью... Представлены литературные произведения с 1926 по 2017 год, а если считать переводы, то и по 2019 год. Составители номера отлично поработали.

Журнал открывается романом Кристине Улберги «Зеленая ворона». Повествование о том, куда может увести дефицит внимания, понимания, любви в семье, начинается как вариация на уже давно известную тему, которую всемирно успешно реализовала Астрид Линдгрэн. Зеленая ворона – это, по сути дела, занятная, особенно поначалу, версия Карлсона, «лучшего в мире друга и поедателя тортов и плюшек».

Ворона приходит к безымянной (в романе) девочке в детстве и сопровождает ее бытие в течение многих лет, развиваясь вместе с нею и обретая (или предъавляя) по мере взросления героини новые – взрослые – привычки, становясь в чем-то ее отражением, в какой-то мере пернатым подобием ее портрета.

Еще в детстве мать обрезает героине крылья. Эта метафора должна настоятельно рекомендовать (предложить) читателю встать на сторону героини, хотя замечу, что метафора сильно девальвировалась. В наши, толерантные, дни практически любое воспитание, указание – сейчас уже, вероятнее всего, даже предложение – следовать определенным правилам (социальным, учебным, приготовления и хранения пищи, приема лекарств, дорожного движения, предохранения от беременности – список легко продолжить) тот или иной индивидуум

может с легкостью назвать обрезанием крыльев. Сейчас таково понимание свободы. (Известны факты, что дети теперь судятся с родителями за то, что в детском возрасте их заставляли заниматься музыкой, фигурным катанием, дошло до того, что уже есть иски от отпрысков по поводу того, что им дали жизнь.)

Впрочем, продолжаясь, история о сумбурном поиске свободы начинает терять точность и глубину: чем дальше в лес (который сторел), тем явственнее признаки известного и популярного в наши дни уклона (отклонения?): все пациентки психиатрической лечебницы (которая является привязкой романа по месту) – женщины, сын запер маму в дурку, муж – жену... В общем, как фон в памяти всплывает ставшая уже бессмертной (мемом?) фраза Ренаты Литвиновой «как страшно жить...» Героине страшно жить во враждебном мире – ведь это мир мужчин, это они – жестокие врачи, самовлюбленные художники, невнимательные мужья... Не требуется никаких усилий, чтобы сделать вывод о том, кто тут – притеснители, угнетатели, похитители свободы. Роман опубликован и снискал премию в 2012 году, но если вспомнить пандемию # Me Too, раскатившуюся по планете в 2017-м, как ртуть из разбившегося градусника старого образца, остается только согласиться: ага, мейнстрим...

Весьма симпатичный рассказ-сказочка про чертенят от Рудольфа Блауманиса (Перевод Я. Гасьюнса). Присутствие этого рассказа – это скорее жест уважения классику и стремление увеличить процентное содержание позитива в номере, в котором немало все того же *хард-мейнстрима*: уже упомянутые будни психушки, рассказ С.Моррейно «Смерть в Лейпциге», в котором отчасти про смерть в Лейпциге и про кое-что еще из темной части эмоционального спектра; жесткий, местами даже brutalный текст Вии Лагановской «Валма» и сильно и точно выписанная – в рассказе Норы Икстены «Апельсин» (перевод Елены Буданцевой) – история доведения себя до суицида в итоге острого приступа канцерофобии...

И так здорово – спасибо составителям! – что между «Валмой» и «Апельсином» проложено несколько страниц хорошо просушенного, ароматного «Датского табака» Владиса Спаре!

В рассказе «Датский табак» (перевод Ирмы Робини) подкупает живой, точный диалог. Приятная – профессионально-парфюмерная – композиция настроений. Начальная нота – ностальгическая, вспомнились далекие семидесятые, когда нам, членам студии молодых пи-

сателей при СП Латвии, представилась возможность приобрести дефицитные пишущие машинки «Эрика», на которых можно было начинать ваять нетленку. Сердечная нота – благодарность за возможность унисона, эха, диалога между поколениями. И, наконец, нота шлейфа – будущее, в котором герой рассказа, новый молодой обладатель архаичного подручного инструмента напишет роман. Ну, может быть, для начала – повесть...

Фрагмент романа Аншлавса Эглитиса «Homo Novus» (перевод С. Морейно) с каждой страницей затягивал все больше. Сознаюсь, роман в оригинале не читал, а экранизацию посмотреть не довелось. Сюжет вроде бы несложен, в чем-то традиционен – провинциал завоевывает столицу, история о том, как одаренный юноша становится профессионалом. Но фрагмент, что опубликован в журнале, очень понравился. Панорама латвийской столицы, временами – такое чувство, что листаешь альбом с открытками Риги 30-х годов прошлого века. Яркие диалоги, интересно написанные образы – мазок Эглитиса, художника. Буду с нетерпением ждать выхода романа из печати целиком.

В подборке «Из современной латышской поэзии» гумилевское «что делать нам с бессмертными стихами» почти через век аукнулось в стихах Петерса Брувериса.

Поэты смертны, но – какое счастье! – стихи бессмертны. Их немало, тех, кто уже ничего не напишет, но навечно останется на страницах латышской поэзии: Велга, Имант, Майра, Юрис, Петерс, Клав, Айвар... Их стихи всегда будут причиной для «шестого чувства».

Не называю фамилии, да и потом – согласитесь – в латышской поэзии так повелось, что зачастую достаточно имени, чтобы немедленно понять, о каком поэте идет речь. Впрочем, одну фамилию поэта, Кнута, который с нами, назвать придется – Скуениекс, поскольку в журнале допущена nepозволительная опечатка. Остальные фамилии поэтов, их стихи, как и весь журнал от первой страницы до последней, можно прочитать в Журнальном зале: <https://magazines.gorky.media/inostran/2019/3>.

Продолжая поэтическую тему, хочу чуть дольше задержаться в пространстве поэмы «Пульсация Курсы» («Записки с Ливского берега») Майи Лаукмане в переводе Сергея Морейно.

Начинается все со стада синих коров, которое «как в замедленной съемке ускользает в море». Латвийские светло-голубые коровы удостоились широкого внимания после упоминания в пьесе Гунара При-

еде «Синяя» (1972). Приеде писал о кризисе ценностей и фокус пьесы направил на фольклор, народные песни, поднимая тему пробуждения народной памяти, осознания корней, культурного опыта, национальной идентичности. В пьесе упоминается древнее предание ливов, коренного народа Курземе, о синей корове. Ее символический образ, как и томики с дайнами, которые, по словам главного героя пьесы, «есть у каждого, но которые никто не читает», дают прямое указание на фольклор как на этический код латышского народа.

Поэт, как тонко чувствующий (экстрасенс?) терапевт, кладет руку на прибрежный камень и ощущает пульсации непреходящего, что никогда и никуда не исчезало, а лишь оказалось заслоненным децибелами сегодняшней бесчувственной жизни. Читая, вслушиваясь в строки, накатывающие, как волны прибоя на прибрежный песок, постепенно начинаем соглашаться – «...словá не умеют сказать нам то о чем говорят оттенок и аромат и свет над водами...», наша жизнь нередко лишь «попытка угадать // что ветер шелестит что серебро воды говорит...».

Постепенно начинаем понимать, что в нас что-то «записано глубоко-глубоко // что изредка накатывает руслами исчезнувших рек...»

В мелодию ветра, моря, лесов и лугов вплетается таинственная, невыразимая, горчащая, как полынь, как черемуха, живущая среди корней и за небесами, этническая, давняя, вечная музыка из того самого «глубока-глубока». И идут стада синих коров сквозь безлунную ночь и прерывистый сон, и зреют ярко-красные ягоды тиса, но «корешок помнит // верхушка передаст», и будет «вольно и непринужденно качаться лебедь на спокойной волне...»

Если журнал читать пристально и внимательно, а не рассеянно, словно в электричке или автобусе, когда отвлекаешься на контрольные взгляды в окно, чтобы не пропустить свою остановку, то через какое-то время становится очевидно, что у журнала не было литературного редактора. Вследствие этого мой русский язык временами – нечасто, но – взвизгивал, как собачонка, которой вдруг наступили на лапу в толчее рынка или сутолоке вокзала. Цитировать не собираюсь, не тот случай. Впрочем, чему удивляться – по распоряжению ее величества Коммерции редакция упразднена за ненадобностью, кому нужен лишний рот у большого издательского стола, чего их кормить – они ж ничего не пишут...

Впрочем, один момент все-таки я вынужден отметить. На странице 215 я прочитал, что среди латышей бытует такая традиция – посе-

щение кладбищ в «вечер свечей» в феврале. И поскольку это отрывок из монографии, заявленной как этнокультурное исследование (sic!), то есть претендующей на некую академичность содержания, и вообще – единственным материалом в этом журнале, который не переводился (то есть не возникало популярных в наше время «трудностей перевода») я, вредный, счел необходимым это отметить. Честно говоря, я не был в курсе, что «svēcīšu vakars» перенесли с последнего воскресенья ноября перед началом Адвента на февраль, а вы? Конечно, тут возникла путаница: 2 февраля – это середина между Рождеством и Пасхой – называют «днем свечей», однако, это день, когда отливают и зажигают свечи, и он никак не связан с посещением кладбищ! Разумеется, жест в сторону отсутствующего редактора журнала и/или существующего рецензента монографии.

Бросилось в глаза обилие «любезных разрешений» публикации. Точнее, есть одно «разрешение» и десять «любезных». Трудно вообразить, что авторы «нелюбезно» разрешают публиковать свои произведения. На мой взгляд, фальшь, сорнячок, которыми обильно заросло наше время. Немедленно вспоминаются вызывающие улыбку давние клише, как, скажем, «чувство глубокого удовлетворения» брежневских времен или известное непонимание, которое выразил Михаил Задорнов в отношении словосочетания «верный ленинец». Возможно, я демонстрирую незнание этикета, принятого в области копирайта, но эта чрезмерная «любезность» показалась мне ненатуральной.

Хочу поблагодарить посредников между двумя культурами, которые, фигурально выражаясь, перевели караван, груженный переведенными литературными материалами, через языковый перевал в условиях современного равнинного высокогорья. Очень приятно, что переводчики представлены в выходных данных журнала отдельным списком наряду с авторами.

Хорошо, что журнал завершается рассудительными и взвешенными минимумами Айвара Эйпурса (в переводе Сергея Морейно), исполненными иронии и самоиронии, за которыми так и видится улыбка самого автора, и фрагментами из сборника рассказов Мариса Берзиньша «Гутенморген». Острый взгляд и ироничный стиль, с которым создатель Гутенморгена добродушно (sic!) проводит нас среди знакомых, родных пейзажей, реалий и кожей ощущаемых обстоятельств, одновременно представляя череду традиционных персонажей, сразу

располагает к чтению. Вроде бы скетчевые зарисовки, чуть ли не модный сегодня – комикс, но персонажи настолько узнаваемо реальны, что возникает полное ощущение, будто и ты сам, читатель, где-то тут, неподалеку. Созвучный оригиналу перевод Милены Макаровой увлекает. Впрочем, чтение, начавшись, вскоре заканчивается – вместе с журналом, у которого конечное число страниц! – и причиняет сожаление по поводу того, что книга до сих пор не издана полностью на русском языке. Мне видится, что она, книга, несомненно, стала бы не только литературным событием, но и шагом к большему пониманию мира, в котором силы небесные назначили нам жить.

Начинаясь от понимания между литераторами, дорога – пусть не всегда близкая и зачастую прихотливая – ведет к взаимопониманию между странами. Которого сегодня ой как нам всем не хватает.

Н. Петренко

К 100-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ГАЗЕТЫ «СЕГОДНЯ»

(1919-2019 гг.)

У каждой государственной структуры есть (неприменно должен быть?) свой набор секретов – больших и маленьких, краткосрочных и долгосрочных. В СССР, по обстоятельствам разного рода, в основном, из недоверия к подданным государства и из патерналистского отношения к ним же, этих секретов, на наш взгляд, было больше среднего по сравнению с ближними и дальними соседями.

«Перестройка» освободила СССР от значительной части секретно-го балласта.

В Латвии и вообще в Прибалтике рассекречивание бумаг шло быстрее, чем в Москве или Ленинграде. На рубеже конца 1980-начала 1990-х годов обнаружилось, что в Историческом архиве Латвии сохранилась значительная часть редакционной переписки газеты «Сегодня», более 20 лет выходившей в довоенной Латвии, в Риге. И переписка эта не только сохранилась, но и была доступна в любой момент. Доступна оказалась переписка редакции с Алдановым, Амфи-театровым, Бальмонтом, Вишняком, Гиппиус, Зайцевым, Г.Ивановым, Мережковским, Осоргиным, Тырковой, Тэффи, Ходасевичем, Фило-софовым, Цветаевой, Шмелевым... Все эти авторы не только входили в переписку с редакцией газеты, но и печатались в газете, одни регу-лярно, другие изредка, третьи – разово. А сколько любопытных писем приходило в газету из Европы, Азии, Америки, даже из Африки, не говоря об Эстонии, Литве, собственно Латвии.

О существовании газеты «Сегодня» было известно из разных источников. Но прежде всего – из рассказов Юрия Ивановича Абы-зова, переводчика, библиографа, историка культуры. Член Союза писателей, он имел доступ в спецхран Государственной библиотеки Латвийской ССР им. В.Лациса, где под замком держали издания так наз. «антисоветского содержания». И пользуясь этой возможностью, Юрий Иванович еще задолго до перестройки составил указатель наи-более интересных материалов, опубликованных в этой газете, и не только в этой, но и во многих других русских периодических издани-ях, выходивших в Латвии в межвоенные годы. Зачем он делал эту ро-пись, понять было сложно, ведь опубликовать все это в СССР было немислимо.

Но тут пришла перестройка, и благодаря Л.Флейшману, некогда рижанину, позднее – профессору Стэнфордского университета (США), гигантская работа Ю.Абызова в 1990-1991 гг. в четырех томах была напечатана в ученых записках «Stanford Slavic Studies». В те годы справочнику Ю.Абызова в эмигрантоведении не было равных ни по жанру, ни по охвату материалов. Капитальных работ, посвященных печати русской эмиграции, эмиграционной журналистике, литераторам, было наперечет. Справочник Ю.Абызова послужил ориентиром для последующих справочных изданий.

Ко времени работы над архивным собранием «Сегодня» уже были доступны судебно-следственные дела, хранившиеся в архиве КГБ Латвийской ССР, а среди арестованных и осужденных были как сотрудники и редакторы «Сегодня», так и многие представители русской интеллигенции, активные участники политической, общественной и культурной жизни Латвии.

В работе над комментарием и статьями широко использовались не только материалы, доступные или сохранившиеся в Риге, Вильнюсе, Таллинне, но и коллекции печатных и архивных материалов русской эмиграции Гуверовского института войны, революции и мира, Бахметевского архива Колумбийского ун-та (Нью-Йорк), Славянской библиотеки в Праге...

В комментировании переписки существенную помощь авторам-составителям (Ю.Абызов, Б.Равдин, Л.Флейшман) оказали коллеги и так наз. «старые рижане» – где бы они ни жили. Среди них – Алексей Михайлович Мильруд, журналист с довоенным стажем, сын одного из редакторов газеты «Сегодня». Ему и был посвящен пятитомник переписки, вышедший в Стэнфорде в 1997 г.: «Русская печать в Риге. Из истории газеты "Сегодня" 1930-х годов».

Естественно спросить – а стоила ли игра свеч? Изначально было понятно, что периодическая печать – важнейший источник реконструкции времени, в том числе и времени бытования русской эмиграции. И не только эмиграции, но и старожильческого русского населения Латвии, Литвы, Эстонии, Польши; и связей русской и латышских общин и культур; и истории русско-еврейской интеллигенции в Латвии и в европейской эмиграции; и менявшейся картины политической, общественной и культурной жизни Европы...

Становилось очевидно, что не столько газетная переписка заслуживает внимания, сколько сама газета с ее широчайшим охватом тем

и проблем. Да и то сказать: богата была жизнь межвоенной Европы (и не только Европы) с ее недавно закончившейся мировой войной, революциями, перекройкой границ, распадом империй, строительством новых государств, с ее неустойчивым настоящим и ощутимо приближающимся тревожным будущим. В каком-то смысле в эти годы Европа как никогда была едина в своих ощущениях и переживаниях.

В тот период существовали три большие ежедневные русские газеты: «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Последние новости» и «Возрождение» (обе – Париж). Рижская «Сегодня» во многих отношениях была наравне с этими газетами, а в чем-то, например, в многоголосии, даже их превосходила.

Надо сказать, что общественные перемены необычайным образом способствуют, точнее, способствовали расцвету печати. Вот и российские, общемировые события первых десятилетий XX века – вызвали необычайный всплеск русской печати. Ведь конкурентов у печати, считай, и не было. Радио – только стационарное и довольно редкая вещь, телевидение – когда оно еще придет, интернет – а что это такое – интернет? Оставался киножурнал, в лучшем случае, еженедельный, а газета – каждый день, а то и дважды в день – утренняя и вечерняя.

Но дело было не только в эпохе, нужны были еще и люди под стать эпохе. Нужно было еще и место под стать эпохе; нужно было еще обоняние, способность улавливать и учитывать вектор времени. Нужен был начальный капитал. Нужна была страна, в меру демократичная и способная к самоуважению. Нужен был многофигурный читатель, готовый задуматься, прежде чем в раздражении бросить газету в мусорную урну. Нужен был читатель, для которого внимание к русской истории, культуре уживалось со способностью принять или попытаться понять культуру других стран и народов. Нужна была и среда, где русский язык долго служил одним из так наз. языков межнационального общения. Конечно, нужны были и конкуренты, ближние и дальние, не дававшие почитать на лаврах. Приходилось конкурировать не только с русской печатью, но и с латышской (например, с «Яунакас зиняс» или с «Брива земе») или немецкой («Ригаше рундшау») – а в Латвии уровень газетной культуры и читателей газет в разных национальных общинах был традиционно высок. Не забывали и про рекламу, без которой газете было не выжить.

Эмиграция позволяла иметь собственного корреспондента в любой европейской стране, почти в любой точке земного шара.

Уникальным образом все это как-то соткалось в «Сегодня», тираж которой первоначально развозился на велосипеде, а затем достиг нескольких десятков тысяч экземпляров, превосходя тиражи самых популярных в эмиграции газет – «Последних новостей» и «Возрождения».

Газета просуществовала более двух десятилетий, сумела выжить в условиях давления на нее как со стороны местных правительственных кругов, так и разных способов давления на нее со стороны «большого восточного соседа», недоброжелательного отношения к газете публики сугубо консервативного направления. Даже в условиях авторитаризма (эпоха К.Ульманиса), газета сумела сохранять свое лицо, во всяком случае, не бежала впереди «политического паровоза».

Газета, первоначально воспринимавшаяся как провинциальная, в значительной степени сумела преодолеть недоверие к ней русского Берлина, русского Парижа, русского Белграда, русской Праги... Постепенно становилось очевидным (хотя и не для всех), что газета эта не сугубо местная, не газета одного гнезда, не локальная (хотя и по сей день «Сегодня» является одним из основных источников для реконструкции меньшинственной – слово неудачное, но другого пока нет – жизни в Латвии). И сегодня, когда историки русской, российской эмиграции обращаются к этой газете, они видят, как на ее страницах в той или иной степени отразилась многообразная культурная, религиозная, образовательная, общественная, политическая, молодежная... жизнь межвоенной русской эмиграции, где бы она ни бросила якорь. Надо учесть, что газета никогда не заявляла себя как эмигрантская, говорила о себе только как о газете латвийской с уклоном в меньшинственную проблематику.

Существовала газета в многочисленных вариантах: два утренних издания, выпуски с повышенным вниманием к событиям в Эстонии, Литве, Польше, общеэмигрантское издание. С конца 1924 г. стала выходить еще и «Сегодня вечером», несколько облегченный вариант «Сегодня». Наряду с сельскохозяйственной продукцией газета «Сегодня» была экспортным товаром Латвии.

Предшественниками «Сегодня» были исторически недолговечные «Наши дни» (выходили с 12 декабря 1918 г.) и «Народ» (издавалась с 26 августа 1919 г.), в первую очередь освещавшие жизнь русской и

русско-еврейской общин Латвии. Наконец, 14 сентября 1919 года тем же редакционно-издательским коллективом (Н.С.Бережанский (Козырев), Я.И.Брамс, Б.Ю.Поляк) была основана искомая «Сегодня», но в самой газете юбилей ее основания отмечали 26 августа, т.е. – день выхода первого номера газеты «Народ».

С приходом советской власти в Латвию газета была закрыта, ее редакторы и ряд сотрудников были арестованы, расстреляны или отправлены в лагерь; в годы немецкой оккупации кто-то из бывших работников «Сегодня» ушел в гетто, кто-то продолжал работу в под-немецкой печати. Владельцы газеты успели эмигрировать, один из них пытался создать газету в США. Не получилось – не то время, не то место.

В годы перестройки Рига вновь стала мощным центром либеральной русской журналистики – журналы «Даугава», «Родник», газета «Советская молодежь» соперничали с самыми популярными столичными изданиями, достигали невиданных тиражей, невиданного распространения. На пике тиражей: «Советская молодежь» – около 850 000 тысяч, «Даугава» – в районе 100 000 тыс., «Родник» – под 50 000 тыс. экземпляров; русскую «Атмоду» в Москве вывешивали как дадыбао. По многим причинам этот период взлета русской печати Латвии оказался коротким.

Возможен ли очередной прыжок в истории латвийской русской печати, точнее – СМИ? Очевидно, что газета на бумаге – исключена. А базирующийся в Риге ли, Юрмале ли интернет-портал – почему бы нет, симптомы налицо...

* * *

Ниже публикуются воспоминания Ирины Сабуровой – долголетнего сотрудника газеты «Сегодня», автора романа «Корабли старого города», – посвященного межвоенной и оккупированной Риге, ее обитателям. Некоторые фрагменты и даже фактографические элементы воспоминаний, их стилиевые особенности в какой-то степени «заимствованы» мемуаристом из ее же собственного романа.

Комментарием к воспоминаниям может служить послесловие Ю.И.Абызова к рижскому (2005 г.) переизданию романа «Корабли старого города» или переписка 1930-х редакции газеты «Сегодня», о которой речь шла выше. Благодарим Л.Флейшмана за помощь в публикации воспоминаний И.Сабуровой.

«ДА СГИНЕТ ТАСС...»

Двадцать лет назад магнитофонов, записывающих на ленту голос человека или спикера по радио, не было. По крайней мере, в широком употреблении, их только что начинали изобретать. Обходились, во всяком случае, без них.

В Риге выходила в течение двух десятков лет крупнейшая (это мы узнали потом только, а тогда считали просто большой) русская газета «Сегодня», тремя ежедневными изданиями большого формата: собственно газета «Сегодня» – восемь страниц ежедневно, а по праздникам – и по четырнадцать-двадцать, шесть страниц «Сегодня вечером», в просторечье «Вечерка»; третье издание, заграничное, переверстывалось из утреннего и вечернего, причем выбрасывалась часть чисто местной хроники и объявлений. Общий тираж газеты составлял тысяч пятьдесят экземпляров: цифра для эмигрантского издания изумительная и непревзойденная никем.

Нечего и говорить, что эта газета была независимой, ни в каких дотациях не нуждалась, – сама еще, смотришь, кому даст! – а начата была с малого тремя людьми: доктором Поллаком, Як. Брамсом и Ник. Бережанским. Тогда, в начале, редакция ютилась в одной комнатке в Старом городе, а Як. Брамс сам развозил, случалось, пачки газет на велосипеде по газетным киоскам.

Но эти времена давно прошли. В мое время газета «Сегодня» выстроила себе уже дом в семь этажей³; редакция занимала целый этаж, типография – два; громадная ротационка; превосходно оборудованная цинкография, машины, машины, машины... В типографии печаталось много и других газет и журналов. В редакцию, кроме местного штата сотрудников, ежедневно поступали материалы из-за границы, – а сотрудничали в газете «Сегодня», кажется, почти все эмигрантские журналисты, публицисты, писатели и поэты, за очень немногими исключениями. Для нас же газета была скалой, на которой многие строили свое существование, и очень неплохо.

Так вот, магнитофонов в газете «Сегодня» не было, хотя Як. Брамс, разъезжавший теперь не на велосипеде по газетным киоскам, а денди – по заграницам, – наверно нашел бы их, если бы были. Мы обходились «радистами», или «радиотами» под сердитую руку нашего милого, вспыльчивого, малинового от гнева, незабываемого редактора

3. Речь идет о здании на ул. Дзирнаву, 55/57; архитектор С.Н.Антонов.

– М.С.Мильруда. «Радистов» было четверо. Двое работало посменно в маленьком кабинетике в самой редакции, внизу, принимая Париж и Лондон. Двое – на вышке, полустеклянной башенке на самом верху, и тоже на двух аппаратах: Москва и Лондон. Вернее, две: Кира Андреевна Верховская и я. Работа происходила следующим образом: за сутки, часов с шести утра до двух ночи Москва и БиБиСи давали несколько раз известия, иногда до утра. Иногда, около десяти часов вечера можно было с большим трудом поймать интересные передачи по-английски из Токио. Стенографии от нас не требовалось по той простой причине, что ее никто не знал. Как мы записывали – никто не спрашивал. Важно было записать прослушанные известия и тут же, сев за машинку, написать по ним сообщения для газеты. (Каюсь: иногда «от собственного корреспондента».)

Важен был выбор: не дать того, что уже было, не писать лишнего, неинтересного; точность в событиях и данных, чисто журналистическая «подача» материала и, разумеется, самое главное – быстрота. В особенности по утрам, когда материал шел уже через несколько минут после сдачи редактору в типографию, а ночью нередко диктовался радистами прямо линотиписту, на наборную машину. Посменные дежурства распределялись у нас по суткам, гонорар был по строчкам, – кроме полагавшегося основного «фикса», а в перерывах между передачами известий мы были свободны и употребляли это время для себя: Верховская вела некоторые отделы в «Вечерке», а я – еженедельный журнал⁴, издававшийся в этой же типографии.

Несмотря на прекрасные аппараты, слушать одновременно ТАСС и БиБиСи (вечерами они совпадали), да еще часто под невероятные шипение и свист – атмосферные явления, непосредственная близость больших машин – бывало иногда так тяжело, что заходившие «на огонек» посетители очень быстро, зажимая уши, выскакивали вон. А выключить аппарат, в частности, тот, на котором принимался ТАСС, было запрещено... Да и не только по приказу редактора; однажды я, в диком бешенстве, четыре часа подряд переносила ужаснейший вой, стоически решив, что «пересажу» аппарат. И действительно: после трех часов ночи шум внезапно прекратился и раздался ясный голос, сообщивший важную новость. Я бросилась в типографию, продиктовала ее наборщику, задержав выпуск газеты, но – о, счастье! – вся ре-

4. Речь идет о журнале «Для Вас» (1933-1940)

дакция на следующий день торжествовала: этого сообщения не было ни в одной другой газете! Наши конкуренты, такие же радисты из «Яунакас Зиняс», крупнейшей латышской газеты, специально звонили, осведомлялись: они не выдержали вчерашнего приема, плюнули, – как же мы умудрились...

Мильруд даже простил мне за это мои грехи, а их было немало. Во-первых, я хронически, по его уверениям, не читала собственной газеты (что было клеветой); а второй грех случился совсем недавно и тоже ночью, и при таких же обстоятельствах: под свист, вой и шипение я ухватила лондонское сообщение о военных действиях (увы! шла уже война), и... потопила благополучно здравствующего генерала британской армии, снабдив его увесистым количеством тонн броненосца. (Фамилии похожи были.)

Вышел, конечно, конфуз. Те же радисты из «Яунакас Зиняс» змеиным голосом выражали свое сочувствие по телефону, собираясь прислать на венок бедному генералу... Но Михаил Семенович, собравшись сперва меня убить, потом только покачал головой. Он знал, что прием ночью бывал действительно ужасным.

Однако, не все же недочеты. Было чем и похвастаться. Шла война, и в начале апреля того года мне удалось отличиться и пережить исключительный в то время для журналиста день: придя рано утром на дежурство, я довольно рассеянно приготовилась слушать обычно повторявшиеся из ночного запаса известия, как вдруг услышала совершенно изменившийся, упавший голос спикера: «германские войска зашли в нейтральную Норвегию...»⁵.

Спикеру БиБиСи я собиралась послать объяснение в любви: он был моим другом и любимцем. Всегда представляла его себе пожилым, седым, благообразным человеком, корректнейшим английским джентльменом, совершенно невозмутимо, а иногда с легчайшим оттенком типичнейшего английского юмора сообщавшего о чем угодно. А сейчас я слышала голос потрясенного, выбитого из седла человека, ошеломленного как никогда в жизни, невероятным, немислимым – и безусловно происшедшим фактом.

Единственный раз, кажется, за все время моей работы я могла с полным правом не обращать больше никакого внимания на Москву. Лондон передавал через каждые двадцать минут, против всех распи-

5. Вторжение Германии в Норвегию – в ночь с 8 на 9 апреля 1940 г.

саний, последние сообщения с фронта, захваченные порты, затопленные суда, взрывы, взрывы, взрывы... В Норвегии, в водах Северного моря, в стране, во всем мире, где раздалось первое гулкое эхо: Гитлер не останавливается ни перед чем, Гитлер нарушает все международные законы, до тех пор он нарушал только человеческие. И ведь это – рядом, ведь Скандинавия – наша соседка, ведь говорится о союзе Балтийских государств под эгидой Скандинавии, Северном блоке, ведь...

Обычно я с удовольствием бегала сама вниз, презируя лифт, чтобы отнести материал. В тот день, с трудом оторвавшись от машинки, – принимать приходилось прямо на нее, – я вызвала по телефону сразу двух рассыльных. С шести часов утра и до полудня – «Вечерка» выходила в двенадцать двадцать – я не могла выпить стакан чаю. События, имена, цифры тоннажа и людей летели из аппарата, отщелкивались на машинке, передавались вниз.

К часу, проглотив залпом остывший чай и уже спокойно дописав последнюю – душераздирающую статейку о бегстве короля, я торжественно спустилась вниз. Я пережила занятие Норвегии, как если бы видела его панораму. Я приняла без сучка, без задоринки громадное событие для газеты. Я, быть может, сравнялась даже с прежним радистом, талантливым Ник. Якоби⁶, ставшим (теперь можно уже говорить о редакционных тайнах) «нашим собственным» корреспондентом в Вестминстерском аббатстве в Лондоне на коронации⁷... и все на том же БиБиСи, громадные альбомы с точными описаниями традиционных торжеств и карт Аббатства, на которых он, нахал, даже отметил крестиком «свое место». (Только раз проврался в репортаже о лондонских улицах, где под сияющим солнцем колыхались флаги... телеграмма гласила, что хлынул дождь. Из-за этого дождя «Вечерка» опоздала, Мильруд очень сердился...)

И, вдобавок: в том, что за один этот день я заработала рекордное число строк, больше, чем за весь месяц, – в этом у меня не было совсем уж никакого сомнения...

В кабинете редактора меня встретили с почетом. Мильруд пожал руку. Но, услышав елейный голос одного из старших сотрудников, я насторожилась: «А мы все с таким удовольствием читали ваши сообщения!».

6. Николай Петрович Якоби (1901-1947, Гамбург) – журналист, писатель; в 1939 г. выехал в Германию; во время войны служил переводчиком в Вермахте.

7. Речь идет о коронации Георга VI (12 мая 1937 г.).

Что значит – «мы»? Как будто я для осведомления редакции работала!..

– Ну да... – объяснил тот же елейный, – мы все собрались здесь и читали... А из министерства позвонили и запретили помещать в газете что-либо, кроме официальных телеграмм Латвийского агентства... Знаете, международные отношения, великие соседи и прочее... А ЛЕТА⁸ дала две телеграммы по три строчки, выжатые как лимон... А из вашего материала пошло строк сорок.

Как со мной не случилось удара – не знаю. Увидев мое лицо, Мильруд немедленно протянул мне папиросу и поспешил заметить:

– Но мы решили, я уже говорил с Поллаком... Вы должны получить особую премию за этот день, поэтому мы и не предупреждали вас, да и материал исключительный, самим хотелось знать...

Так шла война, так шла весна, и вместе с нею в том же апреле – Пасха. Мы только что, совсем недавно, пережили осень 1939 года, когда была проведена ударным порядком мобилизация армии в связи с занятием Польши, с репатриацией балтийских немцев, в связи с «военными базами», захваченными у нас Советским Союзом, и нависшей угрозой – паникой перед приходом большевиков. Рождество было похоронным в городе, со многими закрытыми магазинами, опустевшими домами, разорванными семьями. Но паника прошла, страхи улеглись, мы ждали союза со Скандинавией и, несмотря на войну, уже бушевавшую в Европе, Бог даст, авось, как-нибудь, – много было наивных интеллигентских иллюзий, бездумных надежд и просто так – беззаботности. Не на «вулкане», – вот именно, мы-то не собирались взрываться или взрывать кого-нибудь, а от сознания собственного бессилия: мы-то, маленькие, что ж? Нам-то уж – куда ж?

Недаром, во время мобилизации сразу облетел всю Балтику ставший классическим анекдот: командующий латвийской армией генерал Балодис посылает телеграмму командующему эстонской армией генералу Лайдонеру:

– Пришли мне твою тяжелую артиллерию!

– Обе пушки?! – гласит ответ.

Мы что... у нас – Пасха, вот о ней надо действительно подумать.

Думали вместе с Кирой Андреевной. Во-первых, по известному средству душ: обе любили вышивать и мастерить. Тайна нашей друж-

8. ЛЕТА (LETA) – Латвийское телеграфное агентство.

бы крылась именно в этом общем влечении, ибо Киру Андреевну с трудом переносили, большинство терпеть не могло. Высокая, грузная, несмотря на молодость, женщина, с маленькими свинячьими глазками и проплешинками среди рыжеватых волос, была – по ее словам, – дочерью известного когда-то в России архитектора⁹. Она репатриировалась в Ригу с латышской-матерью очень поздно, долгое время жила здесь почему-то с советским паспортом и только сейчас переменяла его на нансеновский. Выучилась английскому языку, прошла курсы журналистики известного критика Петра Пильского (что не помешало ей стать способной журналисткой), и, непонятным образом, выжив старого сотрудника¹⁰, вела местный русский отдел, зная наперечет весь город. У нее был неприятный голос, резкий, неуживчивый характер и большая, не совсем понятная озлобленность против всех и вся. Однако, когда меня перевели на место уехавшего радиста, Кира Андреевна очень коллегиально посвятила меня во все тайны ремесла.

В начале Страстной недели мы также коллегиально обсудили два главных пункта: как убрать пасхальный стол и как распределить работу. Характерной особенностью рижских цветочных магазинов были белые и зеленые гипсовые яйца вместо горшков, в которых продавались цветы. Однако, это было обычным и нас не удовлетворяло. Я предложила сплести из вербы жгуты, соединить их в форме стоячего

9. Верховская Кира Андреевна (22.12.1906/04.01.1907, СПб. – 2.10.1980, Рига), внебрачная дочь инженера-путейца А.Н. Верховского (расстрелян в 1923 г. в Петрограде) и Серафимы (Софьи) Калныни (из семьи латышского православного священника). В середине 1920-х гг. мать и дочь репатриировались в Латвию; с начала 1930-х гг. К.Верховская – сотрудник газеты «Сегодня» (см. об этом: Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии. Био-библиографический справочник. Ч.1. А-Г. Stanford. 1990. С.257-264). С началом войны К.В. эвакуировалась в Сибирь. Позднее работала в журнале «Блокнот агитатора» и в Латвийском отделении «Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом» (о последнем месте ее службы см. посвященную ей главу в книге: Lešinskis I. Starp divām pasaulēm. Kalpības gadi un citi raksti. R. Domas spēks. 2017. 66-69. lpp.) К.В. – мать Лидии Рахмановой, в 1960-х гг. жены художника Я.Паулюка (J.Pauļuks).

10. Речь идет о журналисте А.К.Перове (1907-1977), в конце 1938 г. он был уволен с должности внештатного корреспондента газеты за попытку создания конкурирующего с «Сегодня» печатного органа. К его увольнению («выживанию») К.В. отношения не имела.

яйца и поставить внутрь тюльпаны, которые выглядывали бы из прорезей в соединении с барашками вербы... мысль была одобрена полностью.

А дежурства? В воскресенье редакция не работает, конечно. На вынос Плащаницы мы обе успеем в перерыве. Остается два вечера: двенадцать Евангелий и Заутреня. Бросили жребий. Свободным днем мне достался Великий Четверг, зато, значит, в пасхальную ночь...

– Не огорчайтесь, – утешала меня она. – Наверняка обойдетесь без последнего Лондона; примите в десять часов самое главное, а потом закроете лавочку и отправитесь в собор. Все разговляются и понимают...

– Ну, нет... – уныло бормотала я. – С этой проклятой войной вряд ли.

Пришлось, как всегда, оказаться Кассандрой. Пасха стояла уже в пасочнице, задуманное вербное яйцо вышло великолепным, четверговая свеча донесена до дому без фонарика, руки перепачканы краской от расписных яиц, и все радостное, нарядное, колокольное, зеленое, чем так красиво, плавно и приподнято весело сопровождалась наша Пасха, – все было, как полагается, – кроме Заутрени.

– Чтобы вы даже и не подумали уходить! – было заявлено с тремя восклицательными знаками Мильрудом.

Я мрачно отправилась к Брамсу. Собор-то ведь тут же, из моих окон виден! Но Брамс был на этот раз неумолим тоже.

– Помилуйте, «Христос Воскресе» каждый год поют, а война не всегда бывает.

– Мерзавцы! – резюмировала Кира Андреевна.

– Безобразие! – поддержала я. – И ведь в это время не Лондон, а ТАСС. Ну что они могут сказать важного? О чем?

*

В Великую субботу, в промежутках между известиями, бегала раза три домой: печь последние пироги. К шести пришлось уже одеться: наши сокола¹¹ и Общество ревнителей старины¹² усердно и с успехом насаждали национальные костюмы, которые полагалось носить на все православные праздники, масленицу, День культуры и просто так,

11. Сокола – речь идет о представителях сокольского движения в Латвии.

12. Точнее – Кружок ревнителей русской старины (Рига).

летом и дома. В редакцию я явилась, по случаю Заутрени, в полном параде – в белом атласном сарафане с вышитой голубым и золотом рубашкой, вот, назло!

Но в редакции было уже пустовато, а на вышке у моего лондонского аппарата стояла прелестная вазочка с букетиком фиалок и стихотворным приветствием Киры Андреевны.

Это было трогательно и я, конечно, растрогалась, – нашлась же сочувствующая душа! Я мысленно простила ей многое и с большой жалостью к самой себе и своей «несчастной» Пасхе читала и перечитывала шутивное приветствие, кончавшееся до сих пор запомнившимися словами:

*«Да сгинет ТАСС, чтоб вместе с Вами
Сказали мы: Христос Воскрес!»*

И по мере того, как громадной, глубокой, пасхальной синевой затягивалось небо за высокими окнами, я раздиралась между этой зовущей синевой и дисциплиной журналиста, который, как и актер, обязан опоздать на собственные похороны, если требуется быть в другом месте... но Лондон повторял старые известия... но ТАСС!

Нет, я не могла смириться перед ТАССом. Без четверти двенадцать, пряча в кармане заранее купленную свечку, я вылетела из редакции, подобрав подол сарафана, и бегом бросилась на площадь перед собором. Крестный ход уже вышел. Удалось пройти на паперть, на мое всегдашнее место – около кружевных чугунных врат, у которых читалась моя любимая молитва: «Да воскреснет Бог, и расточатся все врази Его, яко тает воск от лица огня...».

А потом, после первого «Христос Воскресе», уже не боясь больше, а умиротворенно и спокойно вернулась обратно, наслаждаясь каждым шагом на озаренном сияющими крестами собора бульваре, и, поднявшись на свою вышку, переключила лондонский аппарат на рижскую станцию, на самый сильный звук и распахнула двери, чтобы все слышали, все!

ТАСС продолжал монотонно диктовать что-то для областных газет, нудное и невыносимое, как всегда.

Но зато на весь дом газеты «Сегодня», в сразу распахнувшиеся внизу двери типографии и редакции гремело сверху – торжествующе «Христос Воскресе» архиерейского хора – Рижская радиостанция передавала Заутрению в соборе...

Через час примерно я спустилась вниз, собираясь обиженно заявить, что собственно никакого материала нет, потопления ни броненосцев, ни генералов не предвидится тоже. Но газета была уже почти сверстана, а Мильруд, злодей, тоже отправился куда-то, разговляться, конечно!

Я помчалась домой.

*

Это не рассказ, конечно, и поэтому у него такой печальный конец, которого я никогда бы не сочинила сама.

И не только потому, что два месяца спустя, семнадцатого июня того же года¹³ газета «Сегодня» превратилась в «Пролетарскую правду», Мильруд и многие другие был арестован в тот же день, сослан в Нарым и погиб там¹⁴; не потому, что меня почему-то не арестовали, а я просто вылетела, без расчета, и кончилась моя работа, как и вообще все кончилось, но еще и потому, что еще через две недели знали все уцелевшие в городе: Кира Андреевна Верховская была советским агентом¹⁵ уже давно, а теперь выдавала одного за другим, десятки, сотни, тысячи людей¹⁶.

13. Неточность, последний номер газеты «Сегодня» вышел 28 июня 1940 г.

14. Неточность, М.С.Мильруд, гл. ред. газеты «Сегодня», был арестован 17 окт. 1940 г., осужден на 8 лет, скончался 24 нояб. 1942 г. в одном из Карагандинских лагерей.

15. Насколько нам известно, впервые слухи о Кире Верховской как агенте НКВД печатно были обнародованы берлинской газетой «Новое слово» (далее: НС) в анонимных статьях: Б/а. [В.Деспотули?] Здравствуй родина. Берлин-Ковно-Вильно-Рига. Путевые заметки // НС. 1941. № 31. 27 июля. С.3-4; Б/а. [В.Клопотовский?]. Советский террор в Латвии. (От рижского корреспондента «НС» // НС. 1941. № 33. С.1. Там же см.: Б/а. От соб. кор. «НС» (Рига). Чекист [Кирилл] Верховский // НС. 1941. № 35. 24 авг. С.6. О Кирилле Верховском см. еще: Голубев Б. Дневник. Публ. и прим. Б.Равдина // Даугава. 1996. № 1. С.150-151, где в частности, речь идет о Кирилле Верховском как сотруднике НКВД. О Кире Верховской как потенциальном агенте НКВД упоминал в своих работах Ю.И.Абызов. О брате и сестре Верховских как реальных агентах НКВД см.: Dreimane I. Gulbis un Kovārņēns: māsa un brālis čekas dienestā //(http://news.lv/Latvijas_Avize/2018/01/05/kovarnens-un-gulbis http://), где отмечено, что К.В. была завербована НКВД в 1935 г., ук. ее псевдоним: «Лебедь».

Многим приходилось переживать такие удары в наше время, даже с близкими. Верховская никогда не была мне близка, но я впервые в жизни встретила с настоящим советским агентом. А это очень страшно... В течение тринадцати месяцев советской оккупации она выдала, кажется, всех, кого знала, пощадив только двух: русскую американку фон Гюлих¹⁷ – и меня. Не знаю, за что. Она предала даже человека, с которым у неё был роман. Пощадила, значит, не по любви. Забыла, наверное просто, не до того было, – аресты шли каждую ночь, расстрелы шли каждую ночь, и пытки без перерыва... и в том здании бывшего министерства внутренних дел, где она работала теперь в службе безопасности. Но, если пасхальные приветствия могут сочиняться и предателями, то слова «да сгинут!» – сказаны не ими, а против них.

«И... расточатся все врази Его, яко тает воск от лица огня!»

*

Весна приходит каждый год, будет приходить и дальше, даст Бог еще очень долго, и когда-нибудь, может быть, раздастся такой торжественный всеобщий хор, какого никто и никогда не слышал в жизни: «Христос Воскресе!»

И тогда – сгинет ТАСС...

16. Тысячи – поэтическая формула.

17. Гюлих Елена Васильевна (ур.Фровенфельд; род. 1901; эмигрировала?) – поэтесса, член содружества «На струге слов».

ДУБУЛТЫ: К ИСТОРИИ ЛАТВИЙСКОГО ЛИТФОНДА И ДОМА ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ

Краткий комментарий к архивным документам 1948 и 1971 годов

В 1934 г. по образцу дореволюционного, основанного в России еще в конце 1850-х гг. Литературного фонда, был образован Литературный фонд Союза писателей СССР. Его основной задачей было обеспечение материально-бытовой помощи писателям.

В 1940 г. Латвия, Литва и Эстония были насильственно введены в состав СССР. В течение года были созданы как Союз писателей Латвии, так и соответствующий Литфонд¹.

Война прервала деятельность советских учреждений Риге, Таллинне, Вильнюсе; после возвращения Красной армии на территорию Прибалтики, их деятельность была возобновлена. В соответствии с приказом по Литературному фонду Союза ССР от 29 декабря 1944 г. «с 1-го января 1945 г. начата деятельность Латвийского отделения Литературного фонда СССР в г. Риге»².

На середину 1945 г. в распоряжении Литфонда Латвии находилось два подсобных хозяйства, книжный магазин и 7 дач, одна из которых была предназначена для коллективного отдыха писателей и, главное, их творческого труда³.

В том же 1945 г. в Дубултах был основан «Дом творчества писателей Рижское взморье» (с 1954 г. – Дом творчества писателей имени Я.Райниса), находился он в ведении Литфонда СССР (а не Латвийского республиканского отделения) и был предназначен для литераторов всего Советского Союза и дружественных стран. Основанные в 1945-1946 гг. на Рижском взморье Дома творчества художников и композиторов также находились в подчинении союзных инстанций⁴.

1. См. по вопросу: Andrejs Upīts – LPSR Padomju rakstnieku savienības priekšsēdētājs // *Сīņa*. 1941.18. jūn. 1 lpp. Здесь, в частности, отмечено, что на недавнем Съезде писателей Советской Латвии управляющим делами Литфонда ЛССР был избран тов. И.Леманис.

2. Объяснительная записка к описям номенклатурных дел Латвийского отделения Литфонда СССР // *Latvijas Valsts arhīvs*. 233.f. 1.lp. Судя по тому же источнику, правление Литфонда ЛССР было избрано только в 1946 г.

3. См. об этом: *Literatūras fonda darbība* // *Literatūra un Māksla*. 1945. 29. jūn. № 24. 5. lpp.

Ниже публикуются три документа. Два из них – преимущественно посвящены финансовому отчету Литфонда Латвии за 1947 г., печатаются они в сугубых выдержках, отражающих, на наш взгляд, некоторые общие и частные показатели деятельности Литфонда Латвии на фоне первых послевоенных лет.

Если говорить об историческом контексте данных документов, то следует учесть, что после окончания Второй мировой войны Латвийская ССР переживала особый политический, экономический и культурный процесс – (пере)советизации. Этот период характеризовался финансово-экономической нестабильностью, а также попыткой возрождения советского культурного производства.

Общие тенденции и события из жизни советского государства оказывали непосредственное влияние и на деятельность (включая разработку годового плана) Латвийского отделения Литфонда. В этой связи отметим денежную реформу 1947-го года и возникшую в том же году проблему товарооборота антикварных книг в книжном магазине Литфонда Латвии⁵.

Из москвичей и ленинградцев одними из первых обитателей Дома творчества в Дубултах были драматург-либретист П.Аболимов, сатирик Л.Ленч, драматург Л.Малюгин, ленинградский прозаик Л.Кратт, американист А.Старцев, горьковед Е.Тагер, литературовед, редактор, литературный критик, библиофил А.Тарасенков...⁶. Чуть позднее – пострадавший (кража) в Доме творчества пушкинист Д.Благой и там же приболевший М.Бубенов⁷, автор знаменитого в те годы романа «Белая береза» (Сталинская премия 1948 г.), С.Маршак⁸...

4. См. об этом: Ābiķe-Kondrāte A. LPSR Valsts drošības komitejas un represīvo institūciju darbība radošo profesiju pārstāvju veselības aprūpes, radošā darba un atpūtas nodrošināšanā // Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas : dokumentu izpēte un tās metodoloģija. R. 2015. С.5.

5. См. позиции: «Переоценка денежных средств» и «Книжный магазин» в «Объяснительной записке <за> 1947 год».

6. См. об этом: Konstantīns. Dubulti – rakstnieku un atpūtas daiļrades vieta // Literātūra un Māksla. 1945. 14. sept. сент. 8. lpp.

7. О Д.Благом и М.Бубенове см. ниже.

8. О последнем см. еще: Глушаков П. Мемуаристика и семиотика пространства (из комментариев к воспоминаниям А. Штейна и В. Астафьева) // Критика и семиотика. Вып. 14. Новосибирск. 2010. С. 321.

Первоначально Дом творчества функционировал только в летнее и околелетнее время, поскольку писателей, желавших жить и работать в Дубултах вне курортного сезона было немного. Примерно такая же ситуация сохранялась и в последующие десятилетия, когда Дом творчества действовал уже круглый год. Еще одна неизменная на протяжении десятилетий ситуация – обильное присутствие членов семей писателей в дубултский курортный сезон. Обе эти проблемы стали предметом обсуждения в Литфонде СССР в 1971 г., что и нашло отражение в публикуемом ниже документе.

К 1970-м годам сеть Домов творчества писателей представляла собой широкую систему престижного гостиничного хозяйства. Число таких домов превышало десяток⁹.

В эти годы в Дубултах насчитывалось 97 сотрудников. В их числе – официантки, повара, уборщицы, дворники, садовники, медперсонал, администрация...¹⁰.

Согласно различным, имеющимся в нашем распоряжении мемуарным источникам (около сорока) и административным записям, в 1960-1970-х годах Дубулты были одним из самых популярных Домов творчества среди писателей. Назовем только несколько имен в этой связи: Аксенов, Ахмадулина, Окуджава, Рождественский, Рязанов, Чаковский...¹¹.

Из латвийских литераторов в Дубултах в эти годы бывали Имантс Аузиньш, Леонс Бриедис, Владлен Дозорцев, Анатоли Имерманис, Марина Костенецкая, Янис Рокпелнис, Кнутс Скуениекс...¹².

9. См.: Пятый съезд писателей СССР: Стенографический отчет. М., 1972. С. 286.

10. См. об этом: Список сотрудников Дома творчества писателей им. Я. Райниса на 1.1.1975 год. // *Personāla dokumentu valsts arhīvs*. 1645.F. 2.apr. 20. l. 1-3. lр. Новый девятиэтажный корпус был построен на территории Дубултского Дома в 1972-м году. Об услугах нового корпуса см.: Selga G. *Raiņa jaunrades nams Dubults* // *Karogs*. 1970. No 12. 164.-166. lpp.; Budže K. *Dream Ships, or the Remains of a Nightmare* // *Rīgas līcis*. R. 2017. С. 88-89.

11. См. о некоторых названных выше именах: Красухин Г. Мне повезло его знать // *Голос Надежды: Новое о Булате*. Вып. 7. М. 2010. С. 29; он же: *Путеводитель по судьбе: От Малого до Большого Гнездниковского переулка*. М. 2009. С. 31; Рязанов Э. *Неподведенные итоги*. М. 1997. С. 182-187.

Только около 500 книг с дарственными надписями к 1964 г. скопилось в коллекции многолетнего директора Дома творчества М.Л.Баумана¹³.

Главной задачей Домов творчества числилось предоставления условий для плодотворного литературного труда, и только потом возможностей для отдыха. Однако реальная практика Домов творчества не укладывалась в отведенные административные рамки. Зачастую – особенно в летнее время – писатели приезжали в Дома творчества, чтобы отдохнуть здесь в одиночку или со своими семьями. Один из мемуаристов так описал летний Дубултский дом: «Летом это место гуляний, отдыха и светского ветра в сердце и голове»¹⁴.

Такие дома для многих писателей, скорее, были центрами досуга, чем творческой активности.

Об этом, в частности, говорит и письмо Давида Самойлова Юрию Абызову от 16 авг. 1980: «Погода прелестная, море чудесное, фруктов много. Интеллектуальных бесед и духовного общения нет начисто. В основном публика представлена: литературная бюрократия, начинающая с Феликса Кузнецова¹⁵ и кончая украинскими и среднеазиатскими боссами и боссиками»¹⁶.

Публикуемые ниже документы хранятся в Государственном архиве Латвии (Latvijas valsts arhīvs). Ф.233. Оп.2. Ед. хр.2а. Выписки со стр. 7, 11, 13,-14, 16-18, 20, 22-24, 27, 29, 30, 33, 36, 42.; там же. Оп.1. Ед. хр. 47. Л. 13-20.

12. См. об этом: Дозорцев В. Настоящее прошедшее время. Р. 2009. С.150; Костенецкая М., Стражнов Г. Мой XX век (диалог в скайпе). Рига, 2018. С. 46-61; Ольбик А. Возвращение Динозавров // Ностальгические хроники (Сборник интервью). М. 2006. С.124-130; Протокол №1 // Latvijas Valsts arhīvs. 233.f. 1.apr. 52.1. 1.lp.

13. См. об этом: Власов С. Пятьсот автографов // Ригас Балсс. 1964. 24 июня. С. 3.

14. Крелин Ю. Такая работа // Вопросы литературы. М. 1998. №2. С. 241.

15. Ф.Ф.Кузнецов в 1977-1987 гг. – первый секретарь правления Московской писательской организации СП СССР.

16. Юрий Абызов – Давид Самойлов: Переписка. Ред. Белобровцева И. Таллинн. 2009. С. 110.

* * *

ЛАТВИЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТФОНДА СОЮЗА ССР

*Директор ШПЕКТОРОВ Д.С.
Ст. бухгалтер Богданова О.А.*

Отчет сдан 14-го февраля 1948 года.

Техническое состояние всех эксплуатационных площадей, арендованных Литфондом СССР у Дачного Треста Горисполкома на Рижском взморье, требовало капитально-восстановительного ремонта, как равно необходимо было провести большие работы по благоустройству парков и усадеб, прилегающих к ним. <...>

Эксплуатационная деятельность Дома Творчества писателей характеризуется следующими данными:

1) Дом Творчества писателей начал функционировать в мае м-це и закрылся на консервацию 1.X.47 г.;

2) выполнение плана по койко-дням составляет фактически с начала года 9 487 к/дней против запроектированных в утвержденных сметах по эксплуатации на 1947 г. – 15 024 к/дней, что составляет 63,1% к годовому плану.

Однако, если учесть:

а) что этот максимальный план по койко-дням был спущен лишь 19 мая и 18 июня 1947 года, т. е., в самый разгар сезона;

б) что заполнение ДТП отдыхающими происходило только из центра, и, надо признать, что, по-видимому, это были максимальные возможности по использованию площадей ДТП в этом году, и % выполнения плана по койко-дням действительно является предельным, учитывая переполнение, имевшее место в июле и в первой половине августа м-ца.

3) Также являлась огромным затруднением в эксплуатации неравномерность заполнения Дома Творчества писателей отдыхающими.

Неравномерность загрузки и резкие колебания заполнения при максимальном напряжении в течение 2-х месяцев застало Дом Творчества недостаточно подготовленным для такой отдачи обслуживания и организации питания при разбросанности помещений, пищеблоков, а также ограниченности штатов и транспортных средств.

Если к этому учесть, что состав отдыхающих включал примерно:

а) творческих работников до 20%

- б) иждивенцев до 40%
 в) детей разного возраста до 40 %,

то станет совершенно очевидным, что преодоление указанных трудностей по обслуживанию могло идти лишь за счет увеличения затрат по безлюдному фонду и оплаты компенсаций за переработку, а также увеличения затрат на перевозки, стирку белья и пр. Именно по этим статьям расхода имеет место некоторое увеличение затрат.

* * *

Тов. БЛАГОЙ согласно акту на счет кражи, произошедшей в комнате, где проживал тов. Благой, и резолюции, наложенной на акт директором Дома Творчества писателей полной стоимости украденных вещей, отнесены на счет тов. Благова[!] в сумме 174,74 рубля. <...>

Директор Латвийского Республиканского отделения Литфонда Союза ССР

Подпись /Э.Фельдман /

Ст. Бухгалтер Подпись /О.Богданова/

ЛАТВИЙСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТФОНДА СОЮЗА ССР

Объяснительная записка к годовому отчету за 1947 г. [С.7.]

В отчет Латвийского отделения Литфонда входят предприятия:

1. Дом Творчества писателей Рижское взморье.
2. Книжный магазин писателей.
3. Подсобное хозяйство «Яунливе» Рижского уезда.

Кроме того, на балансе отделения учитывается автотранспорт, обслуживающий писателей.

1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Членов ССП на 1.1.48 г. – 62 чел., из них члены Литфонда – 51 чел.

Членские взносы за 1947 год уплатили 33 чел.

Задолженность на 1.1.48г. – 18 чел. <...>

Пособия по временной нетрудоспособности: [С.11.]

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Бубенов М.С. – 62 р/дня (туберкулез) | 1 980,78 [руб.] |
| 2. Мовшович Г.И. – 12 раб. дн. (сердечник) | 480. – |
| 3. Шуман Я.П. – 34 раб. дня. | 1 375,05 <...> |

ПЕРЕОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ [Л.13.]

Остаток кассы на 15-е декабря 1947 г. составлял Руб. 27 152, 58 (акт прилагается), из них 232 руб. 58 коп., не подлежащие обмену. В 12 часов дня было отправлено в Республиканскую контору Госбанка Руб. 26 920. – и платежное объявление сдано в группу до 2-х часов дня, но ввиду большого скопления клиентов и закрытия кассы в 3 часа дня, деньги не были сданы в кассу Госбанка. В 3 часа дня органами милиции было предложено всем клиентам оставить помещение Госбанка. Указанная сумма была сдана в Госбанк только 19.XII-47 г., т.к. 16-18 приема не было, из расчета 1/10, т.е. зачислено на наш т/счет 2692 руб. Таким образом, переоценка составляет Руб. 24 228.-

[Л.14.]

В начале декабря Латвийским отделением были разосланы повторные напоминания писателям о сроках погашения возвратных ссуд, но ввиду того, что изд-ва выплачивают гонорар один раз в м-ц, от 10-го до 15-го числа, то все платежи пали на указанные числа. 13-го декабря после закрытия кассы и ухода кассира, гл. бухгалтером были приняты платежи по возвратным ссудам. Все эти операции, т.к. касса на 13-е декабря заключена, оформлялась 15-го числа. <...>.

Кроме всего изложенного, Латвийской Республиканской Конторой Госбанка было опубликовано извещение в газете «Советская Латвия» от 15-го декабря 1947 года: «Учреждения Госбанка СССР принимают в свои кассы деньги старого образца для зачисления на счета предприятий, учреждений и организаций по номиналу до 15 час. 15-го декабря 1947 г.». Так как нами платежное объявление было сдано на группу до 2-х часов дня, то и деньги должны быть приняты, но Госбанк согласно полученной телеграммы прием прекратил.

[Л.16-18.]

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Рига, ул. Блауманя, 38/40 – директор Сермони Я.П.
ст. бухгалтер Пурвека[?] Э.Д.

Отчет сдан 21-го января 1948 г. – 5 дней раньше срока.

Рассматривая деятельность книжного магазина за 1947 год, усматривается большое снижение книгооборота, особенно антикварных книг. Причина – запрещение закупки антикварной книги.

По постановлению Главлита от 25.VI.47 г. книжный магазин пре-

кратил покупку и продажу антикварных книг. Разрешение на продажу имеющихся в магазине антикварных книг было дано 18.VII.47 года, но на покупку до сих пор разрешения книжный магазин не имеет.

Все вышеуказанное повлияло на снижение книгооборота, т.к. главным образом оборот по магазину была антикварная книга.

Так как наличие антикварных книг не пополняется, то выбор с каждым днем уменьшается и понятно, что этим теряется покупатель, а также уменьшается оборот прочих товаров.

Из оборота изъяты антикварные книги согласно списка Горлита, изданные за границей после 1917 года, а также прочие издания согласно списка 1947 года.

Валовая прибыль за 1947 г. составляет:

На новые книги:	Руб.	6 299,75
" антикварные	"	59 058,30
" канцпринадлежности	"	18 278,41 <...>

Инвентаризация книжного магазина начата 25-го ноября 1947 года и закончена 8-го января 1948 года. Описи прилагаются.

I. Товары:

1. Новые книги на 22 листах (стр. с № 1 по 22)

с № 1 по № 945 вкл. Руб. 104 729,62

2. Антикварные книги на 74 листах с № 1 по

№ 3 652 вкл. (стр. 97-100) Руб. 185 789,78 <...>

Изъято книг из обращения по спискам Горлита Руб. 61 899,25 <...>

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ПАКУЛИ»

[С.20, 22-24.]

3. Убытки:

От переборки картофеля, отправленного в Литфонд 150, -

От списания больного поросенка 500, -

По акту Латв. отдел. за гнилые яблоки – 5,5 кгр.[!] 27,50

То же мясо просоленное – 5,0 181,26

Выбыло: 858,76 <...>

Корова – при отправке из Дома творчества в подсобное хозяйство получила повреждения, после чего пришлось ее зарезать (акты в делах бухгалтерии) 6000, - <...>

По животноводству убыль – две коровы. Согласно распоряжения Литфонда Союза ССР, летом две коровы были перевезены из подсоб-

ного хозяйства в Дом Творчества писателей, откуда при отправке из хозяйства в сентябре месяце случилось несчастье с одной коровой – перелом ноги в бедре. В октябре месяце из общего стада внезапно заболела одна корова. В тот же день вызван ветврач и произведена операция, но спасти корову было нельзя. Обе коровы зарезаны на мясо согласно разрешения ветврачей. <...>

[С.27.] Расходы разные:

а) списаны негодные семена	650, -
б) тоже цветочные луковицы	300, -
в) на венки умершего предисполкома	20,-
г) цыплята, унесенные ястребом – 12 шт.	153,60,-
д) уценка продуктов, отпущен. д/т.	54,90,-
е) списан малоценный инвентарь, согласно	сличит. ведомости
	<u>279,70</u>
	1458,20

Директор Латвийского Республиканского отделения Литфонда Союза ССР

/Подпись/ Э.Фельдман

Ст. Бухгалтер /Подпись/ О.Богданова

**Выписка из протокола № 2
заседания Президиума правления Литфонда СССР от 27 января 1971 года.**

2. Слушали: О плане распределения путевок в основные Дома творчества писателей союзного подчинения – на сезонные месяцы 1971 года – т. Вейсман М.А.

Высказались: т.т. Елинсон Н.Л., Полторацкий, Ганина, Еремин, Лидин, Карабутенко, Тараканов, Жаров, Преображенский.

Постановили:

Обсудив вопрос об использовании Домов творчества писателей, Президиум Правления Литературного фонда СССР считает ненормальным существующее положение, когда подавляющая масса заявок на путевки в Дома творчества поступает от местных писательских организаций, главным образом, на летние, т. е., «сезонные» месяцы.

В это время большинство писателей приезжают в Дома творчества вместе со своими семьями (или посылает их «вместо» себя) преимуще-

щественно для отдыха, что является существенной, но не главной задачей Домов творчества, созданных, прежде всего, для тех писателей, которые не располагают для творческой работы необходимыми удобствами – в своих домашних условиях.

Количество заявок на путевки в сезонное время года обычно в несколько раз превышает реальные возможности Литфонда СССР.

Объединяя более 7000 писателей, Литфонд СССР может нормально обслужить за летнее время своими курортными Домами не более 10 – 15 процентов писателей (помимо членов их семей), в то время, как количество заявок на путевки в эти Дома достигает 3-х и более тысяч.

Так, например, Белорусское отделение Литфонда (директор тов. Михеев Ф. Г.), объединяющее 267 литераторов, представило на май-сентябрь т. г. заявку на 305 путевок в Дома творчества «Коктебель», «Гагры», «Дубулты» и «Ялта»; Молдавское отделение (директор тов. Топельберг Д. М.) имеющее 119 членов, представило заявку (в те же Дома и на тот же срок) на 129 путевок; Таджикское отделение (директор тов. Атаев К.А.), объединяющее 84 литератора, прислало заявку на 59 путевок и т. п.

Такие заявки при рассмотрении в Литфонде СССР подвергаются, естественно, большим сокращениям, что – с одной стороны – вызывает недовольство среди писателей, которым местные отделения Литфонда вынуждены потом отказывать в путевках (при окончательном распределении), а с другой стороны – ставили дирекцию Литфонда СССР перед необходимостью перегружать (из-за большого спроса) некоторые Дома творчества в сезонные месяцы, что тоже порождало и недовольство, и жалобы со стороны писателей, живущих в этих Домах, т. к. при перенаселенности Домов писатели теряли возможность не только заниматься творческой работой, но и нормально отдыхать.

Существующая система составления и реализации заявок на путевки (с упором на сезонные месяцы) порочна еще и потому, что при такой системе Дома творчества, будучи перегружены в сезонное время, в остальное время года пустуют или работают с большой недогрузкой (исключение представляют лишь такие действительно рабочие Дома творчества, как «Переделкино», «Малеевка», «Голицыно» и некоторые другие).

Это вынуждает дирекцию Литфонда СССР – во избежание больших материальных убытков – продавать нереализуемые среди писа-

телей путевки посторонним лицам (работникам других профессий), продолжая, однако, дотировать Дома творчества и нести хотя и меньшие, но всё же значительные убытки – в связи с необходимостью содержания этих Домов круглый год. При таком использовании Дома творчества писателей, вопреки своему назначению, превращаются, фактически, в обычные Дома отдыха для трудящихся, что выходит за пределы и задач, и материальных возможностей Литфонда СССР.

Однако не только «сезонность в работе» Домов творчества мешает правильному и более «хозяйскому» их использованию.

Некоторые отделения Литфонда, в нарушение многочисленных указаний Правления и дирекции Литфонда СССР, получая для распределения путевки в Дома творчества, вместо того, чтобы обеспечить ими в первую очередь нуждающихся писателей, – передают их членам семей отдельных писателей, или – без ведома Литфонда СССР – лицам, вообще не имеющим никакого отношения к Союзу писателей и Литфонду СССР.

В свою очередь, и некоторые писатели, получив путевки – без согласования с Литфондом СССР – самовольно передают их своим родственникам или знакомым, а сами приезжают в Дома творчества без путевок, требуя от директоров Домов творчества, чтобы они оформляли им путевки на месте (чего те делать не имеют права).

ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ ЛИТФОНДА СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исходя из принципа пропорциональности количеству членов организации и учитывая заявки союзно-республиканских отделений Литфонда СССР, утвердить распределение путевок в Дома творчества писателей на сезонные месяцы 1971 года по союзно-республиканским отделениям Литфонда СССР, согласно приложению № 1. В том числе:

- а) в Дом творчества писателей «Коктебель» – с 21 мая по 21 сентября – 905 путевок;
- б) в Дом творчества писателей имени А.П.Чехова (Ялта) – с 21 мая по 16 октября – 267 путевок;
- в) в Дом творчества писателей имени Я.Райниса (Рижское взморье) с 17 июня по 31 августа – 485 путевок;
- г) в Дом творчества писателей «Гагры» – с 17 июня по 20 октября – 462 путевки.

2. Образовать резерв путевок в распоряжении Правления Литературного фонда СССР (20% путевок первой категории и путевки II категории, не подлежащие распределению среди писателей) для удовлетворения нужд зарубежных писателей (по плану Иностранной Комиссии СП СССР), руководящих и творческих работников системы Правления Союза писателей СССР и его печатных органов, для представителей смежных искусств, науки и техники, учреждений культуры и искусства, а также для частичного удовлетворения потребностей рабочих и колхозников (по централизованно заключенным договорам).

Распределение путевок в Дома творчества писателей из резерва Правления Литературного фонда – производить по постановлениям Президиума Правления Литфонда СССР, или – при необходимости принятия оперативных решений – по письменным распоряжениям Председателя Правления Литфонда СССР или директора Литфонда СССР.

3. Поручить дирекции Литфонда СССР в месячный срок подготовить план ориентировочного распределения путевок во все остальные Дома творчества писателей (союзного подчинения) и представить его на утверждение Президиума.

4. Поручить Правлениям союзно-республиканских отделений Литфонда СССР в месячный срок утвердить распределение путевок в Дома творчества местного подчинения (там, где они имеются), и свои решения по этому вопросу выслать в Правление Литфонда СССР.

5. Правлениям и директорам союзно-республиканский и областных отделений, а также уполномоченным Литфонда СССР в автономных республиках, краях и областях – при конкретном распределении путевок в Дома творчества писателей:

а) повысить общее количество путевок, предоставляемых писателям, обслуживание которых – особенно во время их творческой работы – является основной задачей Домов творчества;

б) принять немедленно меры к увеличению количества путевок, предоставляемых писателям в Дома творчества на протяжении всего календарного года, и в первую очередь, в т. ч. несезонное время;

в) не допускать выдачи путевок в Дома творчества в сезонные месяцы – посторонним лицам (не являющимся членами Союза писателей или Литфонда СССР или их семьям) без предварительного, в каждом отдельном случае, письменного разрешения;

г) учитывая большой спрос на путевки в сезонное время, предоставлять в это время путевки членам семей писателей (едущих самостоятельно) в точном соответствии с параграфом 7 действующей Инструкции об оказании материально-бытовой и всякой другой помощи членам Литфонда СССР и их семьям и только после удовлетворения заявок всех членов Союза писателей и Литфонда СССР.

б. Установить, что в сезонные месяцы:

а) предоставление писателям отдельной – от семьи – комнаты в Доме творчества допускается лишь при наличии в Доме свободных комнат – по усмотрению директора Дома творчества;

б) члены семей писателей (членов СП и Литфонда СССР), выезжая в Дома творчества самостоятельно (без писателя – главы семьи) – не имеют права на обязательное получение отдельных комнат (если, конечно, они выезжают не вдвоем, втроем и т. п. В таких случаях они поселяются сообразно вместимости наличных в Доме комнат – по усмотрению директора Дома творчества).

7. Проживание детей в возрасте до 5-ти лет во всех Домах творчества писателей – категорически запретить.

Разрешить проживание детей в возрасте от 5-ти до 16 лет вместе с родителями – по отдельным специальным путевкам в след. Домах творчества писателей союзного подчинения: им. Я.Райниса (кроме основного – нового корпуса), «Гагры» (кроме Приморского корпуса) и «Коктебель».

8. Обязать директоров Домов творчества писателей системы Литфонда СССР:

а) не допускать прием в Дома творчества лиц без надлежаще оформленных путевок и помимо списков, направленных им из дирекции Литфонда СССР;

б) не допускать приема в Дома творчества лиц, не имеющих соответствующих документов – паспорт, удостоверение и медицинские справки;

в) через три дня после окончания очередного заезда приезжих представлять в Литфонд СССР справку о всех лицах, прибывших в Дом – по прилагаемой форме (прил. № 1).

9. В целях упорядочения учета по Домам творчества писателей установить единую для системы Литфонда СССР форму учета лиц, пользующихся Домами творчества писателей:

- 1) члены Союза писателей и Литературного фонда СССР (и члены их семей);
- 2) зарубежные писатели и журналисты (и члены их семей);
- 3) сотрудники учреждений и организаций системы Союза писателей и Литфонда СССР (и члены их семей);
- 4) руководящие и творческие работники учреждений культуры, науки, смежных искусств (театр, кино, музыка, эстрада и др.), печати, радио, телевидения и журналисты (и члены их семей);
- 5) рабочие, колхозники, служащие – по обменному фонду или генеральным договорам;
- 6) все остальные граждане.

10. Принять к сведению заявление дирекции Литфонда СССР, что в целях выполнения финансового плана по Домам творчества писателей в 1971 г. дирекцией подписан договор с Донецким областным Советом профсоюзов на передачу – для рабочих-шахтеров (во вне-сезонное время 2788 путевок на общую сумму 347050 рублей). В том числе в Дома творчества союзного подчинения: им Серафимовича (120 путевок по 170 руб.), «Гагры» (1074 путевки по 125-130 руб.), им. Чехова (155 путевок по цене 125-130 руб.) и «Коктебель» (950 путевок по 125-130 руб.).

Председатель Правления
Литературного фонда СССР

С.Преображенский

Верно:

Людмила СПРОГЕ
зав. центром Русистики

«ЖИЗНЬ – МИЛАЯ, ГЛУПАЯ И ЗЛАЯ...»

(О письме Т.Д.Клименко-Ратгауз к Анне Ахматовой)¹

Ей не было еще и шестнадцати, когда в альбоме стихов появились такие строки:

*Тускнеет вечер. Вяло гложут звуки
И только бьют часы в девятый раз:
Ложится тень на стиснутые руки,
И мягче, и светлей глубины глаз.
Цветную лампу засветить нет силы,
И сумрак вьется, тусклый и немой...
Я с дрожью жду, когда твой голос милый
Произнесет: «А мне пора домой...»
И ты уйдешь. Задремлет вечер синий
И я скажу: «Он был в последний раз!»
Но звезд ласкающий туманный иней
Напомнит мне улыбку тихих глаз.*

Что-то очень знакомое, навевающее когда-то уже слышанное, да и образность других стихов из девичьего альбома явно заимствована у знаменитых современников...

*Я пришла из царства тусклых красок...
Я пришла из царства мертвенных снегов...
Я с собой взяла венец из сказок
И оборванных туманных слов.*

Начинающая поэтесса родилась в Берлине, в её младенчестве родители вернулись в Россию. Семья жила то в Киеве, то в Москве, и маленькая Тасенька, как звали ее дома, училась говорить и по-немецки (мама была немкой), и по-русски, – отец был известным поэтом, стихи которого вдохновляли на музыку к романсам известных композиторов от Чайковского до Рахманинова. В революционном 1917-м году девочке было восемь лет, а когда исполнилось двенадцать, семья эмигрировала из России. Два «столичных» центра русского рассеяния стали театрально-литературной средой формирования начальных им-

1. Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Ф.1073. №1345. Приношу благодарность Роману Тименчику за предоставленное к публикации письмо.

пульсов ее творческих интересов. Семья сначала остановилась у родственников в Берлине, а затем переехала в Прагу, где Татьяна-София-Екатерина Ратгауз (лютеранского вероисповедания) стала учиться в Английском колледже. Именно в Праге – в атмосфере литературных объединений, театральной студии, концертов русских поэтов и композиторов в «Моцартеуме» – развивались и совершенствовались её литературные и артистические способности. В столице Чехословакии в 1920-1930-х годах проживало много русских эмигрантов, среди которых были известные артисты, писатели, ученые, частые гости в небольшой квартире Ратгаузов. Еженедельные посещения Чешско-Русской Едноты (общества сближения чехов и русских), где выступали гастролировавшие в Праге знаменитости, оставлявшие в альбоме красивой барышни свои автографы, вдохновляли на самостоятельные творческие шаги, поддерживали уверенность, что выбор ее незауряден.

Юная Татьяна одновременно дебютировала как актриса и как поэтесса. В студии русской актрисы Лидии Камеровской девушка училась актерскому ремеслу. В пражском русском журнале «Студенческие годы» появилась публикация процитированного в начале стихотворения «В сумраке», которое послужило поводом для шуточного мадригала завлита театральной студии и завсегдатая литературного кафе «Далибор» писателя и публициста Владимира Амфитеатрова-Кадашева:

*Ах, поклонников чертова дюжина
Окружает Вас в сладком бреду.
Звались Вы – Далиборки жемчужина,
Как мне кажется, в прошлом году...*

Завлит, симпатизирующий юному дарованию, автор популярных «скетчей», разыгранных студийцами Л.С. Камеровской, первым заметил в ранних публикациях поэтессы и актрисы влияние мотивов из сборников Анны Ахматовой «Вечер», «Четки», «Белая стая»:

*Вы клонились в туманном бессилии,
Будто сделали тысячу миль.
Одним словом – усталая лилия:
Утонченный, изысканный стиль.
Всё казалось Вам – тускло и матово:
Сказки, краски и отблеск зари.
Вы писали, совсем, как Ахматова,
Что на небе зажглись фонари...*

В стихах Т.Ратгауз середины 20-х годов, времени, когда она впервые пришла на собрание литературного объединения «Скит поэтов», руководимого русским литературоведом А.Л.Бемом, «проахматовская» образность преобладала. Это не было беспомощностью, не было творческим бессилием начинающей свою страницу в русской зарубежной поэзии будущей «скитовки». Ахматовское присутствие в ее лирике, равно как и блоковское, и гумилевское, было необходимым шагом в обретении эстетических ориентиров художественного письма. Чужой поэтический опыт, как это ни парадоксально, определил собственные творческие поиски, обозначил вектор своего, индивидуального творческого пути. А пока она пополнила, по выражению современника, всё увеличивающийся в двадцатые годы стан «подахматовок»²: из «ахматовского реквизита» брались темы неразделенной «русалочьей» любви-отравы или умершего возлюбленного, «бедной странницы», ищущей «новых песен». Даже заголовок стихотворения – «Песнь прощальная» – перекликался со знаменитой «Песней последней встречи» из «Вечера», а экзальтированная героиня, словно явилась из стихов «Я улыбаться перестала» и «Тяжела ты, любовная память» из ранней Ахматовой! Вот этот подражательный текст:

*Ветер со злобной силой
Рвет кустарник немой.
Умер мой милый, милый,
Умер любимый мой.
Небо все в тучах томится.
Падает медленный снег.
Кто поцелует ресницы,
Ресницы густые мне?*

Или:

*...Я разлуки пила отраву.
Я искала прохладного дна.
И уйду я странницей бедной
По неведомому пути.*

2. Н.С.Гумилев в Литературной студии, по воспоминанию его ученицы, «подахматовками» называл всех неудачных подражательниц Ахматовой: «Это особый сорт грибов-поганок, растущих под «Четками», – объяснял он, – подахматовки. Вроде мухоморов» (Ирина Одоевцева. Избранное. М.: «Согласие», 1998. С.241).

*Не такую ненужной и бледной
Я думала здесь пройти.
Ах, мимо все прежнее, мимо!
Не вернусь я больше домой...
Здесь умер самый любимый,
Здесь умер любимый мой.*

*...
Уйду я. А кто-то туманный
Будет бесцельно гадать,
В какие ушла я страны
Новых песен искать.*

«Портрет» «любимого» также «позаимствован», в рисунке его лика таится особая выразительность глаз («звезд ласкающих жемчужный иней»), надменной складке губ; его больше нет, но его черты отражены в облике «нелюбимого третьего»:

*Ах, все слепая ошибка! –
Кто-то ненужный живет,
У которого та же улыбка
И тот же надменный рот...*

Этот «ненужный» проходит через ряд стихов семнадцатилетней поэтессы:

*И только остался ненужный,
Кто-то с знакомым ртом³.
Путь мой далекий и вьюжный
И холодно в сердце моем.*

Подобное тиражирование ахматовских образов уже в описываемое время становится раздражающей тенденцией. Это подметил старший современник пражской поэтессы, лично знакомый с ней, Владимир Набоков, наезжавший в столицу Чехословакии навестить мать, сестру и брата Кирилла, который тоже, как и Татьяна, входил в «Скит поэтов». Вот что отмечал Набоков, рецензируя выходившие в двадцатые годы поэтические сборники: «На современных молодых поэтесс Ахматова действует неотразимо и пагубно. От нее-то и пошла эта смесь женской «греховности» и «богомольности». <...> Ахматова, поэтесса

3. Не губы, не уста, а именно «рот» как атрибут словесного портрета «его» из реквизита ахматовских «штампов».

прелестная, слов нет, но которой подражать не нужно. Увы, в женских стихах почти неизбежна пропитанность холодными духами Ахматовой». Спустя десятилетия Набоков в романе «Пнин» создаст едко ироничный образ поэтессы, жены главного героя, приводя «достойный образчик ее творений, подобные <...> сочинялись «под Ахматову» и иными эмигрантскими рифмессами – куцые жеманные вирши, передвигающиеся на цыпочках трех более-менее анапестовых стоп и грузно оседающие с последним задумчивым вздохом <...>. Неполные рифмы вроде «сказал – глаза» считались тогда очень изысканными. Отметим кроме того эротический подтекст и намеки *cour d'amor*»⁴.

Однако, «подражательный» этап по времени взросления завершился, поэтесса и актриса вступила в пору творческой зрелости. И руководитель объединения «Скит», характеризую индивидуальную манеру поэтессы Т.Ратгауз, говорит об отсутствии в ее стихах однообразия, бесконечной повторяемости и поэтического штампа; наоборот, – речь идет о публикации ее стихов в центральном эмигрантском парижском журнале, и Бем улавливает эстетическую связанность со школой новейшей поэзии «русского Парижа»: «Ближе всего по склонности к непосредственной передаче «интимного» стоит к «парижанам» Татьяна Ратгауз. Но и здесь, может быть, именно в силу своей связи с пражской группой, она свое дает на фоне не внутренних переживаний или поэтических обобщений, а «через мир вещей». Она не оголяет мир, не берет его в какой-то последней, почти метафизической обобщенности, а ощущает его конкретно, во всей его сегодняшней вещной обстановке. Стихотворение, напечатанное в журнале, для нее не столь типично, но все же оно ощущается по-иному, чем стихи других авторов»⁵.

В неопубликованных мемуарах Т.Ратгауз вспоминала, что серьезно стала относиться к своему писанию лет с четырнадцати-пятнадцати. При всей любви и уважению к отцу, ей трудно было смириться с его «старомодностью», а он упрямо отворачивался от всего нового, презирая модернистов, декадентов; но первому импульсивному «рывку» к стихам она обязана ему, хотя любящий отец относился к ее стихам лишь с ласковой терпимостью, стихи были чужды ему. Поначалу она, конечно, как большинство девочек, была под влиянием Анны Ахма-

4. Набоков В. Bend Siniste: Романы. СПб. : Северо-Запад, 1993. С.293.

5. Альфред Бем. О двух направлениях современной поэзии (стихи в «Современных записках») // Меч. 1934. 19 декабря.

товой, но в дальнейшем от нее отошла. В «Скиту поэтов» проявились другие ориентиры, пришли иные темы и сюжеты. К середине тридцатых годов она известна далеко за пределами Праги, театральные успехи несомненны – она – примадонна! Из Риги присылается приглашение в труппу единственного в Европе стационарного русского театра. Так она оказалась в «студеной, веселой стране», где была счастлива как никогда:

Если это и сон – все равно: это было вчера.

Счастье, здравствуй! – Я здесь, и тебя я узнала...

...А потом жизнь пошла кувырком – война, отъезд вместе с мужем и маленькой дочерью на хутор в Латгалию, чтобы прокормиться и избежать обслуживания германского оккупационного режима. Трудности послевоенного времени, которые можно было бы пережить в оптимистической атмосфере победы, если бы не роковые стечения обстоятельств... Стали обменивать паспорта новым гражданам социалистической Латвии, и тут оказалось, что девичья фамилия – немецкая, мать – немка, семья эмигрантов, сама актриса родилась в Берлине, и ее муж, русский актер, увидел свет в Берне. Очень подозрительно! Советское гражданство было аннулировано. Нужно было долго и трудно добиваться «правильного» паспорта. Работа была потеряна. Вселился ежедневный страх ареста и высылки. С театром было покончено практически навсегда...

К середине пятидесятых годов тревога стала постепенно исчезать, затеплились надежды, казалось, вот-вот начавшиеся перемены всколыхнут «тусклый омут жизни», но... начались потери, театр остался в воспоминаниях, поэтический сборник так и не был издан, писались и стихи, и проза, но ничего не публиковалось, время уходило на технические переводы с английского и немецкого, на руководство самодеятельными кружками на фабриках, на репетиторство. Семья как-то сводила концы с концами. В это время удалось съездить в Москву, там на бывшей Поварской улице она искала следы флигеля у особняка Рябушинского, где в раннем детстве жила с родителями. Уютного домика уже не было, церквушку Рождества Христова тоже снесли, от соловьиного сада купцов Беклемишевых остался маленький скверик, вокруг него – новые дома и кинотеатр. Но особый колорит детских лет, московской жизни родителей, первого театрального утренника всколыхнул давно дремавшие струны памяти. Надо было сохранить

всё, что осталось от творчества отца, от театрально-литературной жизни и не только своей, систематизировать свой пестрый архив и исполнить то, к чему долго шла: к людям, которых любила с детства, с которыми не была знакома, но ощущала какую-то таинственную связь своей судьбы с ними. От одних она получала ответное внимание, фотографии и книги, письма к другим остались без ответа. Публикуемое ниже письмо из Риги, написанное в середине 1950-х годов было таким, безответным. Оно написано в час смятения, отчаянного душевного одиночества с надеждой на понимание столь постоянно-го чувства обожания и преклонения перед истинной Музой. В конце письма – «Не сердитесь на меня!» и адрес, где адресант убрала свою девичью фамилию, чтобы не вызывать ассоциации с забытым поэтом, которого современники молодой Ахматовой (Брюсов, Гумилев и др.) называли банальным и устаревшим...

* * *

[*Рига, 1955.*]

Глубокоуважаемая и дорогая Анна Андреевна!

С душевным трепетом берусь я за перо и не знаю, решусь ли отправить это письмо.

Вы не знаете меня. И если Вы спросите меня, почему, каким образом, я вдруг решаюсь Вам написать, мне кажется, я не найду ответа.

Ваше имя дорого для меня, можно сказать, всю мою жизнь – т.е. с той минуты, когда в четырнадцатилетнем возрасте я впервые прочла «Четки». Во всю мою раннюю юность «Четки» были у меня «настойной» книгой и все переживания более зрелой молодости перекликались с Вашими стихами.

Мне было 19 лет (сейчас мне 46), когда в написанном мне в альбом одним – ныне покойным другом, посвящены были строки:

*...Все казалось Вам тускло и матово, –
Сказки, краски и отблеск зари.
Вы писали – совсем как Ахматова –
Что на небе зажглись фонари...⁶*

Да, я писала довольно долго (хотя конечно и не «совсем»!), «как Ахматова». Потом я стала писать все же несколько «иначе», но Вы оставались близки и дороги моему сердцу.

Горько и мучительно переживала я тяжкие для Вас дни⁷ и огромную радость давала мне каждая случайно попавшая мне в руки Ваша строфа.

«Все души милых на далеких звездах...»⁸ – эта случайная находка была для меня праздником!..

Простите, я пишу несуразно; совсем не умею писать «восторженных» писем, а какими словами рассказать про то, чем Вы были для меня (и не для меня одной, конечно)!?!

Почему я пишу Вам? Да, должно быть, потому, что жизнь – милая, глупая и злая – как-то выкинула меня за борт и швырнула о лихорадочные, суетливые утомительные будни «быта». Волею судеб, вокруг меня так мало настоящих людей и совсем нету поэзии. Я очень устарева для нашего века и стихи мои не нужны; я тоже «лиры милой не отдам»⁹ и в этом я, увы, неисправима, как бы ни было это тяжело. Стихи я пишу, можно сказать, всю свою жизнь (но теперь все реже и реже...), когда-то печаталась. По основной профессии я актриса, но, несмотря на годы успешной работы, в результате – неудачница и тут.

Да, я, конечно «никчemuшное» для нашего века, вымирающее явление.

6. В письме из-за цензурных предосторожностей не упоминается имя эмигрантского литератора В.А.Амфитеатрова-Кадашева (1888-1942), который в пражский период жизни с 1921 по 1928 годы был одним из инициаторов литературного кружка «Далибор», участвовал в работе литературного объединения «Скит поэтов», заведовал литературной частью театральной студии Л.С. Камеровской, публиковался в зарубежной русской периодике – «Руль», «Иллюстрированная Россия», «Новое слово», «Сполохи», «Сегодня», «Веретено», «Младорусь» и др.

7. Речь идет о печально известном постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года, в котором Анна Ахматова и Михаил Зощенко объявлялись безыдейными, аполитичными, наносящими вред и т.п. Страшные обвинения по существу приравнивали упомянутых в постановлении писателей (не только названных!) к «врагам народа» и вычеркивали их со всеми негативными последствиями из литературного процесса современности. Т.Клименко-Ратгауз знала, что сын Анны Ахматовой, Лев Николаевич Гумилев, арестован и отбывает срок в лагере.

8. Стихотворение было опубликовано под заглавием «Возвращение» в первых номерах журнала «Ленинград» в 1946 г., еще до Постановления.

9. Цитата из стихотворения Сергея Есенина «Русь советская» (1924).

Простите, что я так нахально пишу Вам и навязываюсь. Но неужели Вы не поймете меня? Кто же поймет тогда?

Высылаю Вам несколько своих стихов разных периодов. Зачем – не знаю. Что мне от Вас надо?.. – Жду отклика и сама себе не верю...

Как я решилась?.. Простите меня!

Так иногда крикнешь в пустом, густом дремучем лесу, ждешь эхо и веришь, что оно – живое.

Крепко, крепко жму Ваши руки, низко кланяюсь Вам.

Не сердитесь на меня!

Татьяна Клименко

Мой адрес: Рига, Лачплеша ул. 4, кв.2.

Татьяне Даниловне Клименко.

На болоте¹⁰

*Пахнет можжевельником и мятой.
Веет сырью. Комары звенят.
Может быть, под кочкою мохнатой
Логово болотных чертенят?
Бугорки, крапленые черникой
Поросли, как шубкой, старым мхом.
Ты в нору под ёлкой загляни-ка, –
Кто там дышит – заяц или гном?
Сказочные, ласковые бредни,
Зной и чад в болотном полусне.
Из-под пня сосны, почти столетней,
Серый попик поклонился мне.*

1949 г.

* * * 11

*Стихов мы начитались допьяна
И вечер, – теплый, ветреный, осенний –
Так зло дурманил шепотом и пеньем
И тает золотом за тишиной окна.
Мы завистью больны от звона строк чужих,
Но муза нищая к нам больше не стучится,
И больно ранит белая страница,
Когда безмолвствует мертворожденный стих.*

1953 г.

* * *12

<i>Томится в стеклах тишина</i>	<i>Яснее дни и хорошо,</i>
<i>Предчувствием обманным марта,</i>	<i>Что мысли в них, как льдины, тают.</i>
<i>А небо в четкости окна –</i>	<i>Я тоненьким карандашом</i>
<i>Географическая карта.</i>	<i>Путь невозможный начертаю;</i>
<i>Вот телефонных проводов</i>	<i>Чтоб с самой маленькой земли</i>
<i>Легко легли меридианы</i>	<i>Следить и жадно, и ревниво,</i>
<i>От розовых материков</i>	<i>Как тонут птицы – корабли</i>
<i>По голубому океану.</i>	<i>В несуществующих заливах.</i>

1931 г.

Т.Д. Клименко-Ратгауз в своих воспоминаниях никогда не упоминала об этом письме, хотя дорогое имя, цитаты из стихов, восприятие творчества в целом – постоянный рефрен ее мемуарных записей. Почему? Вероятно, потому, что ответа не было. Лидия Корнеевна Чуковская в «Записках об Ахматовой» приводит несколько пассажей середины пятидесятых годов (т.е., – времени написания и отсылки вышеприведенного послания) об отношении Ахматовой к восторженным почитательницам, к письмам от ее поклонниц¹³.

Анна Ахматова, получая «целые горки писем», отвечала отнюдь не на все...

10. Стихотворение, с выделением трех четверостиший, вошло в единственную прижизненную книгу Т.Клименко-Ратгауз «Вся моя жизнь» (Рига: Лиесма, 1987. С.67) с эпиграфом из стихотворения Александра Блока «Болотный попик» (1905): «На весенней проталинке // За вечерней молитвою – маленький // Попик болотный виднеется...».

11. «Вся моя жизнь» (с. 55), с рубрикой на два четверостишия.

12. «Вся моя жизнь» (с. 21), под заглавием «Дальние плавания I» и с рубрикой на четыре четверостишия.

13. Анна Андреевна «вынула из сумки письмо и протянула мне: "Прочтите!" Письмо от поклонницы: "Всю жизнь мечтаю Вас увидеть... Узнала, что Вы сейчас в одном городе со мной... Я не молода, одинока и феноменально застенчива. "Путь мой жертвенный и славный здесь окончу я".

Читая, я вся измалась в пошлости. Оказывается, и у неё тоже славный и жертвенный путь. Экая дурища! Это письмо я получаю с 1915 г., – сказала Анна Андреевна. – Сорок лет! Вчера получила ещё раз. Его же. Я вернула ей письмо с живым отвращением.

– И стихи пишет? – спросила я.

– Будьте спокойны!» (Л.Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. 1952-1962. Paris. YMCA-PRESS. 1980. С.77-78. Запись от 21 мая 1955 г.

НА СТРАНИЧКУ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ЛАТВИИ

НАЧАЛА 1960-х гг.

В июле 1958 г. в Москве был открыт памятник В.Маяковскому. На торжествах стихи читали не только званые поэты, но и незваные, которых в присутствии В.В.Маяковского было не удержать. Затем, стихийно, по чуть проторенной тропинке, теплыми субботними и воскресными вечерами у подножья памятника стал собираться народ, читали стихи, свои и чужие. Власть замешкалась и в оттепельной неопределенности пустила ранние чтения на самотек, но осенью того же года, по разным причинам, в том числе и по сугубо внутренним, «Маяк» стал увядать. Увядать, чтобы в новом, многопрофильном качестве возродиться спустя два года, к сентябрю 1960-го. Площадь и памятник притягивали неудержимо, магически воздействовали даже на тех, кто хотел было (в т.ч. и *post factum*) устраниваться от какой бы то ни было связи с ними. Но, как говорил Пестель: «Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать...»¹. Публика постепенно становилась не просто зрителем, а соучастницей события, возникало что-то вроде молебна во имя «свободы стиха». Отчасти и от «Маяка» пошло есть возрождение в российском мире не столько поэтической, сколько политической жизни, порой было не различить, где стихи, где поэтический самиздат, а где политический вызов. С «Маяком» что-то нужно было делать, т.с. «принять меры»: сбить темп, инерцию, сократить частотность встреч и расставаний, загнать в «нужное» русло, выявить зачинщиков, «профилактировать» чтецов и организаторов, объяснить «неразумным», что «Маяк», мол, мешает дорожному движению, пестует карманников и т.д.

Осенью 1961 г. разными способами «Маяк» погасили.

В октябре пошли аресты, в том числе и по подозрению в намерении «отдельных участников чтений» устроить покушение на Н.С.Хрущева.

Чуть позднее, минуя имена «террористов», по «Маяку» и авторам неподцензурных изданий ударили из фельетонных орудий разного

1. См. о «Маяке»: Л.Поликовская. Мы предчувствие... предтеча... Площадь Маяковского 1958-1965 // М. «Звенья». 1997. См. еще сопутствующие статьи 1960 г. о поэтическом «самиздате» и художниках-«нонконформистах» с высокочастотным для заголовков поминанием обители муз – «Парнаса»: А.Иващенко. Бездельники карабкаются на Парнас // Известия. 1960. 2 сент; Р.Карпель. Жрецы «Помойки № 8» // Московский комсомолец. 1960. 29 сент.

калибра. Один из первых фельетонов был опубликован в «Московском комсомольце» за 16 ноября 1961 г. (А.Нагайцев, Ю.Некрасов. «За спиной у поэта»²), с далеко еще не полным словарем в адрес неподцензурных поэтов, но все же: бездари, пошляки, неучи, рифмоплеты, сочинители «туалетной лирики», хулиганы от литературы, дежурные горлопаны, зарвавшиеся борзописцы, окололитературные приживалы, декадентские обноски, тунеядцы, отщепенцы, клеветники, оторвавшиеся от коллектива очернители, антисоветчики, безбилетники...

Но речь пойдет не о московских событиях, а об отражении этих событий в Риге.

Не успели просохнуть чернила на такой-то странице «Московского комсомольца», как в газете «Советская Латвия» за 12 декабря 1961 г. появился собрат московского фельетона, уступавший столице по накалу, но шедший тем же курсом. Трудно сказать, кто был инициатором рижского увража: время ли, государственная ли инстанция, недомыслие ли части соавторов, соединенное с жадой публикации? Комбинация того, и другого, и пятого... Как бы то ни было, в случайность совпадения по времени московского и рижского фельетонов нам не верится. Как не верится в случайность совпадения отдельных слов и выражений из заметок, статей, фельетонов о «поэтах-тунеядцах» в эпоху колеблющихся представлений, но все еще устойчивых эпитетов.

Слово рижским перьям.

* * *

А. ФАГЕР и Ю. БОРИН³

МУЗА ИЗ ПОДВОРОТНИ

(Фельетон)

Одухотворенное чело. Глаза, сверкающие благородным гневом и еще чем-то менее благородным. Слабое пожатие безвольной руки.

– Иосиф Бейн. Поэт.

Стихи? Пожалуйста. Глаза устремляются вдаль, в неизведанное. Легкий взмах руки. Слабое покачивание торса. Стихи:

2. См. Л. Поликовская. Цит. соч. С.256-259.

3. Об авторах фельетона см. ниже, в разделе: «Выборочный указатель имен».

Если б не голод твой – не было б мамы.

...Жажда рожденных построила груди...

Не правда ли – смело? Смело до умопомрачения, до дрожи в коленках, до икоты. Восхищенные юнцы, раскрыв, рты, впитывают каждое слово.

По вечерам они собираются в кафе Дома работников искусств. Или в какой-нибудь подворотне неподалеку. Бородатые юноши, стремящиеся казаться взрослыми, и взрослые, которым хочется быть помоложе. Дух глубочайшего интеллекта витает над ними. Это видно хотя бы из того, что кафе они именуют «Ротондой». Тонко, не правда ли? Что касается подворотни, то в анналах мировой литературы названия для нее не обнаружено и она осталась безымянной. Не придумано пока названия и для самих поэтов. Просто поэты из подворотни.

Поэты? Еще бы!

– Иосиф Бейн – самый талантливый человек в Риге, – с восторгом говорит один из его поклонников.

– Иосиф Бейн – великий поэт, – уточняет другой непререкаемый авторитет в вопросах литературы.

Великий поэт не внимает гулу восторженной толпы. Он нервно перебирает пуговицы своего изрядно потертого серого плаща и голосом пророка глаголет:

Научите меня продавать,

Научите меня предавать...

И тут же переходит на прозу:

– Со вчерашнего дня ничего не ел.

Взоры поклонников затуманиваются. Они вполне отдают себе отчет в том, что и гений должен поест, и достают из карманов смятые рублевки.

«Самый талантливый» гордо принимает подношения.

– Да, я беден. Но они, – он тычет пальцем куда-то в пространство, – они еще беднее. Они нищие духом, ибо не хотят печатать меня, Бейна.

Увы – «самого талантливого» не печатают. Но почему?

– Конечно, за смелость. За ниспровержение авторитетов. За то, что режу правду-матку. За то, что утверждаю свое «я».

Непризнанный гений. Гонимый поэт. Как это красиво, трогательно, мужественно и благородно – не правда ли? ореол гонимости придает давно не чесаной голове и всему облику Бейна изысканность и пикантность.

Правда, порой ему для утверждения своего «я» становится мало ореола. И тогда он перестает бриться и стричься и принимает образ апостола или, скорее всего, заштатного старообрядческого псаломщика. Апостол гнусавит свои вирши и проповедует отрицание всего и вся.

Так проходят литературные чтения по вечерам. А днем? Что делает гонимая муза при солнечном свете?

...Несколько лет назад в некоторых ленинградских палатках «Утильсырья» появился постоянный клиент. Он не сдавал утиль и макулатуру. Он покупал. Роясь в пыльном ворохе старых книг, он выбирал такие, которые можно было бы выгодно продать в антиквариате.

Неизвестно, сколько бы продолжалась эта «творческая» деятельность Бейна в Ленинграде, если бы не вмешательство нечуткой к подобным людям ленинградской милиции. Для потомков сохранился разговор:

Милиционер: Ваша профессия?

Бейн (гордо): Я – поэт!

Милиционер: Где вы работаете?

Бейн (удивленно): Я же вам сказал: я поэт.

Милиционер: А где вы печтаетесь?⁴

Бейн: Я не продаю вдохновение!

Насчет продажи вдохновения милиция так и осталась в неведении. Зато там хорошо знали, что Бейн нигде не работает и перепродает книги. Не работает и жена Бейна («супруге поэта не приличествует трудиться»). Неприятная встреча с милицией кончилась тем, что непризнанному поэту пришлось срочно убраться с берегов Невы.

4. Ср. известную запись суда над И.Бродским (февраль 1964 г.):

Судья: Чем вы занимаетесь?

Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю...

Судья: Никаких «я полагаю». <...>. У вас есть постоянная работа?

Бродский: Я думал, что это постоянная работа.

Судья: Отвечайте точно!

Бродский: Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю...

Судья: Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Нас это не интересует. Нас интересует, с каким учреждением вы были связаны.

Бейн вернулся в Ригу. В тот самый город, где его несколько лет назад исключили из Латвийского государственного университета за неупеваемость. И тут-то он развернулся во всю мощь своего таланта.

Бейн стал писать. То, что он писал, мало походило на прозу, а тем более на стихи. Это были эпистолярные опусы, Получателям записок в трогательной форме предлагалось принести жертву печальной музе. Поводы были самые разнообразные: «Дочь в скарлатине. Сам простудился тоже. Одолжи до Нового года 10-15 рублей». «Срочно вызывает Илья Эренбург. Прошу одолжить 15 рублей до возвращения».

Само собой разумеется, эти опусы не удовлетворяли потребностей мятущейся поэтической души. Прожорливая муза требовала жертв покрупнее. Она потянулась за пенсией отца, требовала денег у сестер Бейна.

Но вот, наконец, Иосиф Бейн нашел себе дело по душе – он стал перепродавать грампластинки с религиозными песнопениями и отрезки, которые получал в посылках из-за границы.

Порой «оригинальный» талант делает отнюдь не оригинальные вещи. Однажды Бейн написал «архисмелое» стихотворение «Вокзал», в котором охаивает и осмеивает нашу жизнь, наших людей. Но потом он решил «протолкнуть» стишок в газету и проделал для этого весьма несложную операцию – изменил название. Опус стал называться «Боннским вокзалом»⁵.

Фальшивку не напечатали, а Бейну посоветовали найти себе более подходящую работу.

– Работать? Никогда в жизни! На меня работают миллионы проstackов!

...По вечерам из подворотни... то бишь, из «салона» Иосифа Бейна доносятся завывания:

Научите меня продавать,

Научите меня предавать...

Это поэт утверждает свое я». «Я» околотелитературного обывателя, тунейдца и человека, живущего без прописки»⁶.

5. Ср. ниже стихотворение И.Бейна «...И выйдут поезда из тупика».

6. Еще об И.Бейне см. ниже, в разделе: «Выборочный указатель имен».

7. Все три фельетона см.: Л.Поликовская. Цит. соч. С.263-268.

8. О С.Христовском, Е.Феодорове и В.Дозорцеве см. ниже, в разделе: «Выборочный указатель имен»; там же см. стихи, читанные С.Христовским на вечере.

* * *

В Москве меж тем продолжался обстрел «Маяка», фельетон за фельетоном:

А.Елкин. Кубарем с Парнаса. Фельетон // Комсомольская правда. 1962. 14 янв.

Вл.Котов. Пигмеи. Фельетон // Молодой коммунист. 1962. №1.

Л.Лавлинский. Обнаглевший нуль. Фельетон // Молодой коммунист. 1962. №2⁷.

Статьи эти так или иначе опять отозвались в Риге, в том числе и в отчете, посвященном публичному чтению стихов на университетском филфаке. Подпись под идущим ниже текстом – коллективная.

Кафедра русской литературы

ВЕЧЕР НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТОВ

Вечер чтения и обсуждения стихотворений начинающих поэтов собрал большую аудиторию, представленную студентами разных факультетов университета и гостями.

С чтением своих произведений выступили студенты 1, 2 и 3-го курса отделения русского языка и литературы [С.] Христовский, [Е.] Феодоров и [В.] Дозорцев⁸, студент-заочник Ленинградского университета Плотников и некоторые другие.

Аудитория аплодисментами встретила стихи на общественно-политические темы, прочитанные Дозорцевым. Но таких стихотворений, добротных по содержанию и форме, было сравнительно немного. Большинство прочитанных стихотворений не удовлетворило слушателей, а некоторые – возмутили их.

О стихах студента 1-го курса Христовского нельзя было сказать ничего определенного, потому что автор прочел их невыразительно, как будто больше для себя, чем для присутствующих.

О стихотворениях студента 2-го курса Феодорова вновь было сказано, что они абстрактны и заумны⁹, содержание его стихотворений смутно. Он не станет поэтом, если не порвет пути субъективизма и абстрагизма, если не откажется от ложного и вредного лозунга, будто будущее – за абстрактным искусством.

9. По устным сведениям, ранее такую же оценку стихам Е.Феодорова дал доцент М.П.Николаев.

Была отмечена претенциозность стихов и поведения Плотникова. Он напрасно держится как сложившийся поэт. Из его стихотворений любители поэзии сочувственно встретили только одно – «Мостовая».

Выступавшие студенты и преподаватели ([И.] Полоцк, [Т.И.] Пабауская [Pabauska], [Т.Я.] Гринфельд) единодушно осудили «произведения» [Н.] Однопозова, отражающие индивидуализм, содержащие политические ошибки.

В заключение вечера выступил писатель Н.Задорнов. Он резонно заявил, что на вечера поэзии надо приглашать членов Союза советских писателей – поэтов, а не прозаиков. Опытный писатель интересно поставил вопросы идейной и художественной ясности, народности, общественной активности и ответственности и других настоящих достоинств поэзии.

В подготовке и проведении вечера обнаружились серьезные недостатки и ошибки организационного порядка. Прежде всего, выявилось, что молодые поэты плохо воспитываются, их творчество часто лишено высоких идей, духа времени. Однопозов позволил себе nepозволительное: читал вредные стихи, чтение которых не предполагалось. Не были приглашены начинающие поэты с отделения латышского языка и литературы, а также энтузиасты литературы из рабочих молодежных коллективов; это свидетельствует о том, что наши молодые поэты стараются замкнуться, оторваться от большого коллек-

10. Padomju students. 1962. 27. apr. Ср. письмо 1962 г. студента-филолога Е.Т. в адрес призванного из ун-та на армейскую службу Б.Р.: «Фельетон сделал Бейну отличную рекламу. На вечере в университете он читал в какой-то аудитории, забитой любителями <...>. А. [Валерия Фомина, однокурсница Е.Т. и Б.Р.] рассказывает, что успех был дикий <...>. «Молодежь» напечатала Лессига и Жданову <...>. Открылось модное кафе «Jaunība» на углу Кирова и Стрелковой. Там полно пижонов и отроков 14-15 лет».

«Был у нас еще один вечер поэзии <...>. Вечер превратился в триумф Бейна. Я посылаю тебе фельетон про него из «Сов. Латвии». На обсуждении многие, и в том числе Пабауска! – заявили, что этот фельетон – грязная работа и что Бейна надо напечатать. Стихи действительно неплохие, особенно на фоне остальных выступавших. Кроме того, он хорошо читает. Из остальных лучше других был Дозорцев. Его собираются печатать. Он и Бейн, пожалуй, сейчас здесь лучшие. Официальную линию проводил Коля [Н.П.] Задорнов. Это тебе не [В.А.] Золотов. Демагог кошмарный, но поддержки не получил» // Собрание Б.Р.

тива. Не все преподаватели выступили с обсуждением прочитанных стихотворений. Никто из студентов и преподавателей не дал отпора неправильным выступлениям отдельных участников вечера.

В дальнейшем эти недостатки будут решительно устранены. <...>¹⁰.

Чуть позднее обстрелу подверглось молодежное кафе, открытое при содействии райкома комсомола и почти мгновенно превратившееся в рассадник поэтического свободомыслия.

* * *

В. МАТРОСОВ

В ТУМАНЕ У ПАРНАСА

1. «Кафейные мальчики» и «кафейные девочки»

Кафе напоминало аквариум. Девочки с высокими прическами и в укороченных юбочках – декоративных рыбок. Они клевали коктейли и не сводили глаз с «мальчика».

Мальчик был бородат. Перед ним дымилась чашка кофе. Он старался выглядеть «пригвожденным к трактирной стойке». Он негромко взывал:

*Вам никогда не хочется
Поверить в какого-то бога,
В камень, который точится,
Или в датского дога?*

Я прислушался: что это? Заклинание?

«Мальчик» многозначительно смолк. Девочки вздохнули:

– Ах, какие стихи!

Оказывается, стихи! Любопытно:

*Ломать нас жизнь готовится,
И счастьем и верой обмерит.
Нам ведь нельзя уподобиться
Тем, кто действительно верит, –*

авторитетно закончил молодой бородач. Девочки восторженно переглянулись.

А за стеклом огромных окон кафе жила улица. И пронеслись так-си, и шли люди. Те, кто действительно верит. В счастье. В настоящее и будущее. Просто в жизнь. Молодой бородач не смотрел на улицу. Он смотрел в кофейную чашку.

– Простите, это ваши стихи? – спросил я.

Бородач усмехнулся:

– Стихи пишут поэты.

– А вы...

– Мы любители, – поспешила уточнить одна из девочек.

Что? Пушкин? «Пиковую даму» видели в кино... Блок? Багрицкий?

Любители поэзии перешли в контратаку:

– А Хемингуэй? А Ремарк? А Экзюпери?

Почему им нравятся эти писатели? Девочки с надеждой посмотрели на бородатого популяризатора.

– Они пишут с внутренней свободой! – снисходительно сообщил он.

– Они современные, понимаете, – нашлись и девочки.

Официантка¹¹ подала им мороженое.

– Между прочим, – охотно просветил меня юный сосед по столику, читать стихи в кафе – очень современно!

Современно! Под этим как-то ближе подразумеваются полеты спутников и космических кораблей, здания из стекла и металла, каскады энергогигантов. Современно – это грандиозная битва народов за мир и жизнь, за коммунизм и счастье.

«Кафейные мальчики» тоже говорят: «современно». Это слово у них теперь в ходу. Уважающая себя «кафейная девочка» не скажет, например, что туфли на шпильках или с обрубленными носами – модны. Нет, она скажет, такие туфли современные. И стены у нее в квартире современные, потому что выкрашены в разные цвета. И время проводит она с мальчиком вполне современным, потому что он носит штаны без манжет и читает стихи, вроде:

*Меня прижало
Судьбы кольцо.*

*На дне бокала
Твое лицо.*

11. См.: «Для вновь открываемого кафе «Юность» [требуется] официантки, имеющие среднее образование // Ригас Балсс. 1961. 9 нояб. Ср.: «Читатель нашей газеты т. Урстинь в своем письме жаловался на беспорядки в кафе «Яуниба». <...>... официантка Каловинская обсчитала посетителей. Мы написали письмо заместителю начальника Управления торговли г. Риги т. Солопову. В ответе говорится, что приведенные в письме факты обсуждались на собрании коллектива кафе с участием представителей Управления торговли. Официантка Каловинская переведена на работу уборщицы. (По следам неопубликованных материалов // Ригас Балсс. 1962. 3 апр.)

Загадка? Неважно. Зато под давлением коктейлей такие стихи могут вызвать ассоциации или навести на душещипательный транс. А главное, они нигде, никогда не печатались, их достать так же трудно, как пару бразильских носков или пачку жевательной резинки. Послушав такие стихи, при случае можно похвалиться:

– Мальчики опять читали стихи. Такие... Хоть стой, хоть падай!

Небрежные мальчики и модные девочки часами высиживают в кафе. Одни из них учатся и не работают, другие время от времени работают и нигде не учатся. Одни пьют кофе на средства пап и мам, другие – в долг. В клубах им скучно, современные роки запрещаются. Кино? Ленты-люкс бывают не так часто. Концерт? – Ну разве, если приедет современный джаз или знаменитость! Вот на диспутах иногда бывает забавно. На диспутах спорят. И тогда с места можно прокричать через весь зал:

– Устарело! Надоели высокие слова! Даешь современность!

Стихи очень удобно читать в кафе. Втихомолку. В тесном кругу. Стихи – это модно. Как ситцевое платье, как галстук-бабочка. За кофейным столиком можно удивить собеседников «смелыми» мыслями, «оригинальными» суждениями – это тоже модно.

А почему бы и не читать стихи в кафе? – спросит иной читатель. В самом деле, почему? Помните, на одном из высоких собраний в Союзе писателей Латвии разгорелся спор. Одни утверждали: Парнас и кафе – не совместимы! Другие сомневались: может, здесь и нет ничего дурного?..

Раза два или три в кафе «Юность» приглашались молодые поэты. Они читали стихи. Одни – удачные, другие – не очень. Но читали не исподтишка, а открыто, во весь голос. И в этом не было ничего дурного. И слушали их не кофейные завсегдатаи, а парни и девчата с заводов, молодые интеллигенты.

Но тогда в кафе действовал молодежный совет. Он был связан с комсомольскими организациями города и вместе с администрацией устраивал литературные встречи, вечера молодежи. А потом работники Пролетарского райкома комсомола «охладели» к кафе, совет распался.

Кафе с поэтическим названием «Юность» стало обителью «стильной» публики¹².

Здесь нет ни газет, ни журналов. Здесь просто подают коктейли и поет радиола.

В этом кафе пестрые стены, и светильники свисают с потолка разноцветные, словно поплавки. И столы, и стулья, и двери современные. Оно слывет «молодежным». Правда, Рижский горком официально не признает его. Оказывается, это просто торговая точка и название «Юность» ей дали «по недоразумению». Но среди молодых людей кафе популярно. И мне кажется, нет ничего предосудительного, если Пролетарский райком комсомола возобновит шефство над «Юностью». Пусть за чашкой кофе встречаются парни и девушки с заводов, молодые ученые, врачи, учителя, артисты, художники, композиторы, поэты. Пусть в кафе говорят о поэзии и искусстве. О том, как красиво прожить жизнь. Пусть вместо монотонных блюзов и застольных виршей зазвучат во весь голос хорошие стихи, жизнерадостные песни, красивая музыка.

12. Кафе открылось в январе 1962 г. См. об этом: До свиданья в кафе «Юность»! // Ригас Балсс. 1962. 19 янв.; Первый вечер поэзии здесь состоялся уже 26 янв. См. об этом: Ю.Лапин, студент историко-филологического факультета ЛГУ. Такова ли ЮНОСТЬ? (Ригас Балсс. 1962. 5 февр.). В статье упоминаются: В.Дозорцев, Л.Жданова, Б.Куняев, В.Лессиг, Н.Однопозов, В.Филатов, артист ТЮЗа А.Астров; содержится неодобрительный отзыв о стихах Н.Однопозова, критически оценивается оформление кафе художником С.Шегельманом: «образцы того самого абстрактного искусства с элементами дурно понятого модернизма». Помимо «Юности» («Jaunība») в истории рижской молодежной контр-культуры чаще других упоминаются два кафе в Старом городе. Одно, в обиходе именовавшееся «Дубль» (в честь подававшегося здесь «двойного кофе»), открылось 27 мая 1961 г. (См. об этом: Приветливо встречают посетителей в новом кафе, которое сегодня открылось на улице Ленина, 6 // Ригас Балсс. 1961. 27 мая. С.4); другое (ул. Вальню, 12) – «Спутник», в обиходе – «Kaza», будто бы названное так в честь установленного здесь венгерского кофейного автомата с отдаленно похожим названием, открылось 8 марта 1960 г. (см. об этом: Первый обед в новом кафе // Ригас Балсс. 1960. 9 марта. Кафе «Kaza» и его обитатели запечатлены в сборнике «Nenocenzētie. Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gs. 60-tie un 70-tie gadi». Sast. E.Valpēters. (R. Latvijas Vēstnesis. 2010) и в документальном кинофильме Л.Жургиной «Kaza kāpa debesīs». (Latvija. 2019). Кофе в 60-е годы – ритуальный напиток; иной из «шестидесятников» навсегда запомнил, когда и где впервые была выпита чашка натурального кофе, кто проводил «мастер-класс».

2. Арлекины

Чьи же вирши гуляют по кафежным столикам? Кто творит на альбомы мещаночек? Кто поддает жару в окололитературный треп в кафе? Есть такие... Кафейные поэты. Одни «заседают» в кафе «Юность», другие – в так называемом «Дубль», а третьи предпочитают домашний салон. Иногда они навещаются в редакции или в Союз писателей с претензией на признание. Но чаще встречаются друг с другом за чашкой кофе. Это не мешает им враждовать и при случае ставить друг другу подножку.

Однажды к нам в редакцию пожаловали два молодых человека. Оба достаточно учтивые. Оба очень вежливые. Они принесли фельетон. Один назвался Афанасьевым, другой – Геролем¹³. Фельетон был в прозе. Литературно беспомощен, но достаточно зол. Авторы разносили в пух и прах своего же барда по перу и кофейной чашке.

Фельетон редакция отвергла как мало обоснованный. Но авторы производили самое приятное впечатление. С возгоранием в очах они рассуждали о чистоте в поэзии, об ответственности поэта, пусть даже молодого, за каждое слово, о высокой гражданственности советского литератора. Они негодовали по адресу литературных проходимцев. Илья Героль, между прочим, намекнул, что он и сам пишет стихи, новеллы, сценарии, он учится в университете и нашел призвание на поприще радиожурналистики.

Потом я слушал его по радио... Потом в кафе. Нет, не самого. Его стихи вещались устами бородатого мальчика. Образчики ради наглядности я привел выше.

Оказывается, по радио Илья зовет к жизнелюбию, к вере в самое разумное, светлое, а в кругу единомышленников недобро ворчит на жизнь. «Безжалостно жизнь обнажила нам дно в самом начале пути». И каких только перлов нет в сброшюрованной, словно приготовленной для издания, рукописи. И поэтические изошрения вроде «Чуждые чары чернеющих снов». И ненависть к лучшим человеческим чувствам. И откровенный цинизм и просто матерщина.

Диву даешься, что за духовный строй у этого молодого парня. Откуда в нем столько желчности? И где же искренен Илья Героль? У микрофона республиканского радиокomiteта или...

13. Об А.Афанасьеве и И.Героле см. ниже, в разделе: «Выборочный указатель имен».

...Когда-то в XVII столетии во Франции публичные представления не обходились без Арлекина (Дзанни) – хитрого, злоязычного интригана в черной маске и костюме из правильных треугольников красного, желтого и зеленого цвета. Арлекин был воплощением лицемерия [? – Б.Р.].

Илья Героль выдает себя за Арлекина. В программном, известном его окружению, а также «кафейным мальчикам» и «кафейным девочкам» опусе он говорит о себе:

*Закутав злобу глаз улыбкой,
Подобно черному плащу,
Я – Арлекин на сцене зыбкой,
Пощечин жизни не прошу.*

Что верно, то верно – сцена под ногами новоявленного Арлекина действительно зыбкая.

В противоположность Илье Геролю его коллега Наум Однопозов «не кутает улыбкой злобу глаз». Он в одной и той же позе сочиняет стишки с претензией и малограмотно. Однопозов – врач. Он лечит. Не мешало бы ему и самому излечиться от «поэтического» бреда, а тем более от мании выкладывать его публично. Как бы ни отличались «кафейные» поэты друг от друга, суть явления их одна и та же.

Фланируя в модном пиджаке, мещанин желает модернизироваться и духовно. Не отставать же от жизни! Ему все равно – нацепить на лацкан пиджака новый значок или вызубрить фразу из Хемингуэя. Порой он и сам берется за перо. Сочиняет. Да так, чтоб удивить, поразить, отличаться. Чтoб заметили только его. Его индивидуальность. Вот тогда и выходит на литературную сцену очередной Арлекин.

3. Ищущие – заблудшие

<Чтение стихов молодым поэтом П.Соколовым, чье детство прошло на фронтовых дорогах, в чьих стихах «звенела любовь к людям, жизни, труду».>

И вот чтец смолк. Посмотрел в зал устало и доверчиво: что вы скажете, друзья?

И ему ответили с задних рядов:

– Старо! Несовременно!

– Бодрячество... Разве это стихи?

Крикунов попросили выступить открыто. Притихли.

В зале сидели молодые поэты, сверстники Соколова. Конечно, они должны были бы поддержать товарища, объективно оценить его творчество. И молодые поэты взяли слово. Дозорцев и Феодоров. Говорили невнятно и путано о том, что сейчас так не пишут, что надо учиться у Экзюпери и еще у кого-то.

Притаившиеся в углах окололитературные мещане воспряли духом. Подняли шум.

Этот некрасивый случай можно было бы и не вспоминать. Но он имеет прямую связь с убеждениями некоторых молодых литераторов – студентов.

Это умные, способные, любящие литературное творчество ребята. Они выступают с лекциями на предприятиях и в университетах культуры, устраивают читательские конференции. Многие из них сами пишут стихи и рассказы.

Они объявляют себя поколением ищущим. Они ищут. Отлично! Но что ищут. Где?

Можно искать драгоценные граммы радия, переворачивая тонны руды, а можно копаться на мусорной свалке, подбирая вышедшие из употребления вещи. Можно искать на пути, освещенном солнцем, а можно блуждать по болоту и шарить в тумане.

Ребята, о которых идет речь, бродят в тумане. Что они ищут? Сами толком не знают. Они хотят взобраться на Парнас, говорить оттуда только своим голосом.

Пока их голоса слышны не на Парнасе, а где-то около. <...>.

Один из последних диспутов обещал быть интересным. <...>.

Выступали Л. Гуревич¹⁴, В. Дозорцев, Е. Феодоров. Они справедливо превозносили важность таланта в литературном творчестве. Но при этом ратовали и за какую-то такую внутреннюю свободу таланта от каких бы то ни было задач. Неважно, мол, что создает писатель. Было бы талантливо. И идейность произведения совсем не обязательна. <...>. Ведь искусство – шарообразное зеркало, составленное из кусочков, которые отражают все (?). И, видите ли, не надо литературе ни отрицательных, ни положительных героев. И идеал при этом вроде бы и ни к чему. А разговоры о типичности так и совсем устарели. <...>.

Мы развенчали культ личности. <...>. Кое-кто из молодых воспринял критику культа личности чуть ли не как отрицание всего, что было сделано в советской литературе, в искусстве.

14. О Л.Гуревиче см. ниже, в разделе: «Выборочный указатель имен».

Одни, закрывая глаза на огромные духовные ценности, накопленные народом, выискивают клады на чужих полках, другие пытаются перетряхнуть, перекроить на новый лад старое, обветшалое. <...>¹⁵.

* * * *

Казалось бы – можно и остановиться. Но 1 декабря в Манеже, на выставке художников студии «Новая реальность», гневными репликами разразился Н.С.Хрущев.

Пришлось начинать все сначала, точнее, продолжить исконное.

Через несколько дней после Манежа, в «Правде», 7 декабря, появилась статья ее рижского корреспондента.

15. Советская молодежь. 1962. 15 июля. В.Матросов является автором еще одной аналогичной по направлению статьи – «Спиной к жизни» (Сов. молодежь. 1958. 21 марта), посвященной «разбору» рукописного альманаха студентов-филологов Лат. ун-та. О В.Матросове еще см. ниже, в разделе «Выборочный указатель имен».

Помимо преподавателей университета, журналистов, комсомольских и партийных работников, в борьбу за чистоту молодежных рядов вступили и литераторы, на вечерах, диспутах и в печати. См., например: М.Зорин. Смена идет // Советская молодежь. 1962. 1 апр.; В.Золотов. Смелее! К Всесоюзному совещанию молодых писателей // Там же. 1962. 21 нояб.; В.Алатырцев, поэт. За боевую поэзию // Там же. 1963. № 57. 22 марта; он же: Воспитывать молодых литераторов // Советская Латвия. 1963. 10 апр. Среди писателей самым яростным борцом «за правое дело» оказался В.Алатырцев, в его «проскрипционных» списках: Л.Азарова, Э.Вилкс, О.Вацietис, В.Белшевица, В.Дозорцев, В.Елизарова, И.Дроздов, Л.Жданова (почему-то особо «расчехвостенная»), О.Зашибина, Л.Копылова, М.Крома, В.Лессиг (второй по степени «расчехвостенности»), Л.Черевичник. Для подзабытого образца «партийной критики» приведем посвященную В.Лессигу выдержку из статьи В.Алатырцева «За боевую поэзию»: «Двусмысленные утверждения, ошибочные взгляды и формулировки есть и в стихах начинающего автора В.Лессига. Вот он пишет: "Мои стихи – мое наитие, // Мои – любовь, и гнев, и боль. // Мои падения и открытия, // Мой бой за то, чтоб быть собой». <...>". Но из стихотворения В.Лессига совсем не ясно, к кому же обращены его любовь и гнев, о чем его боль, что за открытия он совершает в минуты своего «наития» и надо ли этому радоваться. И потому читатель остается равнодушным к копанию автора в самом себе. Стихотворение написано непродуманно, без должной ответственности перед читателем. Двусмысленна последняя строчка». Впрочем, надо учесть, что стихи Алатырцева появились после 7 марта 1963 года, после так наз. встречи Н.С.Хрущева с интеллигенцией.



Кафе «Юность». 1962 г.? Читает стихи Вс. Лессиг; за первым столиком: Б.Куняев, за ним – И.Цыгальская, С.Рубинчик (в профиль); за вторым – Г.Волосникова (в девичестве Рогачевская), Г.-А.Конишин (с галстуком), Н.Конишина (в девичестве Павлович); за последним столиком – справа на первом плане А.Волосников (в профиль), за ним (у стены) – О.Вилните // Собрание И.Цыгальской.

И. ДИЖБИТ

ПУСТЬ ДЕРЕВЦА ТЯНУТСЯ К СОЛНЦУ

Встреча с Иваном Яхимовичем¹⁶, товарищем по студенческой скамье, была неожиданной. Окончив филологический факультет, он сначала учительствовал в родной Латгалии, а несколько лет назад был избран председателем колхоза.

Дочерна загоревший, сухощавый Иван при встрече рассказывал о видах на урожай, сетовал на неверную погоду Балтики. А затем неожиданно перевел разговор на стихи.

Очень внимательно следит председатель колхоза за новинками поэзии, за литературной жизнью республики. Да и не мудрено – он по образованию филолог, любит и сам пишет стихи.

16. Яхимович Иван – см. о нем ниже, в разделе «Выборочный указатель имен».

И хотя командировка в Ригу была недолгой, Яхимович улучил часок, чтобы забежать на огонек «Горизонта», литературного объединения при редакции республиканской газеты «Советская молодежь».

Разговоры на этом вечере поразили нас своим тоном. Выступавшие огульно сбрасывали с корабля современности одного известного поэта за другим. Традиционны, мол, они, скучны, не чувствуют духа века. Сейчас нужно что-то другое. Чем же они предлагают заменить «устаревшую» поэзию?

Вот читает свои стихи студент В.Дозорцев:

...Тысячелетьем выученный бог.

Прогромыхав

Гигантами парабол.

Я ухвачу Луну за чинный бок

И крутану, как заспанную бабу.

В таком же духе были и другие стихи, прочитанные на этом вечере.

Нет, они не могли понравиться Ивану Яхимовичу¹⁷.

– О чем ты пишешь стихи? – спросил он одного из молодых поэтов.

– О времени и о себе, – гордо ответил тот.

– А что ты знаешь о времени?..

Ответа не последовало, да и отвечать-то было нечего.

В этот вечер долго и горячо говорили мы с Яхимовичем о праве человека на песню.

– Поэт, – настаивал мой товарищ, – прежде всего должен иметь, что сказать людям. А что может сказать им, например, Иосиф Бейн из «Горизонта»?

Ему под тридцать. Но этот великовозрастный юнец нигде не работал и не работает. И не удивительно, что в «активе» у Бейна десяток стихотворений, в основном, о Риме, Париже, где он никогда не был. <...>.

17. Ср. финал рецензии одного из преподавателей кафедры русской литературы ЛУ на опубликованные в университетской газете (1 и 9 июня 1961 г.) стихи В.Дозорцева: «Итак, стихотворения рекомендованного поэта или стары, как "мир" <...>, или ошибочны идейно. Над этим надо серьезно подумать и Владилену Дозорцеву, и редколлегии «Падомью студентс». (М.Николаев. Неудачная рекомендация // Padomju Students. 1961. 1. jūl.) Позднее рецензент извинился перед автором стихов за этот вынужденный обстоятельствами отзыв. (См. об этом: В.Дозорцев. Настоящее прошедшее время. Р. 2009. С.36.)

Как-то местные газеты опубликовали несколько стихотворений членов литературного объединения «Горизонт» В.Лессига, В.Дозорцева, И.Бейна. И не успели эти молодые люди остыть от восторженных отзывов «окололитературных поклонников», таких же незрелых, как и они сами, а в газете «Ригас Балсс» появилось объявление: «До начала киносеанса перед зрителями выступят поэты...»¹⁸. Не рано ли именовать их так? Да и как у самих начинающих хватает смелости читать перед многолюдным залом стишки вроде тех, что мы услышали на встрече в редакции «Советская молодежь»?

– Откуда берутся такие нытики? – возмутился тогда председатель колхоза Иван Яхимович. – Ведь многие со школьной скамьи... <...>.

Как-то на филологическом факультете Латвийского университета состоялся диспут о современной литературе. О чем же говорили на нем студенты? В первую очередь, утверждали некоторые, нужна талантливость писателя. О чем он пишет, не важно. Главное – модерн, а правда жизни – понятие устаревшее. Идейность же и вовсе не является главным в художественном творчестве...

Преподаватели, слушая студентов, искренне удивлялись: откуда это? Ведь в их зачетных книжках отличные оценки по теории литературы!

Знать взгляды учащейся молодежи на литературу и искусство, помогать ей разобраться в сложных явлениях жизни – вот чего должны добиваться преподаватели. И на помощь им должны прийти литераторы, требовательные, взыскательные и чуткие.

– Каждый день к нам в Союз писателей приносят юноши и девушки свои первые стихи, – говорит известный латышский писатель Юлий Ванаг, – в Риге насчитывается до трехсот молодых литераторов, пятидесяти из них в последние годы уже вручены членские билеты союза.

– Почему же не состоялось так долго готовившееся совещание молодых поэтов республики? – спросили мы.

– По вине ЦК комсомола Латвии, – отвечает Ванаг. – И вообще, – добавляет писатель, – комсомол мало заботится о воспитании талантов...

18. См.: «В кинотеатре “Комъяуниетис” 22 июля в 21.30 состоится встреча кинозрителей с молодыми поэтами Иосифом Бейном, Всеволодом Лессигом, Владленом Дозорцевым. После встречи фильм «Веселые истории» // Ригас Балсс. 1962. 12 июля.

Да, претензии справедливы, хотя они не снимают вину с Союза писателей. Взять хотя бы встречу молодых поэтов в клубе «Горизонт», на котором присутствовал председатель колхоза Иван Яхимович. <...>. Комсомольские же работники, известные писатели, к сожалению, забыли дорогу на такие диспуты. И комсомол, и Союз писателей очень слабо влияют на воспитание тянущейся к литературе молодежи.

Конечно, наша замечательная действительность, кипучая и многогранная жизнь поправит ошибающихся, поможет им выработать правильные взгляды, определит их место в общем строю. Но, как справедливо говорил на XXII съезде КПСС товарищ Хрущев, если молодые посадки плодовых деревьев в той или иной степени повреждены, то сколько труда нужно затратить, чтобы их выводить и выровнять, да и не всегда это удается.

Чтобы цветение юности было еще более прекрасным, надо всеми средствами помогать молодым деревцам тянуться к солнцу. Надо оберегать начинающих литераторов от богемных настроений, умело напоминать им, что хорошим поэтом может быть только хороший гражданин своей страны. Надо оберегать начинающих литераторов от богемных настроений, умело напоминать им, что хорошим поэтом может быть только хороший гражданин своей страны¹⁹.

Отдельные подробности сюжета см. ниже в «Выборочном указателе имен» и «Приложении».

Выборочный указатель имен

АФНАСЬЕВ Игорь Михайлович (ок. 1936-2013. Москва), студент Лат. гос. ун-та (далее: ЛУ), спецкор газеты «Пионерская правда» в Риге, с переездом в Москву – в штате «Пионерской правды», работал на телевидении, в «Учительской газете». Автор книги «Не стреляйте в раду! Дети обвиняют империализм». (М.Планета. 1985). Фамилия «Афанасьев» частично отражена в псевдониме А.Фагер (курсив наш. – Б.Р.)

БЕЙН Иосиф Зельманович [!] (1934. Шепетовка – 2011. Хайфа. (Израиль) Окончил Рижскую 22-ю среднюю школу и один курс факультета иностранных языков Рижского педагогического ин-та (IX.1952-IX.1953 гг.).

19. Судя по зафиксированному в статье загару председателя колхоза И.Яхимовича и его беспокойстве о текущем урожае, дело происходило летом. Полагаем, что статья была создана почти одновременно с опусом Матросова (лето 1962 г.), по каким-то причинам отставлена и извлечена была на свет божий в качестве оперативной реакции на гнев Н.С.Хрущева в отношении «так наз. современного искусства».



Слева направо: студенты Рижского пед. ин-та и Лат. ун-та Иван Яхимович, Иосиф Бейн, Ояр Вацетис. Рига. Первомайская демонстрация 1954 г.?
// *Literatūra un Māksla*. 1990. 10. martā. 6. lpp.



Фотографии представителей семьи И.Бейна из документов на эмиграцию

IX.1954-II.1956 – Служба в Советской армии (Дальний Восток), музыкант (барабаны) духового оркестра.

[1956-1962 – Большую часть этих лет прожил в Ленинграде, в Ригу вернулся в 1960-1961 гг.

1963-1964 – Культорг санатория «Майори». Юрмала.

1964-1965 – Культработник Дома культуры профсоюзов. Рига.

1965-1965 – Культработник Дома культуры «Зиемельблазма». Рига.

1965-1969 – Культработник Рижской базы рефрижераторного флота.

1970-1970 – Доставщик телеграмм. Рига.

IX.1970 – не работает

Жена – Истомина Нина Яковлевна (ур. Тавткевич Нина Антоновна), род. 1938, Ленинград.

Дети:

Басишва, 1958, Ленинград, Иммануил, 1959, г. Пушкин

Давид, 1960, г. Пушкин (скончался в 1961 г.)

Даниэль, 1961, Рига,

Рашель, 1964, Рига

Авива, 1965, Рига,

Нина (год. рожд.?), удочерение²⁰

20. Биографические сведения взяты из выездной анкеты И.Б. 1971 г. // *Personāla dokumentu valsts arhīvs*. Rīga. 3556 f. 1.a. 26081.l.

Одно из первых (первое?) стихотворений И.Бейна в печати: традиционно-комсомольское, помноженное на детали автобиографического свойства, – «Школа («С букварем спешил по улицам, по скверам...»)»²¹. Во время армейской службы печатался в газете военного ведомства «На страже Родины» (Советская Гавань), по крайней мере, здесь было опубликовано его стихотворение «Ручей»²². Комиссовавшись в 1956 г., Бейн неудачно поступал на иняз в Ленинградский университет. Насколько мы понимаем, приблизительно тогда же им была предпринята попытка войти в ленинградскую поэтическую среду. Возможно, в какой-то степени этому мог содействовать Михаил Красильников – один из основателей так. наз. ленинградской филологической школы (она же – неофутуристы, она же – «Круг Михаила Красильникова»), выпускник той же рижской школы, что и И.Бейн. В силу своей поэтической ориентации в круг Красильникова Бейн войти не мог, но имя его (в ироническом контексте?) мелькнуло в дневнике и переписке М.Красильникова, по политическим мотивам арестованного в 1956 г. и осужденного на 4 года. Ю.Михайлов, товарищ Красильникова по Ленинградскому университету, писал ему 15 окт. 1957 г. в лагерь: «В дни фестиваля в «Смене» появилось стихотворение Бейна, и опять о голубях»²³.

И.Бейн, теперь уже определенно в ироническом контексте, упомянут в одном из интервью А.Наймана конца 1980-х гг., в частности, посвященном его (Наймана) знакомству с Бродским в конце 1950-х гг.: «...я вспоминаю, таких тогдашних Бродских было человека три в Ленинграде. Одного даже звали Иосиф. Ну, фамилия там какой-нибудь Бейн. И еще кто-то такой. Тоже такие громкие, громкоголосые евреи, которые читали стихи. Их все время тоже выпихивали откуда-то. С ними была связана репутация, подрывавшая миропорядок»²⁴.

В ответ на наш вопрос о Бейне в ленинградском поэтическом и околопоэтическом мире своими впечатлениями поделился Д.Бобышев:

21. Советская молодежь. 1953. 24 окт.

22. См. об этом в очерке, посвященном И.Б.: И.Миль. Человек с планеты Поэзия // Заметки по еврейской истории. 2014. №3 (<http://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer3/IMill.php>).

23. Цит. по копии из собрания Б.Р.

24. См.: В.Полухина. Бродский глазами современников. СПб. 1997. Том 1. С.33.

«6.03.2020. Нет, никаких материалов касательно Иосифа Бейна у меня нет. Разве что смутное воспоминание о единственной встрече с ним в 60-е, что ли, годы. Это было на Невском проспекте в солнечный и довольно тёплый день в межсезонье. У дома Энгельгардта (Малый зал Филармонии) ко мне обратился некий молодой человек в шляпе и представился поэтом Бейном. Видимо, он знал меня в лицо, я его не знал. Он тут же стал читать стихи, довольно патетические, манерой напоминающие Евгения Рейна, моего тогдашнего приятеля. Но стихи Бейна мне не показались лучше стихов Рейна, и вообще мне показалось парадоксальным и избыточным существование двух поэтов с отличием лишь в одну букву. Так что энтузиазма у меня его стихи не встретили. Не помню, что я тогда сказал ему – думаю, что нечто нейтральное и незаинтересованное. И на том мы расстались».

Бейн, с его дубль-рыжевизной, именем и фамилией, – одновременная аллюзия и на Бродского и на Рейна, не вписывался в вождеденный круг.

Одна попытка войти в искомую среду все же, с некоторыми издержками, удалась. Вспоминал К.Кузьминский, позднее – составитель знаменитой «Антологии новейшей поэзии У голубой лагуны» (далее: «У голубой лагуны»): «Поэта Иосифа Бейна просто придется упомянуть нехорошими словами. Внешне он похож на обезьяну – я помню, как он висел на решетке Института народов Азии /или Африки?/ году в 63-м.²⁵ Там выступал Бродский, кажется, с Найманом и Бобышевым, Бейн попросился тоже, я передал Иосифу рижскую газету со стихами Бейна и Иосиф представил его. В благодарность Бейн украл единственный экземпляр нашего сборника Бродского у Гришки-слепого [Григория Ковалева – сосоставителя Антологии] на каком-то следующем поэтическом чтении, в 1-й Пятилетке²⁶. Больше я его не видел. Сборника – тоже»²⁷. Такая характеристика, данная Кузьминским Бейну, не помешала составителю антологии включить вопиющий глас Бейна и его стихи в «Голубую лагуну» – значительным объемом.

Если же говорить о Риге, то здесь и тогда И.Бейн вполне представ-

25. Несколько позднее К.Кузьминский датирует эпизод 1962 годом, что вероятнее. См.: КККузьминский о себе – чужими словами // (<https://kkk-bluelagoon.ru/tom2b/pks.htm>).

26. Дворец культуры им. 1-й Пятилетки – место, в истории ленинградской поэзии отмеченное.

лял собой поэта, и не только стихами, которые, как вспоминают, он читал «на разрыв аорты», но и «поэтическим» бытом. Кем-то И.Бейн воспринимался как юродивый, как дервиш, одержимый стихами. Риге нужен был такой поэт, и его стихи, и он сам. Ему (как и многим в ту пору, но не всем) прощали сочинения во славу советского образа жизни и мысли, а ценили строчки, типа:

*И пряча старое лицо,
Спит улица продажной женщиной...
Трамвай, ты с улицей невенчаный,
Напрасно даришь ей кольцо²⁸.*

Каким видится И.Бейн и его стихи в представлениях о нем и о них:

«Бейн «способен был на ходу, экспромтом сразу сочинить целую поэму. Острил, балагурил. Почему-то все думали, что он заядлый холостяк. Но однажды Бейн нас поразил – пришел на какую-то поэтическую вечеринку с женой, и тут оказалось, что у него чуть ли не семеро детей. Если Лессига изредка печатали в местных газетах, то Бейна не печатали вообще²⁹. Считалось, что он слишком «воздушно» пишет, чтобы публиковаться рядом с нашими рижскими официально при-

27. Антология новейшей русской поэзии У голубой лагуны в 5 томах. [1980-1986.] Т. 26. Цит. по: (<https://kkk-bluelagoon.ru/tom2b/pks.htm>). В 1962 г. в «Советской молодежи» были опубликованы следующие стихи Бейна: «Костер», «Но пасаран», «Суд идет», фрагменты цикла «...И выйдут поезда из тупика» («Была война», «Трамвайное кольцо», «Памяти расстрелянных...», «...И выйдут поезда из тупика»), «Дай руку, товарищ. Ветерану фестивалей» // Советская молодежь. Соответственно, 12, 27 мая, 8, 22 28 июля. В газете «Ригас Балсс» 6 ноября 1962 г. был напечатан «вольный перевод с немецкого» стихотворения Макса Циммермана (а был ли такой поэт?) «Рядом с тобой» ("Напрасно беснуются янки – у них ничего не выйдет..."). За исключением «...И выйдут поезда из тупика» и «Трамвайное кольцо», все остальные публикации Бейна в рижских газетах 1962 г. вряд ли могли быть приняты Кузьминским для чтения. Но м.б. не стихи, а фельетон «Муза из подворотни» был представлен И.Б. в качестве пропуска на сцену?

28. Строчки из стихотворения «Трамвайное кольцо» // Советская молодежь. 1962. 22 июля.

29. Для первой половины 1960-х гг. некоторое преувеличение. Ср., напр., сноску №26. Дважды в 1960-х гг. И.Б. печатался и по-латышски: Pie komunāra sienas. (Пер. М.Čaklais) // Literatūra un Māksla. 1962. 17. martā.; Zvērests. Пер. Н.Škuja // Rīgas Balss. 1964. 22.febr.

знанными пиитами Куняевым и Алатырцевым. Ну, никак нельзя было представить себе его стихи на одной газетной полосе с ними. Или в литературном журнале «Парус», который редактировал Куняев³⁰. Потом Бейн уехал в Израиль и как поэт там, к сожалению, так и не состоялся³¹.

«Самый забавный человечек – Иосиф Бейн. Музыкант. Служил в Советской Армии, кажется – на Дальнем Востоке. Бегал по городу согбенный, с папочкой подмышкой. Профессиональный несчастный. Потому от всех требовал помощи. Стихи мог накручивать верстами, жонглер и игрок, версификатор. Писать мог о чем угодно. О ма-о-дзе-дуне[!], о чайках, о, лишь бы читали, печатали, говорили. Посылал во все концы. Даже – Аджубею. Замечательна сцена – Бейн ведет детей в кинотеатр "Пионерис", прохожий думал, что частный детский сад идет /может и стучать бежал/, и еще – "Бейн и пятеро детей".

В Израиле Иосифу удалось несколько раз поднять шум, что общество не кормит русского поэта. <...>. Последние стихи ИБ посвящены вечной разлуке с женой, которую не разрешили похоронить на еврейском кладбище /журнал "Круг"/. Но и в них много поэмы и жонглирования. Что ж – каждый как может. Среди рижан, однако, Бейн почти единственный что-то представлял собой»³².

«Кстати, русские поэты в Израиле – включая самых бездарных и в особенности самые бездарные – умудряются годами жить на какие-то стипендии от «Сохнута» (Jewish Agency) и других организаций, занимающихся грантами. На эту стипендию машину и виллу не купить, роскошествовать не будешь, в кругосветное путешествие не поедешь, но жить можно. Иосиф Бейн, паразит полнейший (это не ругательство, а констатация экономического факта), уже шесть лет умудряется с тремя детьми жить на разные стипендии и благотворительные пожертвования, издает за счет этих пожертвований сборники своих стихов[?], да еще за это время пару раз за чужой же счет съездил за границу, где пропагандировал свою поэзию».

30. Ср.: И.Бейн. «Воспоминаний ветер гонит...» // Парус. 1960. № 2. С.183.

31. Г.Гайлит. Мальчик на дельфине. Воспоминания и размышления. Рига. Rīdzene-1.2013. С.77.

32. И.Малер. О других и о себе // У голубой лагуны. Т. 3а. Цит. по: (<https://kkk-bluelagoon.ru/tom3a/maler.htm>). Очерк И.Малера посвящен рижской литературной и художественной жизни Риги 1960-х гг.

В ответ тот же Кузьминский:

«<...> я его [Бейна] выпустил на чтении Бродского-Наймана в институте народов Азии, согласовав с Осей. Тогда ничего поэт был. А сейчас – встречаю его только по стишку тут и там, не впечатляет. Может, правда, в сборниках что есть. Но где их взять? <...>. Насчет того, что Бейн паразит, так все мы – паразиты. В России меня матушка кормила, здесь – жена. На фондах, правда, не паразитирую, только «на живой ткани». Работать, правда, приходится больше мне, но зарабатывать – Мышке [жене. – Б.Р.]»³³.

«Любимцем молодых людей был поэт Иосиф Бейн, знаменитый так называемыми хорошими строчками, в том числе "Вокзал шумел, как тысячи цыганок, которых ревность привела в экстаз"³⁴.

«Вообще-то, если говорить о богеме, несмотря на неопределенность этого понятия, следует прежде всего, и, может быть, единственно, сказать о поэте Иосифе Бейне, который действительно был богемным человеком, а не играл в богему. Даже трудно сказать, в чем это проявлялось, но я так чувствовал, и не только я. Бейна знала вся Рига, он оглушал, кого мог, своими стихами и принципиальной неустроенностью быта и всей жизни. С рыжеватой шевелюрой и бородой, он мог бы сойти за местного Иосифа Бродского (от него я и услышал впервые о Бродском), хотя сходство между ними было в основном то, что Бейна тоже обвиняли в тунеядстве, даже фельетон про него

33. Переписка. [Георгий Бен (переводчик, журналист) – Константин Кузьминский. 31 окт, 7 нояб. 1979 г.] Сост. Л.Мелихова // Крещатик, 2013. № 4 (<https://magazines.gorky.media/kreschatik/2013/4/perepiska-6.html>).

34. Р.Тименчик. Восемь с половиной сносок к статье об Изе Малере // Даугава. 1998. № 2. С.150. Источник цитируемых строчек – см. ниже (стихотворение «...И выйдут поезда из тупика»). Ср. строчку из стихотворения Г.Горбовского «Пес»: «Вокзал вздыхал в сто тысяч легких, народ стучал, кричал и мчал...».

35. В.Френкель. Право на одиночество в пустом кафе // Даугава. 2004. № 6. С.137.

36. См., напр.: Континент (1977, №. 12. С. 120-123; 1984. № 41. С. 210-13; Русская мысль. 1979. 1 февр.

37. Edited by A.Sumerkin. N.Y. Russica Publishers, INC.1987.

38. Франкфурт-на-Майне. Изд-во «Литературный европеец». 2017. Посвященный И.Б. «Венок триолетов» см.: В.Бетаки // Замыкание времени. Стихи разных лет. Paris. 1974. С. 17-19.

был, но, к счастью, не посадили. Бейн был старше нас лет на десять и, понятно, держался мэтром. Читал он свои стихи замечательно, я сам подпал под обаяние его голоса и чтения пока не прочитал его стихи глазами и не понял, что это мастерская имитация поэзии. Фигура Бейна послужила для меня и предостережением, что в богеме нельзя задерживаться слишком долго, чтобы привычный образ жизни не заменил само творчество. В начале 70-х Иосиф Бейн уехал в Израиль, не переменяв и там своего непостижимого образа жизни <...>³⁵.

В августе 1971 г. И.Бейн с семьей эмигрирует в Израиль, поселяется в Хайфе, ведет обычный для него образ жизни, продолжает писать, тяготеет все больше к поэмам, печатают его редко, но все же не без публикаций³⁶. В конце жизни, если верить слухам, слепнет, стихи свои, как и следует поэту, читает по памяти. Его творчество относительно широко представлено в Интернете. Сведения о нем вошли в справочник «Free Voices in Russian Literature, 1950s-1980s. A Bio-Bibliographical Guide»³⁷. Два его стихотворения («Посторонний» и «Солнце на пятнах») находим в третьем томе собранной В.Батшевым антологии «Сто лет русской зарубежной поэзии»³⁸. В 2011 году в Хайфе вышел сборник его стихов «Незримый крест», который нам не приходилось видеть.

* * *

Иосиф БЕЙН

... И ВЫЙДУТ ПОЕЗДА ИЗ ТУПИКА

Всю ночь о солнце бредил полустанок.
 Стояла осень – и в ненастный час
 Вокзал шумел как тысяча цыганок,
 Которых ревность привела в экстаз.
 Звучали, словно гимны лихолетий,
 Протяжные, тревожные смешки,
 И плакали осмеянные дети,
 Которых время спрятало в мешки.
 Вокзал шумел, и отражало эхо
 Весь этот рынок глаз и губ, и рук.
 И только звезды падали от смеха,
 И жутко пахло полночью вокруг...
 Гудки кричали, как кричат кликуши



Над пеплом разоренного гнезда.
 На всех чужих вокзалах равнодушья
 Зайдя в тупик, ржавеют поезда.
 Но верит старый служащий вокзала,
 Что в этой трижды проклятой ночи
 Перекуются веком на орала
 Давно свое отжившие мечи.
 Зря охраняют поданные ночи
 Шагами опечатанный перрон.
 Над Эльбой звезд сплошное многоточье,
 Поставленное Фауста пером.
 И свастикой клейменные знамена
 Поглотит Эльба – древняя река.
 И снова солнце выйдет на перроны,
 И выйдут поезда из тупика³⁹.

39. Здесь, в альманахе, при публикации стихотворения, нами опущена часть строчек, полагаем, пристегнутая автором к начальному тексту ради «проходимости» в газете «Советская молодежь» за 1962. 22 июля: «Про бундесвер бубнили барабаны, //Горланила в похмелье молодежь. // И было это слышать невтерпеж. //Просили подаяния слепые. //А свастика орала «Бей жидов!» // И может, так не ждали и Мессию, // Как ждали на вокзале поездов. <...>. Немало в прошлом проливалось крови, //Глушилось гулом: «Баюшки-баю!» //И юный, только выросший Бетховен, // Оглохший вдруг от грохотов в бою, //Вернулся в мир не для того, чтоб снова //Услышать сердцем в поздний час //Фашистское кощунственное слово, //Нацистские нетрезвые басы. //Пусть только дождь (что убежал из гетто) //По крышам барабанит – только дождь //Военных барабанов песня спета, //И заново рейхстаг не подожжешь».

Остановимся, хотя и финал стихотворения (последние восемь строк) и некоторые другие сохраненные нами строки тоже представляются навязанными автору внелитературными обстоятельствами (при том, что стихи И.Б. обладали вариативностью). Из сепарированных нами строчек в основной текст надо бы как-то перенести: « И может, так не ждали и Мессию, // Как ждали на вокзале поездов». И хорошо бы поменять оглавление (вернуть первоначальное?) Полагаем, что первоначально стихотворение называлось «Вокзал»; вероятно, именно о нем шла речь в фельетоне «Муза из подворотни» (см. выше).

БОРИН Юрий Борисович (1922-2012, США), журналист, сотрудник газет «Советская Латвия», «Ленинградская правда», журнала «Крокодил». С 1993 г. в эмиграции (США), печатался в русскоязычных изданиях, в т.ч. в газете «Балтиморская жизнь».

ГЕРОЛЬ Илья Моисеевич (Герол, Ilya Gerol; род. в 1940 г.), учился в ЛУ, окончил Даугавпилсский пед. ин-т (1962 г.; живет в Монреале, (Канада)), журналист, автор стихов и песен (среди последних – про БАМ, про комсомол, про космос («Этот день будет равен векам», «Комсомольские письма». «Магистраль», «Мы остаемся с комсомолом»...» и др.). В Риге И.Г. работал на радиостанции «Атлантика» (1962-1973) и в газете «Советская молодежь» (1973-1979). В эмиграции (Канада) с 1979 г.; активно печатался в англоязычных и русских изданиях. Псевдонимом И.Муромцев подписана его книга «Улица Ивара Лейманиса» (Рига. Лиесма. 1977, в соавторстве с Л.Малинским, переведена на лат. яз.)⁴⁰; в 1999-2006 гг. в С.-Петербурге были изданы его книги «Дедушка подождет, сказал ангел», «Невстреча» «Последняя тайна Иуды», «Роман о Романе [Абрамовиче]». Фамилия «Героль» частично отражена в коллективном псевдониме: А.Фагер (курсив наш. – Б.Р.)

ГУРЕВИЧ Леонид Михайлович (род. 1941. Рига), выпускник ЛУ, радиодиктор, прозаик, переводчик, редактор; в эмиграции (США) с 1992 г.

ДИЖБИТ Игорь (Эдгар) Андреевич (1932. Москва? - 2005), сын А.Дижбита (Dižbite), одного из основателей советской милиции; выпускник ЛУ, переводчик, собкор «Правды» и «Литературной газеты» в Латвии, в конце 1980-х гг. ответственный секретарь журнала «Горизонт» («Horizonts»). См. о нем: В.Дозорцев. Цит. соч. С. 57-58; Г.Целмс. «Мы живем, под собою не чуя страны...» Воспоминания простого советского человека. М. Новый хронограф. 2015. С. 360-361.

ДОЗОРЦЕВ Владлен (Владилен) Леонидович (1939, Рославль), выпускник ЛУ (1963), общественный и политический деятель, журналист, поэт, прозаик, драматург, киносценарист, мемуарист, редактор ж. «Даугава» (1988-1991). Член Союза писателей СССР с 1974 г., первая книга стихов («Авгострада») – 1965 г. Автор не менее 15 книг на русском и латышском языках. Подробнее о В.Д. см.: Википедия.

КАЛЕЩУК Юрий Яковлевич (Хабаровский край, 1939- 2013, Москва), журналист, писатель, издатель, автор двух киносценариев для Рижской киностудии. Выпускник ЛУ (1961 г.); работал в газетах «Советская молодежь» (Рига), «Молодой целинник» (Целиноград), в московских изданиях: «Журналист» «Смена», «Сельская молодежь», «Дружба народов», «Конец века», «Алфавит», «Версия» (издатель?)... Автор книг: «Окончательный забой. Хро-

40. Об «исторической» основе этой книге см.: Л. Малинский (Авенайс). Мемуар // <https://avenais.livejournal.com/10081.html#/10081.html>.

ника бригады В. Китаева». М. Детская литература. 1976; «Месяц улетающих птиц. Докум. повесть». М. Современник. 1983, «Точка росы». М. Сов. Россия. 1983; «Предполагаем жить. Докум. повесть». М. Современник. 1986; Непрочитанные письма. Докум. повести». М. Известия. 1988.

Юрий Калещук – Ирине Цыгальской⁴¹

Аркалык, 26 февраля [1962 г.]

Конечно, до славного колхоза «Зелта друва»⁴² очень далеко. Да мне больше помнятся уже какие-то закоулки близ Засулаука⁴³, комнатка с низкими потолками, всегда битком набитая шумом, песнями, людьми, книгами, сигаретным дымом и бесконечно – бесплодными спорами. Конечно, стихами.

Я приходил и всегда, если ты помнишь, просил поставить одну пластинку – «Меланхолический вальс» Эм. Дарзиня⁴⁴. В музыке я так и остался профаном, и мои симпатии не пошли дальше сентиментальных сочинений. Только эта вещь мне почему-то совсем здорово нравится, и я очень часто ее здесь слушаю.

Наверное, под влиянием этой мелодии я и начал переводить АуSTRU Скуиню⁴⁵ (узнал бы Лиeпa⁴⁶, что я на целине занимаюсь латышским!). Мне кажется, что «Последняя песня» А.Ск<уини> очень здорово ложится на «Меланхолический вальс».

Но из всего этого вовсе не следует, что настроение у меня меланхолическое или хотя бы просто тоскливое. Плохое настроение – это верно, у меня бывает. Но уныния я не ощущаю. Как это опять же ни сентиментально, я очень люблю Ригу, и мне часто снятся задождённые её улицы и стайки пижонов в дверях кафе-мороженого (я знаю, у вас

41. Цыгальская Ирина Викторовна – прозаик, поэт, переводчик, редактор "Рижского альманаха", однокурсница Ю.Калещука.

42. Колхоз в Мадонском районе Латв. ССР, куда как-то курс Калещука-Цыгальской был послан на уборку урожая.

43. Имеется в виду квартира И.Цыгальской и ее мужа – поэта и переводчика Иманта Аузиньша; в реальности квартира эта была расположена в другом районе города.

44. Эмиль Дарзиньш – латышский композитор.

45. Аустра Скуиня – латышская довоенная поэтесса, покончила с собой.

46. Лиeпa – преподаватель латышского языка в ЛУ.

47. Славка – Всеволод Лессиг.

теперь новые симпатии, новые людные кафе; только знаешь – сюда вот осенью приехали девчонки из разных европейских городов, тогда там модной причёской была «бабеттка»[!], вот они до сих пор добросовестно взбивают волосы; происходит совершенно элементарное отключение памяти).

Но мне совсем не грустно, потому что многие вещи – особенно касающиеся моих взаимоотношений с некоторыми касательными к окружности, именуемой жизнью (ну, работа, ну, точки зрения на нек<оторые> течения в иск<кусст>ве, и пр.) – стали яснее и определеннее для меня именно здесь.

Это все дешевая и стертая лексика – передний край и т. п. Просто у каждого человека должен быть слом (понимаешь, у сломанного дерева видны все его годовые пояса), а наступает этот слом независимо от географии и хронологии.

У меня, очевидно, произошло совпадение, отчасти, конечно, предопределенное.

Обидно и глупо в этом признаваться, но здесь, на целине, я впервые попался – впервые понял, что стихи для меня не просто экзерсисы и разминка, а дело очень серьезное, которому м.б. стоит отдать жизнь.

К сожалению, здесь нет ни Леньки Гуревича, ни Владьки Дозорцева, ни даже Славки⁴⁷, с которыми можно было бы поговорить очень крупно и ошарашивающе (сладко умирая от этой ошарашенности) – о технологии стихосложения.

Стихи слать не хочется, потому что бумага – она есть бумага, и куда от этого не денешься. Очень холодно и шуршаще. Остается ждать оказии, случая, когда м<ожно> будет распить с тобой бутылку коньяку (смотри, поймаю на слове!), ну, и м. б. немного поговорить.

Сегодня, быть может, мне действительно немного грустно, но и тому есть особые причины. Стукнуло мне сегодня 23, совсем я стал старик, а вот здесь в этом пшеплентом⁴⁸ Аркальке, где торчу я в к<оманди>ровке⁴⁹, нет даже человека, с которым можно выпить по этому поводу. Можно было бы, конечно, взять бутылку водки да пойти «скадрить» кого-нибудь, но мне до того уже надоела эта современная любовь, что прямо Надсона читать хочется.

Спасибо, что написала мне. Всего тебе доброго.
Юра.

48. Проклятом. – польск. яз. (ред.) Знак увлеченности шестидесятниками польским языком?

49. Командировка от газеты «Молодой целинник».

* * *

Ю. КАЛЕЩУК



Ю.Калешчук. Рига.
1957 г.

НОРВЕЖСКОЕ МОРЕ. ФЕВРАЛЬ

Где-то бедствие терпит друг.
Улыбается где-то враг.
Кружат волны корабль, как спасательный круг, –
Норвежское море. Февраль.

Среди нас кого только нет –
работяга и просто враль,
и небритый пацан, и плечистый атлет...
Норвежское море. Февраль.

Горизонтом очерчен круг.
Каждый четко усвоил роль.
Только каждый устал, только каждый продрог.
Норвежское море. Февраль.

Продержись, продержись, браток,
мы успеем еще до утра.
Мы идем на восток, мы идем на восток...
Норвежское море. Февраль⁵⁰.

* * *

ЛЕССИГ Всеволод Михайлович (1933. Ленинград – 1985(?). Москва; по не вполне достоверным данным, после кремации прах его был предан латвийской земле); спортсмен (по некоторым сведениям, – член сборной Латвии по стрельбе), журналист, поэт, переводчик, член Союза писателей СССР (1976), сотрудничал в газ. «Советская молодежь» (Рига, 1958-1962), на Латвийском радио (1963); автор двух сборников стихов: Белый свет. Стихи. Предисловие Ф.Искандера. М. 1972. Сад-зоосад. Книжка с картинками. Рига. 1972; переводчик сборника стихов с литовского: Й.Калинаускас Запахи земли. М. 1981. По некоторым сведениям, мать В.Л. – из «бубновалетисток»; по автобиографии В.Л. 1959 г. – умерла в 1942 г. (в блокаду Ленинграда?), отца не помнит; по автобиографии В.Л. 1964 г. (см. архив ВГИКа), отец – был арестован (репрессирован?). В 1937-1940 гг. В.Л. воспитывался у бабушки, с 1942

г. в детском доме. (См.: Архив Латвийского ун-та. Личное дело № 590810. Л. 2-3); по поздним свидетельствам В.Фабера (см. ниже), отец В.Л. из военнослужащих, мать – партийный функционер, репрессирована. В 1952 г. В.Л. был призван в Сов. армию, служил в Германии и Риге, далее – сверхсрочник, мл. сержант – зав. складом мед. оборудования в/ч. 9540 (См. об этом в указанном выше Личном деле. Л.6.) Коротко (около полутора лет, с 1959 г. по начало 1961 г.) учился в ЛУ, отделение журналистики. В 1963 г. переехал в Москву, где работал в журнале «Сельская молодежь», был связан с газетой «Советский спорт»; по справке архива ВГИКа, в 1964-1967 гг. учился на заочном отделении сценарно-киноведческого факультета этого ин-та; по устным данным, снялся в эпизодической роли в неатрибутированном кинофильме (Одесская киностудия?). См. о нем: Г.Гайлит. Цит. соч. 2013. С. 70-72; И.Дижбит, кор. «Правды», Рига. Пусть деревца тянутся к солнцу // Правда. 1962, 7 дек.; Дозорцев В. Цит. соч. С. 50, 55, 57-58; Ю.Калещук. Человек на льдине. О Всеволоде Лессиге (1934-1989 [!]) <...> и его поэзии // Рижский альманах. Кн. III. Р. 1994. С.38; Ю.Калещук. Прощание // (<http://cats-portal.ru/read/proba/adiieu.php>) [Здесь – кратко о «Севке» – его смерти, кремировании]; Г.-А.Коншин. Страницы воспоминаний // Рижский альманах. № 5(10). Р. 2014. С. 111-114. (По устным сведениям, представленная в воспоминания Г.-А.К. и других мемуаристов некто «Мэги» в действительности – Светлана К., рижанка, студентка; вероятно, именно ей и ее детям посвящена упомянутая выше книжка В.Л. «Сад-зоосад»); Малер И. Цит. соч.; Писатели Москвы. Библиогр. справ. М. 1987; М.Уральский. Камни из глубины вод. СПб. Алетейя. 2007; см. в особенности гл. 12 (<http://www.netref.ru/mark-uraleskij-kamni-iz-glubini-vod.html?page=120>); В.Фарбер. Жизнь в канувшие времена. Р. 2014. С. 60, 62-64.

Всеволод ЛЕССИГ

ОТВЕТ

Ты спрашиваешь,
как мне пишется?
Легко ли?..
О легко! Легко!
Мне пишется совсем как дышится –
Свободно,
жадно,
глубоко.

А иногда,
почти как плачется –
неудержимо и навзрыд.
Как подгулявшим в праздник
пляшется,
когда от пляса пол горит.
Порой мне пишется,
как любитесь –

50. Ригас Балсс. 1965. 10 июля. Датировка под самим стихотворением отсутствует.

и вдохновенно,
и светло.
Так на заре изюбрю трубится,
волне поется под веслом.
Не все тебе за далью слышится
и видится тебе не все.
Из сна ко мне приходишь
лыжницей
и исчезаешь в тот же сон.
И остается только в памяти:
бег легких лыж
в разгул стихий,
следы под хрусткой коркой наледи
и, как подснежники,
стихи...

Мои стихи – мое наитие!
Мои – любовь, и гнев, и боль.
Мои падения, открытия –
Мой бой за то, чтоб быть
собой!
...Ты хочешь знать,
Легко ли пишется?
Легко!..
Но мало в мире слов.
Так альпинисту, верно,
дышится
на белой вечности снегов⁵¹.

* * *

МАТРОСОВ Владимир [Федорович?] журналист, позднее – замредактора газеты «Советская молодежь»; вероятно, он же (ок. 1923–2003, Южно-Сахалинск?), с отъездом из Риги, сотрудник газеты «Советский Сахалин», собкор «Лесной газеты».

ОДНОПОЗОВ Наум (он же Гуревич; Leo Gour Odporoz Naoum, род. 1935 г. Саратов), врач, выпускник Саратовского мед. ин-та (1958 г.); на рубеже 1959/60 гг. поселился в Риге, работал в Рижском мед. ин-те и Медицинском музее; участник поэтических чтений в кафе «Юность» и на филфаке ЛУ. В условиях «критики», в газете Рижского мед. ин-та «Padomju Mediķis» (1962. 4. nov.) к 45-летию Октябрьской революции опубликовал стихотворение «Октябрь». В эмиграции с 1966–1967 гг. (скорее, с 1966). В печати латышской эмиграции (см. ниже – прим. 51) представлен одним из первых советских диссидентов, сумевших вырваться из СССР. Некоторые детали биографии Н.О. находим в нижеследующем объявлении:

"Я живу в Амстердаме, Нидерланды. Давным давно работал на Радио Свобода в Мюнхене и в Париже, писал статьи по истории и социологии, читал по радио стихи поэтов Серебряного века. Член PEN International.

Языки (домашнее обучение, гувернантка): английский и французский

51. Советская молодежь. 1962. 8 июля.

52. Здесь в 1962 г. публиковались заметки В.Л. на культурные и праздничные темы, его «Стихи о военной тайне».



Л.Жданова, В.Дозорцев, В.Лессиг в редакции газеты Рижского политехнического ин-та, «Jaunais Inženieris»⁵². Рига. Начало 1960-х гг. // Собрание В.Дозорцева

свободно, часто бывал конгресс-переводчиком (симультанный перевод с английского, французского и нидерландского на русский), немецкий хуже, читаю испанские, португальские, итальянские тексты, только иногда пользуюсь словарем.

Образование: химический факультет в Латвии[?], медицинский факультет в России и во Франции, различные специализации и в СССР (Москва, Рига), и в Париже, и в Амстердаме. Также London School of Investment в Англии. Изобрел новый метод лечения заболеваний позвоночника. Ищу инвестора, который помог бы создать крупнейшую в Европе частную клинику в Амстердаме. <...>.

Д-р Наум-Лео Гур-Однопоз (голландский подданный, укороченное от Гуревич-Однопозов, удобнее путешествовать...), можно просто Наум Львович⁵³».

В газете «Новое русское слово» (1966. 8 дек. С.8) за подписью А.Г.О., с пометой «Конфисковано КГБ при аресте» и датировкой: Рига, 8.12.63, т.е. вскоре после известного фельетона в адрес И.Бродского было опубликовано стихотворение «Иосифу Бродскому»⁵⁴.

В связи с этой публикацией пустимся в вольные предположения: не исключено (пусть и маловероятно), что инициалы Г.О. раскрываются как Гуревич-Однопозов, а первая литера – «А» в криптониме – это неверно прочитанная газетой (по рукописи) «Н» (те же две палочки и перекладинка). Что же касается пометы («Конфисковано КГБ при аресте») – и А.Г.О. и газета, по тем временам, вполне себе могли позволить такую рекламу.

Ниже искомое стихотворение.

ИОСИФУ БРОДСКОМУ

Привет, старик, привет!
Я счастлив – тесен свет,
и фонари горят,
и лошади дыбят
над питерским мостом.

Пиитов страшен сон,
но книги продают –
и словно хлеб дают,
и словом одарят
как тыщи лет назад.

И слова строен храм
назло всем комчертям,
а поглядишь вокруг –
нет виселиц, мой друг.

А если вдруг и есть,
и если их – не счесть,
то все сгорят они
от слова. В наши дни.

И в четырех стенах
не будешь нем как прах,
и вековой гранит

тюрьмой не удивит,
и жизнь не украдут,
и темя не пробьют.

И мир не лжив, брат, нет,
хоть в мире – тень и свет.

И будет от веры
толк,
ибо поэт –
он бог,
ибо поэт – он! –
свет,
и ярче и чище –
нет.

И даже в мире
иллюзий,
и даже в мире
закатов
его одобряют
люди
и боги
своею печатью.

* * *

А.ФАГЕР – коллективный псевдоним И.М.Афанасьева и И.М.Героля (см. выше)⁵⁵.

ФЕОДОРОВ Евгений Агафонович (род. 1942. г. Грива, позднее – район г. Даугавпилса), с 1959 г. студент-филолог ЛУ; в 1964-1966 г. – на комсомольских ударных стройках в Казахстане и Хабаровском крае. В 1966-1972 гг. – сельский учитель, завуч, директор школы-восьмилетки в Ростовской обл. По окончании Ростовского ун-та (1972 г.) – на Таймыре, затем – директор школы им. Р.Зорге в г. Хемниц (ГДР), зам. заведующего Ростовского областного отдела народного образования. Печатался в газете «Комсомолец» (Ростовская обл.), участник поэтических интернет-сайтов, автор сборников «Люблю...»

(Ростов-на-Дону. ГинГо. 2014. 353 с.), «Когда я свободен (В молитвенном свете луны). Книга верлибров». (Рязань. РИПД «Первопечатникъ». 2017. 443 с.), «Пять нот из соловьиного словаря (роман в письмах). Стихотворения». Рязань. ИП Жуков В.Ю. 2019. 84 с. (в соавторстве с О.Мищенко).

НЕ ИЩИТЕ МЕНЯ

*Объявление на сайте «Жди меня»:
...ищу друга молодости...*

Не ищите меня – я нашёлся...
неожиданно для себя
и, может, случайно для вас.

Как застарелая болезнь
или едва зажившая рана,
вдруг распалилась память.
Жизнь безошибочна,
как бы ни жил,

да и где бы ни жил.
По камешку, по песчинке,
по неуловимой капле...
но нет же – по словечку
собираются подробности
в головокружительном круговороте
неожиданных воспоминаний.
Я уже дошёл до того рубежа,
когда мёртвые окликают
чаще, чем живые.

53. (<https://samosoverhenstvovanie.ru/trebuyutsya-diktory-nachitchiki-statey-youtube/>). Его недатированное стихотворение «Джордж Орвэлл» см. на сайте «Запрещенные новости» Вып. 287 (<http://www.rasmas.info/archive.phtml?did=1202&y=2006&m=6&d=19>). См. о Н.О.: Ю.Лапин. Такова ли ЮНОСТЬ? // Ригас Балсс. 1962. 5 фев.; Вечер начинающих поэтов // Padomju Students. 1962. 27. apr.; [Интервью с Н.Гуревичем/Однопозовым] // The Sunday Times. 1968. 14. Jan.; P.Aigars. Lavīna sākas lēnam // Laiks. Ņujorka. 1968. 7. febr.; A.L. Cilvēks no citas pasaules // Latvija. Germany. 1968. 9. mar. 6. lp.; 16. mar. 6-7. lp.; P.Reddaway. The Dissidents. A Memoir of Working with the Resistance in Russia, 1960-1990. Washington. DC. Brookings Institution Press. 2020. P. 157; его письмо Б.Филиппову 1967 г. см.: Boris Filippov papers // Archives at Yale. Beinecke Rare Book and Manuscript Library. GEN MSS 334, Series I. Correspondence, 1946-1969.

54. Указано Р.Тименчиком.

55. Спасибо В.Стародубцеву и Т.Зандерсон, открывшим нам глаза на реальные имена, сокрытые в этом псевдониме. Подлинные имена фельетонистов были знакомы и И.Бейну, отметившему в «Голубой лагуне»: «Обо мне были фельетоны – ныне живущего в США – Ильи Ироля [Героля] – муза из подворотни – подписаны Афатер [А.Фагер] – Афанасьев – Героль <...>» // У голубой лагуны. Т. За. Опечатки в именах – следствие плохо читаемого почерка И.Бейна.

Забыл – потерял?
Но оказалось – помню
и не забывал никогда.
Кто потерялся, а кто истратился,
кто тихо умер,
а кто пропал пропадом...
Вы искали – и я нашёлся.
Как же нас раскидало...
как же нас мало...
Помню: город, море, погода...
и пусть от слёз не различаю
ни лиц, ни одежды, ни голосов...
Нет, голос... один...
такой знакомый, единственный...
обещанием радости...
Ни огорченья, а их было полной мерой,
ни нужда, ни ошибки решений –
не вспоминаются.
Голос... только голос...
и память светла
в своём счастливом преображенье.
Так – я свободен...
и солёный ветер
с запахом водорослей и смолы.
Море мелкими шажками
набегает на берег
и откатывается, шелестя песком.
Красная лодочка солнца –
восход ли, закат –
на тонкой черте горизонта.
Органные сосны стихли,
вытянулись, изготовились
к ночному псалмопению над морем.
Мир свернулся калачиком... замер...
только звёзды напоминают
о глубоких далях и непреходящей вечности.
Город не дошёл до моря –
так и стоит над рекой,

по самые крыши погрузившись в память.
Между морем и городом...
я был молод, свободен
и, конечно, влюблён.
И счастлив был
простором завтрашних дней.
Нет, не скажется и не споётся –
но вспоминается
молодым волнением и светом.
Из одинокого моего сегодня
все погоды – тогда и так далеко –
были весенними и попутными.
А в свете утра или в свете вечера –
улыбающееся лицо – голос:
– Ну, здравствуй!
Вместо костра – дымящийся кофе
в хрупкой чашке,
похожей на подстриженный куст.
Но каждая наша встреча –
словно под парусом,
поймавшим нужный ветер.
В каждой нашей встрече –
лёгкие прикосновенья слов
и предчувствие поэзии.
И случались, и происходили стихи
из улочки в улочку
под фонарями Старого города.
И мир сворачивался калачиком... замирал...
и только звёзды напоминали
о глубоких далях и добрых дорогах,
о непреходящей вечности
молодости и весны.
Среди изломанных судеб – в перепутанной истории,
где растеряно всё и все растерялись,
ты искала – и мы, конечно же, встретимся –
словно бы неожиданно и словно бы случайно.
Но времени... что же осталось времени...

всего–то лишь... ах, всего–то –
младенческая горстка песка.
И быть может, мы всё же успеем сказать друг другу
недосказанные,
но сбережённы нами слова... –
под тихое пение сосен
на берегу нашей молодости

март 2010 г. ⁵⁶

ХРИСТОВСКИЙ Сергей Игоревич (1942. Поселок Елизово, Дальний Восток), выпускник ЛУ; разнорабочий, сотрудник газет «Железнодорожник Прибалтики» и «Советская Латвия», рекламного отдела изд-ва «Лиесма» и Латвоторгреламы; учитель русского языка и литературы; поэт, переводчик, драматург, редактор, издатель (Рига, изд-во «SI», специализировавшееся на учебных языковых пособиях для школ и детских садов). Автор книги «Отзвуки Торы. Поэма». Р. Изд-во «SI». 2011. Член Союза писателей Латвии с 2005 г.



*С.Христовский в пору работы в газете «Железнодорожник Прибалтики». Конец 1980-х гг.
Фото Л.Буйкиса.*

ПОСЛАНИЕ

От человека пахло молоком,
Он радостно купался в тихом солнце,
Он был огромным солнечным китом,
Таинственным весёлым незнакомцем.

Месил он небо, словно виноград,
И небо было ласково пьянящим.
Светилось небо – в небе шёл парад,
Единственный и самый настоящий.

От человека пахло молоком,
Он говорил на лунном языке,
Он был залит загарным сургучом –
Живой нераспечатанный пакет...

Была охота. Атомный гарпун
Зажёг на миг растаявшее солнце.

От человека пахло молоком.
Он был огромным солнечным китом.
Таинственным весёлым
незнакомцем.

* * *

ЯХИМОВИЧ Иван (Ян, Янис) Антонович (1931. Даугавпилс-2014. Даугавпилс), филолог, выпускник ЛУ (1956), председатель колхоза «Jaunā gварde» (1960-1968), участник правозащитного движения в СССР (1968-1969), в 1969 г. арестован и направлен на принудительное лечение в Рижской психоневрологической больнице (1969-1971). По освобождении И.Я. много лет проработал в Даугавпилсе мастером лесопарков, в конце 1980-нач. 1990-х гг. – активный участник демократического движения.

И, конечно, писал стихи. Приведем одно из них, недатированное, но, судя по всему, из поздних.

ЛЮДСКОЙ ПОЛИГОН

Нас мало осталось.
Мы скоро уйдем,
Навечно покинув
Людской полигон.

Мы станем землю,
Ковыльной травой,
Уже никогда
Не вернемся домой.

Случайный свидетель
Событий былых

Случайно отметит
Заслуги одних,

Случайно забудет
Других имена –
Кому наша правда
Публично нужна?

Мы только эпоха.
Мы только война.
И время нас спишет,
Как павших война.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Владлен ДОЗОРЦЕВ

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Фрагмент

Где-то на втором курсе меня нашел Юрий Калешук. Он был моего года рождения, но поступил сразу после школы и потому учился уже на 4-м курсе. Он показал мне свой рукописный журнал и предложил поучаствовать. <...>.

В журнале была студенческая проза, несколько научных статей, но, в основном, стихи – поэтическая эпидемия начала 60-х зверствовала не только в Москве, но и на периферии. <...>.

Публичные чтения стали клубным феноменом и тестом на интеллигентность. Читали в аудиториях, в цехах, на площадях, в кафе, у памятников. Бывало так, что в Москве у памятника Маяковскому читали одновременно с четырех сторон. И рижане в том числе. И я в том числе – садился вечером вместе с Лессигом в поезд и утром у подножия гранитного агитатора, перекрывая толпу и заходясь до глоссалий, орал: «Я ухватчу Луну за круглый бок И крутану, как заспанную бабу!» <...>.

В Риге поэтической гостиней стало почему-то кафе в начале улицы Стрелниеку с названием «Яуниба» [«Юность»]. На его дверях вывешивались списки тех, кто будет читать сегодня. Официантки «Яунибы» знали состояние русской поэзии Латвии лучше, чем «Латгосиздат». Было обычным делом слышать от них: «А Бейн будет? А Жданова будет? Похожий на всех евреев мира Иосиф Бейн приходил со своей русской женой и выводком детей и читал нараспев под Бродского [? – Б.Р.], о котором мы уже слышали тогда. До сих пор стоит в ушах его раскатистое «р»: «Вокзал шумел, как тысяча цыганок, Которых ревность привела в экстаз...».

Эти публичные оргии вполне заменяли нам обнародование наших творений в напечатанном виде – нам хватало эстрады и рукописных изданий. Да и едва ли тогда у кого-нибудь набиралось на сборник.

Из большинства тех, чьи имена гремели тогда, так ничего и не вышло.

Может быть, дело еще в том, что оттепель быстро сменилась политическими заморозками – с лета 62-го в центральной прессе пошли агрессивные статьи о забвении горьковских традиций и замечательного метода социалистического реализма. <...>.

А если начинается в Москве, то жди и на периферии. На факультете мы это почувствовали довольно быстро.

Тому же Калешуку, написавшему дипломную работу о поэтике Евтущенко, Вознесенского и Рождественского, отказали в защите. Он подал повторно. Защита превратилась в студенческий митинг – мы добивались публичной дискуссии и рвались в аудиторию. И только это заставило факультетское руководство принять блестящую работу Калешука.

В это время я уже совмещал учебу со службой – был в штате газеты «Советская молодежь», где Калещук вел отдел, а я репортерствовал у Яши Мотеля. Тогдашний редактор Владимир Луцкий вполне благоволил ко мне и даже охотно публиковал подборки моих стихов. При отделе культуры мы с Калещуком открыли молодежное литературное объединение «Горизонт»⁵⁷ – и лучшее из того, что приносили на обсуждение начинающие литераторы, тоже шло на страницы газеты.

Вдруг все встало. Луцкий без объяснений завернул несколько литературных страниц, а через несколько дней моя родная газета начала пространные публикации заведующего отделом культуры Владимира Матросова «В тумане у Парнаса», где громили ужасную околосредствую жизнь рижской молодежи, забывшей о коммунистических идеалах. Цитировались стихи и высказывания участников «Горизонта» – Дозорцева, Бейна, Лессига, Феоктистова, Гуревича... Нам в пример ставились председатели колхозов и ветераны революции.

Я спросил у Матросова: зачем он ввязался в эту грязь? Мы работаем в соседних кабинетах. Почему нужно говорить со мной не через стенку, а через страницы газеты.

Матросов вполне цинично отвечал, что я ему должен бутылку, ибо он таким образом делает мне рекламу.

Реклама сделала свое дело. Луцкий закрыл «Горизонт».

1-го декабря 1962-го Хрущев в Манеже бросил в лицо Борису Жутковскому и Эрнсту Неизвестному свое «пидарасы». <...>

12-го декабря в центральной «Правде» появляется статья собкора по Латвии Игоря Дижбита «Пусть деревца тянутся к солнцу». Там в виде отчета об одной из дискуссий в нашем (уже прикрытом) «Горизонте» «Правда», цитируя тексты Бейна и мои, громила не только эти тексты, но и наши биографии, рисуя нас тунеядцами, идейными уродами и наглыми формалистами. <...>

Последовало шумное партсоборание, на которое выволокли меня, никогда не состоявшего ни в какой партии. И люди, с которыми я пил и ел за одним столом, кричали мне в лицо, что «Правда» не ошибается. И что я поставил под удар прекрасный коллектив.

Было решено убрать меня из штата. И только смешная истерика Яши Мотеля, кричавшего, что Дозорцев – не Бейн – не тунеядец, а тургайская рабочая косточка и еще исправится, дала мне возможность уйти по собственному желанию, а не с волчьим билетом⁵⁸.

* * *

Кира САПГИР

ПАМЯТИ ИОСИФА БЕЙНА

<...> Я вошла в квартиру – и тотчас же в дверь позвонили.

– Кто там?

– Это мы. Мы звоним тебе весь день.

– Кто – вы?

– Поэт Исаяя Погром.

Я открыла. Они стояли на пороге втроем.

...Как бы мне поточнее описать Исаяю? С полированного коричневого черепа шквалом срывает последние патлы, рвет в клочки. На лбу, словно стесанном встречным ураганом, свежая царапина. Поверх царапины намертво приросла фуражка с «крабом» – в ней, говорят, поэт приехал из Риги в Хайфу с женой и семерыми детьми.

Семеро детей следовали за ним повсюду строем. Он пил пиво в кафе и очень любил жену – любил так, что она однажды не выдержала и умерла от рака.

Сейчас он прибыл в Париж на свадьбу старшей дочери. Дочь венчалась в церкви на улице Дарю с отпрыском видных «отщепенцев» – Ди-Пи59. Благородный отец явился на венчанье незванный, изрядно приняв на радостях на грудь – к смущению собравшихся. Родня жениха вежливо попросила его удалиться. Он оказал сопротивление. Изгнанный из храма поэт шумно скандалил во дворе, колобродил, вздымал к небу кулаки, посылая дочери проклятья, словно король Лир.

И вот сейчас Погром у меня на пороге.

– Радуйся! Я привел к тебе Любовь, – провозглашает с порога Исаяя. – Прими ее. Прими нас. Так надо. Я нашел ее по дороге к тебе.

Любовь, невытая, беловолосая, входит вслед за поэтом, цепляясь, как слепая, за полу его пиджака. В свою очередь, она тащит за собой замызганного мальчишку – отчего-то с галстук-бабочкой на голой грязной шее. В липкой руке мальчишки, видимо, ее сына, бумажный стаканчик из-под шипучки.

– Купи нам вина, купи еды, – сказал Погром. – Нам надо пить вино.

57. Первый выпуск «Литературной страницы» «Горизонта» на страницах «Советской молодежи» вышел 8 июля 1962 г.

58. В.Дозорцев. Настоящее прошедшее время. Р. 2009. С. 54-57.

Я купила вина, хлеба, сыра. Сели пить.

– Я хочу сочинить Новейший завет, – оповестил поэт. – В Новейшем завете самое главное это другие «от» – не от Маркса и Матвея, а от – Советского информбюро и от Москвы до самых до окраин и от жены моей Нины. Я тебе почитаю кое-что оттуда. <...>.

И тотчас начинает выкрикивать-завывать:

...Как описать его стихи? Рычание льва, труба Иерихона, клеток, ропот, грохот и гром и звон строк и строф, переполняют мир. <...>.

В конце концов, все заснули: Любовь с мальчишкой в моей постели. Я на полу. Поэт пристроился тут же, свернулся калачиком на тощей подстилке.

...Мне не спится. Время к четырем. Серые контуры города начинают прорастать за окном.

Поэт дергается на неудобной подстилке. Вдруг он резко вскидывается:

– Мне надо бежать!

– Почему бежать? Зачем?

– Я знаю? Надо. – Он ошарашенно озирается, мнет в кулаке комок исписанных листков.

– Куда?..

– Я знаю? Куда-нибудь, но я обязательно должен бежать, я бегу.

– Но еще совсем темно.

– Все равно. Я должен. <...>.

Примечания

Иосиф Бейн (1934-2011) – поэт, гений⁶⁰.

* * *

Шломо ЛЕНСКИЙ

МЕЛОДИИ ТРАВ

Его лицо казалось маской. Такое молодое, мускулистое тело, и такое старое лицо... Нет, не старчески морщинистое, а словно изношенное, местами затертое, даже затоптанное, что ли. И глаза – настороженные, и слегка надменные, как у рыси. Взгляд его становился по-собачьи теплым только когда мы, дети, просили его покатать нас на лодке

по реке Двинке. Он никогда не отказывал. Наверное и кошачьи глаза были маской. Ну, откуда нам было знать, какие глаза должны быть у сына репрессированных обрусевших немцев, в одиночку выжившего в ленинградской блокаде? Как? Это осталось его тайной, как и маска...

Он появился у нас неожиданно. Его привел, мне кажется, друг моего дяди, сын еврейки и корейца, человек молчаливый, и по-восточному загадочный, с которым дядя подружился в армии, и прошел с ним огонь, воду, и весь Союз вдоль и поперек. Так было заведено в нашем доме издавна: друг моего друга или брата – мой друг. Надо переночевать – пожалуйте, ночуй. Многие оставались в нашем доме надолго. А потом «переходили по наследству» другим друзьям. Так я познакомился с Севой, Всеволодом Лессигом.

Когда он не катал никого на лодке, не пил водку с моим отцом⁶¹, и не спал – Сева писал стихи. Иногда он писал стихи и во время еды – просто отставлял еду, хватал любую бумажку, салфетку, и что-то на ней писал. Бывало – сразу и выбрасывал. Тогда мой отец вскакивал, подбирал, и говорил строго: «Севка, не кощунствуй!» Отец был уверен, что Севка – гениальный поэт. И, хоть в те годы все считали друг друга гениальными, мой отец редко ошибался. Я помню, как все завидовали подобным образом собранной-подобранной отцом коллекции набросков и эскизов одного, ставшего знаменитым на весь Союз, художника.

У Севы не было прописки. Он не мог устроиться на работу. К тому же, он не умел делать ничего, кроме как писать стихи и катать нас на лодке. Ему вообще стало опасно оставаться в городе, и все меньше становилось друзей, готовых предоставить ему ночлег. Весной, как только сошел снег, Сева переехал на «дачу» – дощатую будку в пригороде, на участке с клубникой, который мой дед получил от завода как ветеран войны и труда. Но когда и там начался «дачный сезон», отец сказал: «Надо поговорить с друзьями, может переправят Севку в Москву, к Искандеру – говорят, он молодым талантам помогает». Так и случилось.

Через несколько месяцев Сева Лессиг прислал каждому из немногих его друзей тоненькую, страничек 20, брошюрку. Это был изданный в серии «Молодые голоса» цикл его стихов «Песня травы». На обратной стороне обложки рукой Севы было написано: «Дача в И-те»⁶².

Вот, как описывает эту «дачу» сам Сева: «Одно из маленьких стекол на веранде было разбито, и ключ от дома доставали, просунув руку

в это окошечко. Дом был без печки, с дощатыми стенами, обитыми изнутри гипсом. Весь он вздыхал, кряхтел, шумел. Двери и половицы в нем отчаянно скрипели, от легкого шага на веранде дребезжали стекла. Но у него был неповторимый запах, и этот запах потом передался вещам и книгам.

Стихи о доме

Я старый дом, и что мне берега!
 Ко мне – следы, и я их средоточье.
 Но впору мне удариться в бега
 В исходе этой раскаленной ночи.
 Оглохнуть, но не слышать светлый бред
 Моих друзей. Одни во всей вселенной!
 Как будто сорван лишь сейчас ранет,
 Тот райский плод запретный, вожделенный.
 Слабей мерцанье утренней звезды.
 Пятно зари легло в сосновой кроне.
 Как строит он, как рушит он мосты —
 Горячий ток почти звучащей крови!
 Над горизонтом выкатился шар,
 Весь огненный. И луч коснулся крыши.
 Скорей к воде, скорей! Сейчас пожар
 Начнется. Мы горим! Никто не слышит.

Много водки было выпито в тот вечер в Севкину честь, много добрых слов сказано в адрес Фазиля. Книжечка переходила из рук в руки. И мне было приятно подержать в руках книжку «дяди Севы». Там были удивительные песни травы, песня кузнечика, песня цветка, услышанные «дядей Севой» на бабушкиной «даче». Лет через десять я, окунувшись в иудаизм и хасидизм, узнал о замечательном учении рабби Нахмана о том, что «у каждой травинки, у каждого цветка на земле,

61. Ленский Виталий Юльевич (1937. Ленинград – 1991. Рига). Учился на физмате ЛУ, вне ун-та занимался математикой и программированием, освоил столярное дело, реставрацию мебели, участвовал в оформлении рижских кафе и ресторанов; входил в круг рижских художников, поэтов, журналистов и лиц других творческих профессий; до женитьбы и позднее – держал открытый дом.

62. Т.е. в Иманте, на окраине Риги.

есть собственная мелодия, из которой составляется песнь пастуха». Те десять лет я не очень скучал по Севе Лессигу. Точнее – лишь изредка вспоминал, обычно – когда слышал сетования родителей, что Севка пишет все реже. Но в тот момент мне ужасно захотелось поделиться с ним своей мистической ассоциацией. Я выпросил у отца его адрес, но письмо у меня не получилось: слишком долгим вышло предисловие о рабби Нахмане и хасидизме, и я побоялся показаться занудой.

Еще через год меня призвали в армию. Служить мне пришлось аж на Дальнем Востоке. Заслужив недельный «отпуск на Родину», я неделю добирался до Москвы, чтоб там пересест в поезд на Ригу. В Москву я приехал засветло, а мой поезд домой отходил ночью, и мне совершенно некуда было себя деть, да и вытягиваться перед каждым патрулем надоело. Промучившись часа два, я вдруг вспомнил: «дядя Сева», Сева Лессиг – вот кого мне надо найти; тем более – я должен рассказать ему про рабби Нахмана! Последнее, что я о нем знал – это то, что Фазиль устроил его в отдел поэзии журнала «С<ельская> М<олодежь>». Позвонив в редакцию, я узнал его адрес – комната в коммуналке, недалеко от площади Ногина. Я рванул в метро. Добравшись до площади, я позвонил по телефону: «Сева, дядя Сева, это я... из Риги... я в армии... мне бы до ночи...» «Ты где, на площади? Не сходи с места! У тебя погоны какого цвета? Все – жди!» Я стал ждать. Было пасмурно, и была слякоть. Люди ходили, опустив головы, все в одинаковых каких-то плащах. Я боялся его не узнать, хоть меня он не опознать не мог, других солдат с погонами моего цвета на площади не было. Но все же я узнал его первым – он был в белом, таком пижонском, как сказал бы мой отец, плаще. Но на лице была знакомая мне с детства маска, но с добрыми, собачьими глазами. Мы обнялись.

Мне не терпелось в его коммуналку, сбросить шинель, присесть к столу, и рассказывать, рассказывать, и слушать, слушать... Но по дороге мне еще раз пришлось его ждать – он зашел в гастроном, отстоял очередь в «Напитки», и вернулся с двумя бутылками «Жигулевского» пива. Небрежно расовав их в карманы своего шикарного плаща, он кивком указал мне направление к своему дому. По его немногословности, и странной, плетущейся походке я понял, что «дядя Сева» – с тяжелого бодуна.

Мы вошли в квартиру, по темному коридору добрались до комнаты. Он поставил «Жигулевское» на неубранный стол, откупорил одну из бутылок, отхлебнул, и присел на диванчик, с которого, видимо,

согнал его мой неурочный звонок. Я огляделся. Простецкая комната, бедная обстановка, но и у нас дома была ненамного лучше. Но еще что-то, родное, я все-таки почувствовал и быстро сообразил – что. В квартире отца обои были покрыты надписями, как и здесь. Только у отца это были его любимые цитаты из Платона, Сократа и Эйнштейна, а у Севы стены пестрели автографами гостей, четверостишиями, подписанными звонкими именами известнейших писателей, артистов и поэтов, от Госиздата – до самиздата. Пока я расшифровывал некоторые надписи, Сева прилег, и я испугался, что он уснул, так и не сказав толкового слова. Но он вдруг повернулся ко мне лицом, и спросил: «Как же ты меня первым узнал? Это ж какую память надо иметь!?» Я ответил: «Главное – чтобы было что вспоминать...». Сева пристально поглядел на меня, а затем сказал, больше самому себе, чем ответил: «Все, сдаюсь. Узнаю породу отца!» И забылся тяжелым, предпohмельным сном.

Возвращаясь из отпуска в часть через Москву, я снова пришел в коммуналку у площади Ногина. Но в Севиной комнате жил совсем другой человек, не знавший ничего о Всеволоде Михальче. Я, в ужасе, выбежав на площадь, не отвечая на окрики патрулей, кинулся к телефону-автомату, звонить в редакцию. «Лессиг? Конечно он там больше не живет! Ему дали отдельную, однокомнатную, в новостройках!» Я, от радости, готов был прямо в погонах бежать в ближайший магазин за бутылкой. Но побежал все-таки в метро. Я застал Лессига дома. На этот раз мы выпили чего-то крепкого и импортного, оставшегося от новоселья. Обалдевший от пережитого только что в коммуналке, слегка опьяневший от выпивки, я забыл, что хотел рассказать ему о рабби Нахмане и песне пастуха. Мы говорили о всякой чепухе, о моей службе, по несколько раз передавали уже переданные приветы моим родителям, и от родителей. На прощанье я попросил у Севы книжку его стихов на память. Он посмотрел на меня вновь кошачьими глазами, и, отведя взгляд, проговорил: «Я давно уже ничего не пишу. Я теперь умею лишь чужие стихи править...» Так мы расстались. И всю неделю, проведенную в поезде, я грустил.

Прошел еще год. Наступил долгожданный дембель, и я знал, что снова поеду через Москву, и уж на этот раз, никуда не торопясь, расскажу «дяде Севе» обо всем, о чем забыл в прошлый раз. В Москву я приехал с Юркой, моим соседом по армейской койке, а потому – другом. И я уговорил его заехать к Лессигу со мной. По дембельски ши-

куя, мы взяли такси, купили у водителя бутылку водки, и при полном параде явились к знакомой двери. Но Севы там не оказалось. Мы прождали около часа – его так и не было. Я, не в силах больше удерживать рвавшегося домой Юрку, да и сам истосковавшийся по дому, решил оставить «дяде Севе» записку у соседей по лестничной клетке. Соседка посмотрела на нас странными глазами. «Вы не знаете....? Михалыч, т.е. Всеволод Михалыч – умер, вот уже третьего дня....»

Я рыдал. Мы сидели в подъезде дома Лессига, хлебали «из горла» принесенную с собой водку, и я рассказывал, захлебываясь слезами, ничего не понимающему Юрке о рабби Нахмане из Браслава, о мелодии трав и песне пастуха...⁶³

2005 г.

* * *

Ирина ГОФТ

ЧЕРТОВЫ КАЧЕЛИ

Актовый зал филологического факультета. Не теперешнего унылого на Висвалжу, а в здании на бывшей Горького с окнами на несуществующий уже крохотный сад за металлической оградой.

Воспоминания эти прежде всего связаны с музыкой русского слова, будто впервые тогда нами услышанной. «В тени косматой ели Над шумною рекой Качает черт качели Мохнатою рукой».

Стихи Сологуба читает с кафедры бородатый человек в серой русской рубахе... Мы ловим каждое слово его лекций, он словно доверительно беседует с каждым из нас. Огромные стихотворные куски цитирует по памяти. Его русский язык завораживает.

Через пару лет на долгие годы имя Андрея Донатовича Синявского будет предано анафеме. Но думаю, что никто из его молодых рижских слушателей осени шестьдесят второго не поверил ни единому слову скандального процесса...

С каждой лекцией народу набивается все больше. И администрация вынуждена перенести их в актовый зал. Мы даже согласны выслушать перед началом лекции какого-то заезжего французского коммуниста, который, правда, довольно быстро закончил свое выступление, не помню уже по какому поводу. В памяти осталось только, как грохнул зал, когда переводчик перевел слова о том, что Рига кажется ему

маленьким Парижем и поэтому легко представить, каким Париж был бы при социализме⁶⁴. Смех в зале затих только с появлением на кафедре лукаво улыбавшегося Синявского.

Не думаю, что последующие поколения студентов-филологов с такой жадностью и волнением открывали для себя Ахматову, Цветаеву, Пастернака, Мандельштама и других поэтов, их современников. И может быть, впервые в стенах нашего университета так свободно с кафедры читались ахматовские строки: «Небывалая осень построила купол высокий, Был приказ облакам этот купол собой не темнить...»

Помню, на заседании литературного кружка, где читались стихи студентов, присутствовал и Синявский. К стихам он отнесся внимательно и тактично, всякий раз осаживая ехидничавшего ведущего и стараясь смягчить все легким юмором. Может быть, и сам приезд Синявского поэтому ассоциируется в моей памяти не только с высокой поэзией, но и с его улыбкой и шуткой.

После этого заседания моя подруга с английского отделения по дороге домой со слезами на глазах призналась, что без памяти влюблена в Синявского. И не переживет того, что он уже уезжает и никогда не узнает о ее любви. Помню, как я удивилась: с ума сошла, он ведь старик ему тридцать семь. ...И опять память возвращает меня в актовЫй зал филологического. Это о нас читал стихи Синявский:

*Взлечу я выше ели
И лбом о землю трах.
Качай же, черт, качели,
Все выше, выше... ах!*⁶⁵

63. Цит. по: (<http://reallylensky.livejournal.com/50496.html>).

64. Синявский читал лекции в ЛУ в ноябре 1962 г. В номерах газеты ЛУ «Padomju Students» за этот месяц сведений о выступлении в университете французского коммуниста не обнаружено.

65. Даугава. 2000. № 5. С.153. О лекциях А.Д. Синявского в Риге см. еще: Д.Ивлев, ассистент историко-филологического факультета. О лекциях А.Синявского // Padomju Students.1962.21. dec.; Е.Тоддес. Пушкинский кружок // Там же. 1963. 31. maijā; П.Тюрин. С футуристическим приветом... // Даугава. 2000. № 5. С.147-149; Андрей Синявский. Из беседы профессора Стэнфордского университета Лазаря Флейшмана с сотрудником Русской службы ВВС Натальей Рубинштейн // Там же. С.150-152; Р.Тименчик. Цит соч. С.149; В. Дозорцев. Цит соч. С.55-56.



После лекции А.Д.Синявского в Риге. 1962 г. Филфак ЛГУ (ул. М.Горького, сегодня – К.Валдемара). Слева направо: М.Румянцев, Г.Гайлит, неустановленное лицо, Л.Сидяков, З.Гильдина, Д.Ивлев, Т.Гринфельд, Н.Савинова, И.Карбанова, А.Иоффе, А.Синявский, Е.Федоров, Ю.Суворов, Е.Тоддес. Собрание Ю.Сидякова

* * *

На помещенной выше фотографии – второй справа будущий студент историко-филологического факультета ЛУ Юрий Суворов (1944–2017. Рига). На протяжении многих лет, с 1966 г., он писал нечто, позднее названное им «Антироман. (Киносценарий для Ф.Феллини)». На каком-то этапе работы над романом Ю.С. переслал свой труд В.Шкловскому (возможно, передал через рижан – художника В.Глушенкова и поэта А.Цапенко в их поездке в Москву, в т.ч. с целью визита – удавшегося – к Шкловскому). Через какое-то время последовал отзыв, публикуемый по тексту, набранному Ю.Суворовым в качестве предисловия к компьютерной распечатке одной из версий романа⁶⁶.

66. Собрание Б.Равдина. Ср. то же, с незначительным погрешностями: Ю.Суворов. Memento mori // СМ-сегодня. 1995. №191. 30 сент. С.6.

Виктор ШКЛОВСКИЙ

Уважаемый товарищ Суворов!

Вы много знаете. Умеете думать. Но антироман – это построение. «Дон-Кихот» антироман. И «Евгений Онегин» антироман. И тут надо решать вопрос построения.

Слово «анти» – это только отказ от построения.

Страницы есть удачные, и думать Вы умеете. И замечания – и бытовые, и литературные – интересны. Но это материал, привезенный для построения дома. Плана нет. То есть нет антиплана.

Вот у Кутузова был антиплан против Наполеона. «Меня не будет там, где Вы меня хотите разбить. Я вас разобью, когда вы выдохнетесь».

У Пушкина есть не только план романа, но и путеводитель – мне кажется, Стерн.

Положите материал на стол. Я, когда писал, вешал куски рукописи на стены, чтобы разобраться в рисунке. С кем я ссорюсь? От каких вопросов я отказываюсь?

Я советую Вам увидеть самого себя и самого себя переделать.

Возьмите кусок – не роман. Стройте рассказ.

Подумайте. У Вас есть Бабичев, а у Олеси их двое. И один из них без места. Его безместность уже тема. Потому что он большой человек, с разговором хотя бы с самим собой.

Схемы построения Пикассо можно уловить. Это разложение предмета. Схему Малевича можно отгадать. Это уплощение задания. Мне кажется, что Вы пока что запутались. А материал у Вас есть. Строить будет трудно. В таком виде этого никому не показывайте. Выбирайте кусок для построения.

Простите, что я долго не отвечал. Чужая рукопись путает старика. Так, как собаку запутали бы следы танцующего зайца.

Беспорядок должен иметь построенность, отбор.

В.Шкловский

Наша благодарность за помощь в работе – А.Бенбоу, Л.Буйкису, Ц.Воскобойник, Н.Воробьевой, В.Дозорцеву, Т.Зандерсон, Ю.Звиргздиньшу, Л.Калешук, С.Калешуку, А.Ракитянскому, С.Риге, Н.Рубинштейн, Э.Секундо, В.Стародубцеву, В.Суворовой, Р.Тименчику, П.Тюрину, М.Уральскому, Е.Феодорову, Л.Флейшману, Э.Фрей, С.Христовскому, И.Цыгальской, С.Чернобровой, Ж.Эзит.



Ирина Героль



Гарри Гайлит



Всеволод Лесиг

Помимо упомянутых выше кафе «Юность», «Дубль» и «Каза», напомним о модном, об одном из первых в городе летних кафе – «Astorija» (позднее: «Vecrīga»), в обиходе именовавшемся «Птичник» – «Putnu dārzs» (угол Вальню и нынешней Калькю).



Пиф (Павел Дембо)



Янис Рейнбергс



«Птичник» и его обитатели.
Из блокнота А.Никитина 1962-1963 гг.

СВОБОДА ОДИНОЧЕСТВА*

...И хотя по второстепенной, по собственной воле кое-где замутили нашу судьбу, самое реальное в ней вспомнилось и исполнилось в точности.

Абрам Терц

Шкловский говорил, что у каждого – свои привычки. И что он привык начинать книгу эпиграфом.

Я – тоже. И не книги, но чуть ли не всякое писание, не то чтобы в прозе, скажу иначе – не в стихах. А то и в стихах.

О том, как эпиграф связан с текстом, что следует за ним, наиболее внятно, на мой вкус, сказано Кржижановским – в «Искусстве эпиграфа». Вероятно, поэтому отказался я, в конце концов, от примерявшейся сначала предварить это вот говорение о поэте его строки: «Лавр идёт не на венок, а в пищу»... Из опасения, что она поведёт временами не совсем туда, куда мне хочется идти.

И без того *подставляюсь* – под бич, дежурно занесенный над всяким, кто берётся вспоминать: то и дело придётся говорить о себе.

«В моих стихах всё чужое и всё моё» (Жуковский).

То же – в памяти. В любой.

...Книжка называлась «Контрасты». Чёрный зигзаг, вертикально, по алому полю обложки, пополам поделенный серебром плотных, прямых литер заглавия, и сверху – серебряный курсив, диагонально рассеченный черно-красной границей: «Анатоль Имерманис».

Я раскрыл ее наугад.

Люди съели жар-птицу.

Подушку набили пухом.

Людям не спится –

Жар-птица поёт под ухом.

Жар-птица,

Жар-курица,

Жаркое...

Таковы этапы трагедии.

*Публикуется с любезного разрешения автора по тексту: Toronto Slavic Quarterly. University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. № 13. 2005 г. (<http://sites.utoronto.ca/tsq/13/perelmuter13.shtml>). Дергали биографии А.Имерманиса см. (ср.): A.Abola. Anatols Imermanis // Latviešu rakstniecība biografijās. Rīga. Zinātne. 2003. 243-244. lpp.)

За словами – бессознательная ассоциация: жар-птица – сияющий, искрящийся радужно на солнце всеми своими распушенными перьями-рефракторами павлин (сходство с ним видно в *жароптицевых* иллюстрациях к сказкам, в лубке, в обливной глазури гжельского фарфора), который – просто... курица. Но метаморфозы, в сущности, всегда трагичны...

Даже если художник, оформлявший книжку, долистал машинопись только до этого стихотворения, он попал в десятку.

На титуле значилось: «Авторизованный перевод с латышского». А в «Содержании» возле этой и ещё нескольких вещей: «Перевод автора». Разумеется, *оригиналов* у этих *переводов* примерно пятой части книжки не существовало. Но про то я узнал позже.

«Контрасты» не вписались, а просто-таки врезались в тогдашнее мое состояние – *контрастное*. Неудавшееся, дождливое московское лето – и солнечная прозрачность Взморья. Деловитая озабоченность стремительных московских прохожих – и «европейская» вальяжность завсегдатаев рижских кафе, расположивших столики на площадях и во дворах Старого Города. Даже эта вот книжная лавка между Дзинтари и Майори – деревянная избушка, стиснутая с двух сторон двухэтажными «курортными» особняками...

Я купил все оставшиеся экземпляры, пять или шесть, и раздарил их.

Если бы не «Контрасты», всё у меня в дальнейшем сложилось бы иначе.

Год спустя, в ноябре шестьдесят третьего, я позвал Анатоля Имерманиса на вечер «современной поэзии» в нашем институтском клубе¹. Запросто, в пять минут, получил телефонный номер в справочной, с первого раза дозвонился. Он тут же согласился.

Среднего роста, с непропорционально длинными руками и резко вылепленной головой на коротковатой шее, из-за чего у другого она казалась бы, верно, втянутой между плеч, но у него была чуть выдвинута вперед, создавая впечатление движения даже в неподвижности, он обращал на себя, приковывал к себе внимание без всякого к тому усилия. Песочный пиджак из какой-то диковинной плетеной ткани,

1. Речь идет о Рижском ин-те инженеров гражданского воздушного флота (ГВФ); он же: Рижский Краснознаменный ин-т инженеров гражданской авиации (РКИИГА).

этакой шерстяной циновки, красный вязаный галстук на черной сорочке... Непринужденная поза за столиком на сцене, в каждом жесте – естественная, я бы сказал, вежливая отдельность – от окружающих, от обстановки, от публики... Сигара, которой он попыхивал на протяжении всего вечера, институтско-клубные нравы были либеральными, прервавшись только на время чтения стихов, потом снова раскурил «с той же цифры»...

На вечере я читал из только что вышедшего *многообещавшего*, виделось, «Январского ливня» Сосноры. Он – три или четыре стихотворения, наверное помню одно:

*Я буду живым, чтоб её оживить.
Живым – чтоб её атмосферой быть.
Я буду грозой,
я буду дождём,
я буду водой и озоном поить.
И планета с огромным жаждущим ртом
будет
меня
любить.
Будет мной дышать, будет так дышать,
что душливым станет платье.
И вся на обзор – от каналов до гор –
нагая планета будет лежать,
задыхаясь в моих объятьях.*

Прямая, без видимого напряжения, фигура, руки слегка согнуты в локтях, взгляд – прямо, поверх слушательских голов, но не отрешён от них, просто *видит* – то, что переведено в слова.

Сильный, чуть надтреснутый голос, на грани тенора и баритона, звук словно бы не зависит от вдоха-выдоха, отчетливо выделяет не только созвучия, но слова, сразу – от этого – становящиеся *опорными*: атмосферой – водой – огромным – будет – душливым – планета – задыхаясь. Круг замкнулся...

Конечно, не *оттуда* мне запомнилось – так. Но после слышал эти стихи несколько раз: в одном и том же, раз и насовсем определенном исполнении.

По окончании подошел я к нему – поблагодарить. Он кивнул – с полуулыбкой, дескать, не за что, затем и здесь.

– Я завтра уезжаю в Москву, вернусь через две недели. Позвоните и приходите – почитаете свои стихи.

– Но я не пишу...

– Кто *так* читает – не может не писать. Не стесняйтесь...

Я тогда действительно не писал. То есть рифмовал, естественно, «на случай» или для тогдашнего КВНа «первого созыва», *стихами* это не считая, да и не запоминая. Но почему-то растерялся от его ироничной уверенности в правоте и... согласился.

В тот же день, уже к полуночи, бродя между клубом и общежитием, в парке, некогда бывшим еврейским кладбищем, неожиданно для себя сочинил стихотворение. Не помню ни слова, и, на нынешний мой взгляд, оно, верно, было бы слабеньким, однако что-то такое в нем, внутри, шевелилось, потому что, закончив, перечитав вслух раз, другой, третий, я уже точно знал, что буду *писать*.

Стихи пошли, посыпались – по два-три в день. За две недели их набралось чуть не три десятка. И к необыкновенной гордости моей Анатолий их расхвалил.

Так и началось...

Очень мне хотелось украсть для этих страниц заглавие у Вейдле: «Ходасевич издали – вблизи».

Имя заменить – и всё. Нет – ещё поменять местами наречия. Потому что без малого год я был именно *вблизи* Анатолия. А после – *бывал*, но больше: видел его, думал о нем – *издали*.

Однако безупречное заглавие украсть – без неуправляемых последствий – невозможно.

Пришлось позаимствовать, слегка, по случаю, исказив, у его почти-сверстника и со-изгнанника...

Вторая встреча – недели две спустя. Третья – через неделю. И всё меньше, всё короче паузы. Не помню наверняка, но не позже четвертого моего визита мы перешли «на ты».

Быть может, оттуда – много позже: «...Но муза, пред которой все равны»...

Мне такое дается трудно: со старшими ли, с младшими, – без разницы. Потому – обыкновенно – *уклоняюсь*: дистанция для меня – естественна.

Со старшими – и существенно, на десятилетия, – получилось – за жизнь – всего-ничего. И по их настояниям.

Ян Паулюк вырос в традиции, так сказать, немецко-латышской, где такой переход органичней и обыденней, быть может, потому, что куда менее фамильярен, чем по-русски. Он вообще был со всеми «на ты»: с главврачом больницы, куда как-то угодил; с хозяином хутора, у которого жил месяца три, забредя просто так, «ниоткуда», писал картинки, а за постой и харч расплачивался портретами членов семьи; с секретарём ЦК, *куруровавшим культуру*; с барственным сановником из Московской Академии Художеств; с ночным таксистом... Не говорю уже о художниках и писателях...

Юрий Домбровский объяснил, что «Юра и на ты» ему привычней – след многих лагерных лет, где «вы» было расстоянием между ним и «гражданином начальником». Ибо «начальник» должен знать своё место – и когда при мне секретарь СП назвал его «Юрий», мгновенно и жёстко поправил: «Юрий Осипович»...

Анатолю Имерманису это «вы» – в постоянном общении – попросту мешало.

Впрочем, ни фамилии, ни – тем паче – отчества, при упоминании его в Риге, среди пишущих, не надобилось. Он был – Анатоль.

Так на западной окраине империи промелькнула – для меня – поздне-античная [!] ассоциация: Гай Валерий Катулл, Квинт Гораций Флакк, Публий Овидий Назон, – когда по воле музы остается лишь треть имени, публике больше не требуется...

Что было до знакомства нашего, знаю от него, проверить негде. Он о себе связно – *сюжетно* – никогда не говорил, так, припоминал, если повод был или к слову приходилось, фрагментами. *Они постепенно сами собой срослись в изображение биографическое, разумеется, неполное, но другого у меня нет.*

Он родился в Москве, в ноябре 1914 года. До пятнадцати лет жил-учился там. Стихи начал писать по-русски, другого языка тогда не знал. Потом родителям, урожденным рижанам, удалось каким-то образом перебраться в «буржуазную Латвию». Анатоль заканчивал русскую школу, в программе которой были и латышский, и немецкий. Тогда и выучил: первые латышские стихи сочинил лет в семнадцать, уже после школы.

Потом – университет. За участие в студенческих «антиправительственных беспорядках» попал в тюрьму, просидел несколько месяцев – и вместе с такими же сокамерниками затеял соревнование по изучению английского. В тюремной библиотеке нашлось всего две «английских» книги – Библия и... почему-то научное сочинение с ветхозаветного происхождения заглавием «Онанизм». Обе пошли в дело: по первой, имея под рукой немецкий, латышский и русский варианты перевода (понятно, из той же библиотеки), *составлялось представление о грамматике, собирался словарный запас*, по второй тренировались в чтении-переводе. Один из заключенных был худо-бедно сведущ в произношении – со всеми поделился. По уговору, ежедневно – часа три – общались только по-английски. Впрочем, разговорный у Анатоля впоследствии был замедленно-растянутый, так подчас преодолевают заикание, а читал он свободно.

Из университета не выгнали, лишь год пропал. По окончании зарабатывал, верней, подрабатывал журналистикой, благо родители были живы-здоровы-обеспечены, могли позволить единственному сыну некоторое время вести рассеянно-богемистый образ жизни, дни и ночи проводить с такими же молодыми поэтами, художниками, музыкантами и, знамо дело, подругами, в этом «маленький Париж» во всю прыть подражал «большому».

В сороковом всё рухнуло. Кто сумел – сбежал, кто остался – вынужден был приспособливаться к советской власти. Газета стала для Анатоля «куском хлеба».

А во время войны он был репортером латышской «дивизионной» газеты.

В середине сороковых напечатал несколько стихотворений, опять же, в газете, только республиканской. И по той публикации приняли его в Союз писателей.

Никакие преследования Анатоля не коснулись. Антисемитская волна до Прибалтики докатилась вяло, ее и не заметили. Возможно, потому что память о Рижском и Виленском гетто, о том, что Эстония оказалась единственной европейской страной, осуществившей нацистскую мечту: «Judenfrei!», – еще была совсем свежа. А «космополитами» тут были объявлены-признаны свои, вроде любимца Риги Александра Чака, поэта, затравленного за «низкопоклонство», хотя почти никогда и нигде, кроме «Запада» не жил...

Чак пришел на память, видимо, потому, что именно он Анатоля «заметил и благословил».

И тот отработывал «благословение» по полной программе. Выпускал книги стихов. Сочинял приключенческие романы, считается основателем этого жанра в латышской литературе, – на пару с Гунаром Цирулисом, средней руки писателем, позже нашедшим истинное свое призвание в качестве члена правления Союза писателей, заботливо опекавшего Дом творчества в Дубулты. Собственно, Анатолю напарник нужен был не столько в соавторы, сколько для того, чтобы держать – временами – его взрывную, фонтанирующую энергию в прагматическом, если угодно, русле.

Работоспособен Анатолий всегда был фантастически, но – *спринтерски*. Без «трудолюбия». Прозаично водить пером по бумаге не любил. Зато мог диктовать практически набело часов десять-двенадцать подряд, потом три часа поспать – и по новой, сутки за сутками, пока книга не кончится. Фабулы придумывал так стремительно, что порой не успевал отделить их друг от друга, переплетались они причудливо и цепко. И тут рациональный, невозмутимо-корректный Гунар был незаменим.

В романах тех рассказывалось о всяких подпольных перипетиях «буржуазной» Латвии и Западной Европы, соавторы знали *предмет*, лобовой «клюквы» не допускали. Книги позволяли жить безбедно – быстро переводились на русский, некоторые даже выходили в «Золотой библиотеке» для юношества. По ним снимались фильмы.

Кстати, о фильмах. Перевести роман в сценарий для таких профессионалов, как Анатолий и Гунар, было делом плёвым. Но затем, на решающем, так сказать, этапе, к ним неизменно подключался третий. Его роль в сочинительстве, могу свидетельствовать, была никакой: три-четыре пустяковых правки вполне мог бы сделать и редактор. Зато *влияние* – на киностудиях – непререкаемое. Некогда сочинив сценарий знаменитого «Подвига разведчика», получив Сталинскую премию (еврейство этому еще не мешало), он стал, я бы сказал, одним из главных *распорядителей жанра*.

Анатолий говорил, что за такое – трети гонорара не жалко (да и потиражные гарантированы, в итоге выходит поболее, чем была бы «половина»), а при желании можно делать фильмов втрое больше. Кабы не лень...

В общем, был он поэтом-прозаиком признанным и благополучным, «постов» не занимал – и не хотел, в партии не состоял, деньги тратил щедро и со вкусом, с молодыми – на равных, со сверстниками и старшими – бесконфликтно, в отношениях неблизких, но дипломатически-дружественных.

Экстравагантность поведения, образа жизни снисходительно списывалась окружающими на, сказали бы сейчас, *имидж* поэта. Даже когда в середине пятидесятых книжку стихов, на русский переведенную, выдвинули на Госпремию, завистью ниоткуда не полыхнуло: не уникальный, однако нечастый, по тем временам, случай – в Союз писателей не пришло ни одного доноса-протеста...

Чем не персонаж тогда же, в пятьдесят пятом, написанной «Золотой розы», симпатичный повод для мемуарных и прочих ассоциаций: «Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи весёлый человек – латышский поэт Имерманис. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, ещё во время войны, на режиссёре Эйзенштейне»... Дальше – об Эйзенштейне.

Рассказываю длинно, не экономя, – хочу объяснить: в *том* движении и порядке вещей «Контрасты» были невозможны, ибо не было *контрастов*; и наше с Анатолем *пересечение* – тоже. Его должно было *качнуть*, чтобы линии сошлись – в точку. Астрономы теоретизируют, что Вселенная возникла из взрыва сгущенной в точку энергии...

И его *качнуло*. Да так *контрастно*, что маятник обратно не вернулся – никогда.

Сперва – *оттепелью*, докатившейся до Прибалтики-окраины с опозданием, к концу пятидесятых, но зато – по растерянности местных властей, до которых «Москве» некоторое время почти не было дела, своих забот невпроворот, – менее оглядливой, регламентированной, чем *в центре*.

Потом – любовью. Нет – страстью.

С осени-зимы 1961/62 Анатолий стал много, непрерывно-много, как бы не в силах сдержать напора рвущихся изнутри слов и ритмов, писать стихи по-русски. *Двуязычие*, обретенное/утвержденное в юности, наконец, добралось до поэзии.

Причиной тому – девятнадцатилетняя, на тридцать без малого лет младше его, «чистопрудная», из Кривоколенного переуллка, лёгкая де-

вочка Зина Травина, по образу и подобию Мэрилин Монро, превратившаяся из смазливо-обыденной брюнетки в ослепительную блондинку с широко распахнутыми карими глазами и броско-большими, слегка вывернутыми губами, отчего лицо ее всегда выглядело улыбочивым, даже когда она гневалась или собиралась разрыдаться.

Детская мечта о сцене обернулась кордебалетом оркестра Олега Лундстрема, чему предшествовали неполных два года циркового училища. И всё.

На пирушку в его гостиничный номер Зину привела подруга – «пассия» московского приятеля-стихотворца, привела – «для Анатоля». Но хозяин госте – с первого раза – резко, наотрез не понравился. Она ему – совсем наоборот, с утроенной, удесятерённой силой.

В гвалте, дыму, алкогольной аберрации эмоций –

...услышать тонкий голос Беатриче.

Провоцирует на скепсис. Но дальнейшее – против.

Он появлялся снова и снова, метался между Ригой и Москвой, преодолевая – по шагу – совсем иное расстояние. И эти расставанья-встречи-расставанья закружили постепенно обоих. И тут...

«Процесс Бродского» затмил, вытеснил из памяти то, что он был лишь эпизодом всесоюзной мобилизации на «борьбу с тунеядством». Как водится, рубка леса разносила щепки «далеко от Москвы». Девочка, выкинутая с эстрады – по делу, нет ли, не выяснишь, – очутилась в глуши Красноярского края. Анатолий, узнав, мигом оформил в те края писательскую командировку.

Это я считаю непреложностью.

Это наяву, но как в бреду.

Десять суток в общей сложности

я иду. Но я к тебе иду

не на собственных, а на колёсах,

не на собственные – на казённые...

Мне и сейчас, сорок лет спустя, «Чёрный чай» видится одним из лучших стихотворений о любви, какие знаю.

Значит, это не любовь, не памятник?

Просто так – каприз, желанье, жалость?..

Анатоль вытащил её, вернул в Москву, уговорил литератора-приятеля оформить её, – разумеется, фиктивно, «литературным секретарём», милиция удовлетворилась.

*Глупая, не будь командировочных,
поездов, дорог и просто хлеба,
тыщу вёрст по лестнице верёвочной
я бы лез к тебе, как лезут в небо...*

Теперь уже оба летали-ездили друг к другу, чуть только выдавалась пауза, либо помстилось нечто угрожающее этому двойному безумию. Всё время – на грани разрыва, порывали – и вновь порывались, *прорывались* – в страсть... Рига-Москва – под таким заглавием он издал в шестьдесят девятом в рижской «Лиесме» единственную свою книгу русских стихов, не камуфлируя под «переводы автора», но пояснив в двадцати пяти строках авторского предварения «биографическую» естественность появления такой книги.

Он переименовал Зину – в Зингу, ничего никому не объясняя, так захотелось, ей понравилось, когда, наконец, поженились, дело было в Риге, он умаслил знакомую паспортистку – вписать это имя в новый паспорт жены... Лишь недавно я сообразил, что произошло оно от немецкого «singen», *певучего глагола*...

Не сомневаюсь: если бы не стихи, ничего этого не было бы.

Александр Ревич, рассказывая кому-то об Анатоле, изложил вполне романтическую версию его *возврата* к русскому стиху. Дескать, возлюбленная не понимала по-латышски, а первые из обращенных к ней стихов были «латышскими», и переводы его никак не устраивали.

*Я тебя не люблю.
Не придётся мне по неделям
Болезнь от тоски.
Только всё, что до этих пор
Мне казалось счастьем, любовью, хмелем,
Надо вычеркнуть –
Оттого что всё это вздор...*

Перевела Тушнова – старательно, не без тонкости, в лирике любовной толк знала, короче – близко к подстрочнику. Но не к стихам – темперамент прицепился, еле сдерживаемого желания, жажды, и вовсе не

различить. А без них у Анатоля – о любви – не бывает. (Тем нелепей, добавлю, на мой взгляд, рассудочное «оттого».)

И тогда, по Ревичу, Анатолий стал писать – для нее – по-русски.

Эффектно, спору нет. Однако я думаю несколько иначе – проще. Он ведь с нею говорил-говорил-говорил – по-русски. А потом приходилось *переводить* на латышский. Не слова – мысль, эмоции. Неизбежно получалось не совсем то, совсем не то. Ведь русский всё-таки был первым. И первые любовные стихи сочинялись на нем.

По ассоциации. В девяносто третьем, в Париже я познакомился с Сорбонским профессором-славистом Мишелем Окутюрье. Русский язык он знал блестяще – с тонкостями, произношение безупречное. И я спросил у Синявских: на каком языке он читает лекции? По-французски. Но почему? И Розанова рассказала, что она однажды задала Мишелю тот же вопрос. Он ответил, что как-то решился – и объявил, что будет целый семестр, на пробу, читать по-русски. И прочитал... две лекции. При этом, поскольку первым его языком был французский, он, пытаясь передать непростую мысль, всякий раз чувствовал себя *приблизительнее*, «глупее» себя самого. И отказался от затеи.

Примерно то же, полагаю, происходило с Анатодем. Пока не сочинилось первое:

*Ещё глоток – и вот уж дно стакана.
Кафе закроют через пять минут...*

Впрочем, была и другая, литературная, что ли, причина у его русских стихов – о ней позже сказал сам Анатолий. Скажу и я – чуть позже.

Ещё мне кажется теперь, могу ошибаться, но – так вдруг увиделось и понялось: его энтузиазм по поводу моих тогдашних опытов, из которых несколько лет спустя не сохранил я ничего, всё было вытеснено совсем другими стихами, сравнения с которыми – для меня – те не выдерживали, энтузиазм этот, точнее назвать не могу, был следствием собственной необходимости преодолеть удивление пополам с недоверием, выказанное большинством тех, кто его знал, по поводу происшедшего в нём и с ним. Попытка сделать маловероятное – изменить литературную репутацию – кому удавалась? На моей памяти – разве что Липкину, да и то благодаря несоразмерно причине громкому скандалу вокруг «Метрополя».

Короче, Анатолий был, на свой, понятно, лад, в ситуации, подобной моей: в начале...

И с первого дня отнесся ко мне – вровень.

Происходившее в шестьдесят четвёртом, от зимы до осени, по-моему, сравнимо разве что с Кэрролловским «безумным чаепитием». По ощущению, эта часть рижской жизни моей длилась, как минимум, года полтора. Теперь подсчитал, что всё уместилось в каких-нибудь восемь месяцев. День шёл за два, а то и за три. События проживались сгущённо и стремительно, по несколько одновременно, без пауз и усталости.

Анатолий ввёл, втянул за собою – в свой круг, круговорот, водоворот. Познакомил, нет, сблизил со *своими*. С поэтессой Визмой Белшевицей [!], несколько лет как вернувшейся из Литинститута, в доме которой появлялись то Юнна Мориц с Леоном Тоомом, сбежавшие на неделю от столичных сует в редкостно заваленную снегом Ригу; там и тогда этот побег обернулся стихами:

*Снега выпадают и денно, и ночью,
Струятся на землю, дома огибая.
По городу бродят и денно, и ночью
Я – чёрная птица и ты – голубая...*

То целый вечер читали стихи и травили байки Александр Аронов и Вадим Черняк.

То делились привезёнными из Москвы литературными новостями степенные, как и положено в присутствии «младшего», то бишь меня, поэты-неразлучники Имант Аузинь [!], ещё не мысливший, конечно, через несколько лет стать секретарём Союза писателей, и Янис Петерс, в будущем, тридцать лет спустя, первый посол независимой Латвии в России.

А то можно было застать, забежав на огонёк, мирно попивающего чай гэбэшника, наблюдавшего за местными – и приезжими – литераторами и равнодушного – не только по службе – к литературе, а также к зелёным – в пол-лица – глазам хозяйки...

А напротив, через дорогу, половину второго этажа деревянной двухэтажки, три комнаты, занимала Кира Верховская, из бывших эмигрантов, при Советах пошедшая служить переводчицей в ГБ, поговаривали, что сотрудничала с «органами» и раньше, в сороковом,

но теперь уже на пенсии. Подрабатывала перепечаткой писательских рукописей, в том числе – Анатолевых. В остальное время валялась в постели с неизменной сигаретой, тешась английскими детективами, и поднимаясь эпизодически лишь затем, чтобы зарядить очередной кофейник, если дочери не было дома. Дочь, Лиля, на год меня старше, то и дело меняла одну незначительную работу на другую, пыталась писать стихи и рисовать и, «причастившись», пусть по касательной, нашей компании, блаженствовала.

Но главные действия творились, естественно, в десяти минутах ходьбы оттуда, у Анатоля. По весне я к нему почти перебрался, в общежитии обитал, лишь когда Анатолий *отлучался* в Москву, а так про-являлся два, от силы три раза в неделю, да и то днём – отоспаться, в институте – не чаще. Благо, двое молодых преподавателей, мои кол-леги по команде КВН, легко улаживали «учебные проблемы», зимняя, а затем и летняя сессии миновали без эксцессов, хотя мне уже ясно было, что в институте этом мне делать нечего. Опять же, Анатолий по-интересовался как-то: с чего это я там очутился? А на вялые рассужде-ния о «верном куске хлеба» и прочих банальностях среагировал иро-нически-уверенно, мол, умный, вроде бы, а глупости несёшь, ну, какой из тебя инженер, всё равно не сможешь этим заниматься, не твоё это дело...

Непросторный кабинет Анатоля – широкая лежанка изголовьем к окну, в ногах – задней стенкой – книжный шкаф, отгораживающий сумрачный угол против двери, журнальный столик, пара кресел, стел-лаж у правой стены, – клубился духом кофе и табака, звуком разгово-ров и стихов, джазом и роком из магнитофона.

Стеллаж был невысок, в полстенки, в нём – лишь то, что хозяин предпочитал иметь под рукой. На четырех языках. Обращали на себя внимание эффектные – демонстративной скромностью – переплёты многотомного немецкого издания «Мемуаров» Казановы. В углу ниж-ней полки – пачка журналов: *эротика* нацистской Германии, несколь-ко французских, примерно того же рода и времени, и с десятков срав-нительно недавних американских.

Казанову он высоко ценил – и писателя, и *мемуариста*. Его соб-ственный биографический багаж по этой части тоже был небеден – и послужил причиной полушутейного титула «энциклопедист секса». Он охотно рассуждал «о влиянии секса на творческий процесс», ссы-

лаясь преимущественно на свой – но не только – опыт – и, понятно, имел у слушателей официально-ханжеской эпохи немалый успех. В одной из его последних книг – «Автограф» – этой теме отдано немало страниц...

Где-то там, в остальной части роскошной, по советским понятиям, трехкомнатной квартиры, дом был добротный, «писательский», в другом мире, обитали жена и дочь лет восьми, от которых он давно отдалился. А здесь пробавлялся эсхатологическими парадоксами философ-скептик, знакомец и персонаж братьев Стругацких, Оскар Минц², вскоре уехавший в Израиль. Ему пытался возражать Раймонд Паулс, чья известность медленными кругами расходилась от нашего институтского кафе, где он выступал вечерами со своим ансамблем и солистом Бруно Оя, вчерашним баскетболистом таллиннского «Калева», еще не сыгравшим в нашумевшем фильме Жалакявичуса – в звездной компании Баниониса, Артмане и Адомайтиса. Смачно рассказывал о своих былых приключениях знаменитый джазмен сороковых-пятидесятых Sincor – композитор Лев Токарев³. Возникали-исчезали молодые стихотворцы, журналисты, киношники...

А потом – несколько дней – никого. Мы писали стихи, пародии друг на друга, болтали, молчали. Анатолий импровизировал детективы и фантастический роман – и то, и другое было потом написано-издано.

Оттуда я знаю, что стихи возникают на стыке праздности и движения – из ритмического гула.

Сочинялось и думалось вольно и неудержимо. Спали урывками – жаль было тратить время на сны.

*...Если б не бессмысленный закон
засыпания и пробужденья,
сколько за ночь сотворил бы он!..*

Иногда, наскучив затворничеством, отправлялись в Дом художника – к диковинному акварелисту Курту Фридрихсону или, чаще и охотней, к Яну Паулюку.

2. Минц Оскар (род. 1925 г.), журналист, фельетонист, переводчик; репатриант с 1974 г.

3. Токарев Лев Иванович (род. 1923), композитор и дирижер, со второй половины 1940-х гг. по (До?) нач. 1960-х руководитель ряда джазовых и эстрадных коллективов в Риге; автор музыки на стихи А.Имерманиса.

Ян, еще довоенный друг Анатоля, был ослепительным живописцем и личностью легендарной. В середине пятидесятых в Москве, в Академии Художеств, триумфально прошла его персональная выставка. После чего его... перестали выставлять в Риге. Раз в году, на осенней выставке появлялась одна-единственная его работа – и всё (поговаривали, что другие художники изо всех сил старались, чтобы их картины не висели вблизи Яновой – не увидят). Кто сколько-нибудь разбирался в живописи, понимали, что Ян – лучший. И что в *советскую живопись* он никак не вписывается.

*Он неподвижен. В кресло телом врос.
Прирос к стакану. Господи, как наг ты,
когда твой раб, твой шелудивый пёс,
под нимбами спиралевых галактик
сидит, рисуя излученьем глаз
нездешнюю, крылатую дорогу...*

Он был признан и житейски неприкаян. Мог закатить весёлый скандал в ЦК, популярно объясняя *ответственной* за искусство даме «бальзаковского» возраста, что она в этом деле ничего не понимает и заниматься должна совсем другим, если попросит, он подскажет. Мог на выставке подойти к академику-официознику и живо поинтересоваться, почему тот так безнадежно-плохо пишет. Отдыхавший в Дубулты Евтушенко, наслушавшись о Паулюке, уговорил Анатоля познакомить их. В мастерской ахал и восхищался, а хозяин тем временем боком сидел у стола, пил вино, рассеянно поглядывая на гостя. Наконец, прощаясь, Евтушенко сказал, что безумно рад: гении должны дружить. И услышал в ответ: «Это ты – гений? Да даже Вознесенский пишет лучше тебя!» Едва ли он знал стихи и того, и другого, просто Вознесенский побывал у него несколькими месяцами раньше (к слову, увидев, что листаю обнаруженную у него в мастерской «Мозаику» с Глазуновским портретом и размашистым инскриптом, Ян тут же передал ей мне)...

Он возникал внезапно – и так же исчезал, подчас на недели. На что он тогда жил – осталось для меня тайною. Но точно знаю, что работ не продавал, не хотел расставаться ни с одной. Иногда, совсем редко, дарил. Одна таким образом очутилась у меня.

Однажды позвонил к Анатолю в час пополуночи, в разгар бдений, сказал, что шатается по Старому Городу и ждет нас через два часа близ

Sant-Jakob. Все, кто были, человек пять, тут же снялись, наскоро изладили какой-то салат, всё, что обнаружилось на кухне, пошло в дело, загрузили в бидон, прихватили бутылку водки и почему-то серебряную рюмку – и отправились. Ян сидел напротив собора, на каменной скамье у «Трёх братьев», дома, упомянутого в любом Рижском путеводителе, задрал голову – на шпиль, над которым подрагивала, словно боясь уколоться, одинокая звезда. Мы устроились рядом, со вкусом выпили-закусили и шумно пошли по тесным сонным улочкам, разбредаясь в ответвления, переключаясь, на ходу меняясь собеседниками. Потом спустились к реке и уселись на парапет, дожидаясь первых рассветных отблесков...

Ночевал Ян, когда вообще ночевал, обыкновенно в мастерской, в квартиру свою, чуть дальше Анатолевой, по той же улице, навещаясь нечасто. Еще реже – с гостями. Две комнаты под потолок были набиты исписанными холстами, так что узкому топчану нашлось место только на кухне...

Пару лет спустя Лиля родила от него дочь. В восемьдесят четвёртом, после смерти Яна, Инта вдруг оказалась единственной его наследницей. Еще лет через пять она подружилась с моей Яной...

Всё перепуталось – и сладко вспоминать ... Водит меня и вадит, понимаю, но противиться неохота...

Как впоследствии выяснилось, это были последние *глотки свободы*. Оттепель поворачивала на заморозки. Уже копался в совхозной архангельской земле сосланный Бродский. Отправился на семь лет в лагерь по липовому делу замечательный латышский поэт Кнут Скуиниек, встревоживший местную власть слишком сильным влиянием на молодёжь. Уже бесчинствовал в Манеже Хрущев, а потом на Ленинских/Воробьёвых горах стучал кулаком на поэтов, художников, музыкантов. Однако нам казалось, что это – не ползучий ледник, а климатические недоразумения, что обойдётся, пронесёт, успеем... Сейчас я думаю, что мы тогда *спешили жить*, подсознательно чувствуя опасность, угрозу энтропии.

Стихи всё это знали лучше нас – в них предошущения становились словами.

*Это сон или что? Если сон,
почему он так долгод и тяжек?*

*Умирает штрафной батальон.
Умирает без всяких побряжек...*

Или так:

*Над нами свистят бичи,
спиральные свитки потерь...*

И ещё, как будто совсем о другом:

*Мы дышим горячим дымом.
С огнем пополам вода.
А море проходит мимо,
Спокойное, как всегда.*

Метафоры реализуются чаще, чем принято думать – и чем хотелось бы...

В конце мая на Взморье, в дощатом павильончике, тыльные окна которого глядели на дюны, открылась выставка – восемь работ Яна, разбавленных десятком монотипий, правда, недурственных, его тогдашнего приятеля (и собутыльника) Карла Цирулиса. Три комнаты ломились от посетителей. Анатолий, приложивший руку к сему предприятию и притащивший на вернисаж из Дубулты десятка три московских и питерских коллег-знакомых, чувствовал себя именинником: случилось то, что казалось нереальным, и это только начало... Кто мог предположить, что почти до конца жизни Яна подобного больше не будет...

Два месяца спустя я уехал из Риги – перевёлся в МАИ, не собираясь там учиться, но иного способа вновь прописаться у себя дома не было. Осенью в Москве появился Анатолий – и весь следующий год чаще и дольше бывал там, чем у себя, жил – с Зингой – то в Переделкине, то в Голицыне, то у знакомых. Тогда-то – от него – потянулись все ниточки, сплетавшиеся – для меня – в судьбу. Для начала он познакомил меня с Ревичем, переведившим часть его новой книги. Тот вскоре свёл со Штейнбергом, а затем и с Шервинским, – подарил две дружбы, без которых меня нынешнего просто не было бы. Один из приятелей Ревича, искусствовед и скульптор Лёва Незнанский, потащил меня по мастерским обруганных Хрущёвым Жутовского, Воробьева, Неизвестного, Громана.

Анатолий устраивал мне читки в «квартирах-салонах», где прежде читывал сам, на одно из таких выступлений привёл Александра Ми-

хайлова. Еще робевший в интеллигентском столичном пчельнике помор, скромный инструктор ЦК, пребывавший под началом А. Н. Яковлева, он только начинал критическую карьеру в центральной периодике, в частности, отрецензировал для «Литературки» последнюю Анатолеву книжку. Годом позже стал проректором Литинститута, помог мне туда поступить, были «национальные» проблемы, в семидесятом восторженно отрецензировал в «Советском писателе» рукопись стихотворной книжки (что, впрочем, не помогло ей выйти раньше, чем через пятнадцать лет), в семьдесят седьмом, едва узнав о назначении Главным в «Литературную учёбу», позвал меня туда работать.

Именно Анатолий сразу после вступительных экзаменов отвёз меня в Переделкино к Сельвинскому, который, выслушав и похвалив стихи, посоветовал идти в семинар к своему бывшему воспитаннику Сергею Наровчатову: он теперь влиятелен, может пособить в печатании и вообще не даст в обиду. За ту подсказку я благодарен Илье Львовичу по сей день. Хотя «в печатании» Сергей Сергеевич мне не *пособил*, однако *заступался* – дважды пришлось – без колебаний.

Еще была квартира смуглолицей красавицы-вдовы Майи Луговской (в миру не-литературном – доктора физико-химии Елены Леонидовны Быковой), где в гостиной, в сумеречном простенке, висел портрет-ню хозяйки работы Целкова и все горизонтالي заполоняли книги вперемешку с дивным фарфором и замечательными безделушками. Здесь мне довелось недели две наблюдать, как великолепная тройца – Майя, Анатолий и Лёва Токарев – пытались сочинить мюзикл. Разумеется, шедевр-бестселлер-сенсацию, покорителя театров и публики. Затея была непроходимо-безнадежной, представить себе, что это кто-либо рискнёт ставить-играть, было немыслимо, но фантазировали соавторы вдохновенно и веселились при этом безмерно...

В Голицыне, в Доме творчества, соседом Анатолия случился один из его эпизодических переводчиков, Владимир Лившиц, отец знаменитого впоследствии американского поэта-профессора Льва Лосева. Он читал нам свои переводы из англичанина Джемса Клиффорда:

*Ах, как нам было весело,
Когда швырять нас начало,
Жизнь ничего не весила,
Смерть ничего не значила...*

И далее:

*Мы из консервной банки
По кругу пили виски,
Уничтожали бланки,
Приказы, карты, списки.
И, отдалённый слыша бой,
Я, жалкий раб господен,
Впервые был самим собой,
Впервые был свободен!..*

Анатоль бурно обрадовался этой блестящей... мистификации. «Почему вы так решили?» подивился – Лившиц. «Потому что так не переводят»...

При публикации, если не ошибаюсь, в «Москве» автор превратил мистификацию в стилизацию. Но всё равно: стихи отличные...

В том, что жизнь сложилась так, а не иначе, Анатолю я обязан больше, чем кому-либо другому. И наверняка – больше, чем кто-либо другой из всех, кто его знал.

Осенью шестьдесят пятого Ревич устроил Анатолю выступление в ЦДЛ. То есть устроил вечер-обсуждение, этакое *открытое рабочее заседание* в Малом зале секции художественного перевода. Гвоздём программы были «лианозовцы», чуть ли не впервые *официально* явившиеся публике, – три четверти зала – их сторонники и поклонники. Естественно, они пришли читать стихи, но, для соблюдения *политеса*, начинали с переводов. Андрей Сергеев – из Фроста, Генрих Сапгир – из Овсея Дриза, Игорь Холин переводов не читал, но предварил своё выступление рассуждениями о «новом» отношении к слову и языку и о том, что сей опыт, на его взгляд, представляет известный интерес и для переводчиков.

Анатolia выпустили первым, как теперь бы сказали, «для разогрева публики», которая слушала его вполуха, нетерпеливо дожидаясь *открытия кумирни*. Он это мигом почувствовал – и не стал пытаться переломить настроение зала, хотя для него выступление такого рода – в Москве, в аудитории более или менее профессиональной, во всяком случае, «продвинутой», тоже было *первым*. Он коротко сказал о «русском» начале своего стихописания, о переходе на латышский и

о *возвращении*. Судя по дальнейшему, всё прошло мимо ушей. Стал читать – тусклее, чем когда-либо я слышал, в пустое пространство. Стихотворений пятнадцать, среди них, помню, «Батискаф», «В гробу, напоминающем сугубо», «Чёрный чай».

Потом пришло время Сергеева-Холина-Сапгира. Зал бушевал. Мне было интересно, но, странным образом, не запомнил ничего, кроме Сергеевского перевода «Звездочёта». Любопытнее – и артистичнее – прочего был Сапгир, но и его «взрослые» стихи, по мне, проигрывали «детским», в них было меньше *игры* – больше умысла. А творения Холина показали чем-то вроде комментариев-иллюстраций к тогдашней живописи Рабина.

Зато отчётливо запомнилось – *post scriptum*, – так было принято, обсуждение того, что прозвучало. В нём деятельное участие приняли, небывалый случай, сами выступавшие, двое резко, раздражённо напали на Анатоля. Сергеев с нажимом говорил об «арифметических стишках», камуфлирующихся «под поэзию», Холин разразился тирадой о необходимости намного лучше знать русский язык, чтобы «осмеливаться» писать на нём. Я сидел за их спинами, твёрдо знал, что они стихов не слушали, болтали между собой, и понимал, что раздражение, сильно смахивающее на хамство, не что иное, как самоутверждение за чужой счёт, и что Анатолий виноват перед ними уж тем, что печатается, этот мотив тоже проскользнул...

Анатолий остался невозмутим. И на обратном пути признался, что ничего другого не ожидал, ведь он – чужак, быть может, потому и не смог толком настроиться на чтение, а стихи у них «так себе» и не понял он только – о «знании языка»: на латышскую известность его намекал Холин или на еврейство фамилии?

Несколько дней спустя Штейнберг сказал мне, что из четверых ему наиболее интересен был Имерманис. Мнение тем более весомое, что «лианозовцев» он знал и раньше...

Летом шестьдесят шестого Анатолий и Зинга жили на Аэропортовской, у забытого ныне прозаика Константина Лапина. Однажды утром, ни свет, ни заря, то бишь часов в девять, а лёг я – уже светало, раздался звонок, спросонок не сразу я сообразил, с кем говорю. Анатолий то ли умолял, то ли требовал, а верней – и то, и другое купно, чтобы я немедленно хватал такси, он заплатит, и летел к нему. Всю ночь он сочинял поэму, кажется, сочинил, но понять не может – так

или нет, куски перемешались, выглядят бессвязным бредом, надо их распутывать, а он не может вспомнить – что после чего было в голове, вот и вопит о помощи.

Мы валялись на лежанках напротив друг друга, разделённые низким столиком, в комнатке метров двенадцати, накуренной до тумана, Зинга снова и снова наполняла кофейник, иногда ладила бутербродики и пыталась встревать в наш постепенно хрипнувший диалог.

Исписанные листки рассеяны были всюду, она собрала их, сунула мне. Анатолий вдруг заснул – минут на сорок. Очнулся – как не спал, но неожиданно бодрым, и чуть ли не продолжил фразу, на которой прервался.

Мы порознь читали и перечитывали фрагменты, тасовали их, перебрасываясь через стол, постепенно в них забрезжило нечто сюжетно-внятное, стало проступать всё отчётливей. Не хватало каких-то мелких связей, Анатолий их тут же сочинял, забракованные комкал-выкидывал, чтобы не путались перед глазами, делал другие...

Продолжалось всё это часов пятнадцать.

Так появились «Диогены».

Назавтра он был гуманен – позвонил после полудня. Был, в отличие от совершенно разбитого меня, оживлён и свеж. Сказал, что перечитал то, что «у нас» получилось, несколько строчек «чуть тронул», всё в порядке. И подумал: почему бы нам впредь не работать так же? Шутка меня ужаснула...

В том же, то ли в следующем году Анатолий и Зинга впервые поженились. Он уже знал, что в ней дремлет, подчас взрывно просыпаясь, неизлечимая болезнь. Шизофрения.

В октябре шестьдесят четвёртого она прилетела из Риги, позвонила в отчаянии: несколькими днями ранее случилось нечто, из памяти ее выпавшее, подробности она узнала от Анатолия (я тоже – Анатолий звонил накануне, долго рассказывал, просил помочь). Ссора из-за пустяка, внезапно сорвавшаяся в истерику, он попытался успокоить, она вцепилась ногтями в его лицо, вырвалась, убежала полуодетая из дому, дело было примерно в полдень, а около полуночи ему позвонили из милиции. Зингу задержали, когда она в разодранном чуть не до талии платье выпивала с кем-то незнакомым в сквере, в самом центре, от милиционеров отбивалась отчаянно, потом сразу успокоилась, словно очнулась, стала кроткой и жалобной, умоляла позвонить мужу,

известному писателю... Ей не поверили, однако номер набрали. Анатолю примчался в отделение, предварительно – звонком – вытащив из постели какого-то крупного эмвэдэшника, тот консультировал некогда один из его фильмов, словом, в милиции уже были предупреждены – и предупредительны, отправили их домой на своей машине, даже укутали ее, дрожащую, пледом ночного дежурного...

Мне, по счастью, удалось почти сразу – через знакомых – найти врача из психушки, тот за пару дней устроил ее в отделение, где работал. Он оказался хорошим врачом, тридцатилетний Женя, – сочувственным и терпеливым. Сочинял стихи, хотя показывать их – что Анатолю, что мне, – робел. Увлекался живописью своих пациентов – пару лет спустя позвал на вернисаж их работ, если верно помню, в Доме медработника на Большой Никитской.

Диагноз поставил безнадежный – и подробно объяснил, каким образом предпочтительно *строить жизнь*, чтобы посылно тормозить развитие болезни.

К слову, пару месяцев спустя бесценно помог и мне – подсказал, как отмазаться от армии – насовсем, но при этом нимало не вредя остальной своей жизни.

Что Зинге и Анатолю те советы не пригодились – не вина Жени. Он всё сказал профессионально-правильно. Но они были *неправильными*. Он предлагал систему. Они были *внесистемными*.

– Травину Зину
из восьмой инсулиновой
палаты.
– Подождите, она – там...
Я стою за дверью, а там
ты лежишь в глубоком
инсулиновом шоке.
И ни яви, ни снам,
ни даже мне
нет места в твоём сознании,
в твоём бессознании,
в твоём антисне...

Им предлагались размеренность, распорядок, покой. Они жили в рваном – рывками – ритме, не обращая внимания на «правила движения» по этой дороге, лишь бы ноги успевали за головой, страстно – и стрессно.

Вывод из первого больничного опыта был сделан парадоксальный:

*Спасибо врачам за науку
шоками шоки вылечивать...*

Благостное по всем приметам затишье внезапно, без определенной причины, сменялось самоубийственным клокотанием любви-ненависти. Эпитет – не для красного словца. Было: Зинга пыталась задушить спящего Анатоля, а когда он, очнувшись, отбился, бросилась к балконной двери и, разбив руками толстенное, двойное стекло, вспорола себе вены...

В тот раз он лёг в больницу, к Жене, вместе с ней, чтобы поддержать.

*Мессия, миссия, месса?
Это мы быстро излечим!
Простите, но у меня другая профессия.
Какая?
Быть просто сумасшедшим...*

Они расставались навсегда, разводились, разъезжались, чтобы через полгода, через год, встретиться, пожениться, быть вместе – насовсем. Такое повторялось то ли трижды, то ли четырежды.

*Развод. И снова бракосочетанье.
И вновь и вновь, как год тому назад
я отправляюсь в вечное скитанье
меж миром и тобой – мой рай и ад.*

Быть может, и хотелось бы иначе, но невозможно:

*И нету нашей близости нелепей.
И нету нашей дальности нежней.*

Их жизни расходились далеко, становились другими, чтобы в какой-то миг, резко изломившись, опять пересечься. И хватило этой шоковой терапии, трудно поверить, на четверть века.

*Моя любовь схожа
со шкурой убитого ягуара,
где отчётливо видны
только пулевые отверстия.*

Эпилог...

В конце шестидесятых очередные, самые, пожалуй, безоблачные, во всяком случае, по моим впечатлениям, свои лето и осень они прожили на Взморье. Анатолий был безмятежен. Работалось ему превосходно. За несколько месяцев написал книгу новелл, как бы перекликающихся с новеллистикой чтимого им Хемингуэя, сочинил фантастический роман, пачку стихов.

Мюссе говорил, что поэзия и проза – разные искусства.

У Анатолия так и было. Прозу он диктовал – записывали «литературные секретари», верней – секретарши, на моей памяти их сменилось не меньше десятка (в те месяцы оную роль – по совместительству – исполняла Зинга, узнала, наконец, что это такое). Правил уже по машинописи, впрочем, правки бывало совсем немного. Стихи возникали только на слух – диктовались ему.

Денег было очень мало, хватало лишь на кофе, дешёвые – отечественные, «Погарские» – сигары (без того и другого он просто не мог) да на хлеб с полукопчёной колбасой, «Краковской».

Для него словно бы не существовало разницы: жить на рубль в день – или на пятьдесят, утоляться кофе с бутербродами – или деликатесами шикарного ресторана.

Роман был вскоре издан. Из стихов удалось напечатать ничтожную часть. О публикации новелл речи быть не могло. Их судьба мне неизвестна.

Я тогда очень ясно представил себе, что, живи он в любой европейской, за-занавесной стране, пиши, допустим, по-немецки или по-английски, легко нашел бы себе нишу, издателя, образ быта-бытия, позволяющий реализовать большую часть задуманного. А так неосуществлённым осталось слишком много...

Для жизни надо мне одно – Париж...

И – в тех же стихах – позже:

*Кругом кипит предмартовский Париж.
Навозом конским пахнет и фиалкой.
И ты, Бессмертие, с железной палкой,
невидимое, за спиной стоишь.*

Туристического любопытства к Европе в нем не было вовсе. Единственный раз переехал границу, да и то ГДРовскую, в середине восьмидесятых. Из впечатлений: понравилось только пиво – и то, что его можно выпить буквально на каждом шагу...

Глубокой осенью они вернулись в Москву. Вскоре Зинга легла в больницу – без *аварийного* повода, просто, как они говорили, «подкрепиться», недели на две-три. И как раз тогда в Москве появился только что вышедший из лагеря Кнут Скуиниек.

С шестьдесят шестого он сидел вместе с Даниэлем, тот – в лагере – переводил его стихи, некоторые потом были напечатаны в «Дружбе народов», с псевдонимом переводчика «Ю. Петров».

Кнут сочинил в лагере огромное количество стихов, несколько сотен. Анатоль привёз его в Переделкино – читать.

В небольшом холле собралось человек восемь – Ревич, Межиров, Левитанский, Бурич, кто-то ещё, не помню. Впечатление было ошеломляющим, хотя читал Скуиниек, разумеется, подстрочники, кроме Анатоля, оригиналов никто бы не понял. Впрочем, некоторые вещи его просили прочитать и по-латышски – чтобы вслушаться в звучание. Особенно поразил «ветхозаветный цикл»: «Разговор с Иовом», «Плач Иеремии» (лет пять спустя стихи с таким же заглавием написал и Анатоль»), etc.

Когда обменивались мнениями об услышанном, Анатоль вдруг заговорил о себе. О том, что у Кнута его поразило обилие стихов не просто рифмованных, но изощрённо, виртуозно, организованных ритмически жестко и в то же время пластично, что в современной латышской поэзии ничего подобного нету, там давно и прочно господствуют верлибры, и что он, Анатоль, потому в свое время и ушёл в русскую поэзию, что не видел в латышской просодии таких привлекавших, увлекших его возможностей.

В середине семидесятых он – неожиданно для себя самого – снова стал писать латышские стихи, они имели успех, критика отметила, что это – «новый» Имерманис. И что, в отличие от младших *коллег*, изначально сориентированных на европейские, прежде всего – немецкие, поэтические опыты первой половины двадцатого века, свободный стих Анатоля органически связан с его прежним творчеством, со стихом рифмованным, просто сдвиг акцента от созвучия к ритму изменил их взаимоотношения...

Этот слом странным образом почти совпал с другим. С несчастным случаем: вечером в Дубулты он оступился, сходя с низенького бордюра на мостовую, упал – и очутился в больнице. С переломом позвоночника. Перелом, к счастью, был редкостным – не требующим для заживления ни корсета, ни постельной неподвижности, но лишь осмотрительности в движениях и позах, рекомендации элементарны: лежать, стоять, ходить, но не сидеть, разве что – как исключение, и недолго. Он, впрочем, сидеть и не любил.

Оправился Анатолий довольно быстро, хотя появившаяся в его повадках едва заметная осторожность, что ли, сохранилась насовсем. Существенней иное – психологическое – следствие: он отнёсся к происшедшему как к *знаку*, в смысл коего ему непременно надо было проникнуть.

Примерно в это время, чуть раньше, получив изрядный гонорар, он купил три картины Паулюка. Условия покупки любопытны: кроме естественного обещания давать эти работы на выставки по первому требованию автора, Анатолий настоял на расписке, в которой указал, что в любой момент готов вернуть картины Яну – или его наследникам – за те же деньги.

А несколько месяцев спустя он внезапно – в одночасье – занялся живописью. Чего другого, но этого я от него никак не ожидал. Потому что прежде он ни-ког-да не рисовал даже: я спрашивал – он говорил, что с юности любил смотреть картины (причем, свидетельствую, только «оригиналы», к репродукциям был совершенно равнодушен, в доме у него не было ни единого альбома), знал многих художников, с некоторыми дружил, но самому пробовать «что-то такое» неинтересно. А тут...

Он принялся за дело всерьез. Брал уроки у Яна. Впрочем, представить себе Яна в роли «учителя» не хватает воображения. Просто Анатолий некоторое время писал свои вещи в мастерской Паулюка, иногда одновременно с хозяином, тот мимоходом давал «технологические» советы, потом высказывался – о том, что получилось, подчас показывал, что какой-то фрагментик он бы сделал иначе. Но и только. Много позже, но ещё при жизни Яна, состоялась у Анатолия персональная выставка, он показывал мне журнал с двумя репродукциями и весьма благожелательной рецензией именитого искусствоведа. Не исключено, что на критика подействовало эмоциональное *вернисажное* выступление Паулюка.

За той выставкой последовало еще несколько...

Тогда же, почти одновременно с картинами и латышскими стихами, среди его русских стихов появилось изрядное количество верлибров, прежде ему не свойственных.

Мне всегда казалось, что у него слишком многое держится на *созвучиях*, причём нередко – не на *точных*, но – как бы поверней назвать? – на ритмическом ауканье гласных, что ли, на *перекличке гулокостей*, игнорирующей фонетическую скрупулёзность («голубизне – как все», «небытие – войне», даже «ко дну – в шкафу», etc.). Поначалу в этом могла увидеться «нехватка» русских рифм, этакая вынужденная небрежность. Однако с годами такого становилось не меньше – больше, всё отчётливей выделяясь на фоне рифмовки точной, нередко – изысканной. И прояснялось, что *полурифмованность* эта – всегда *смысловая*: так быстрое движение размывает, смазывает, как бы *прихватывает с собой* фрагменты портрета или пейзажа – и они... становятся его частью, *выражением*... К тому же есть вещи, говорить которые в *рифму* – абсурдно, художник это чувствует. При такой сложной звуковой организации *регулярного* стиха, верлибры Анатолю, вроде бы, удаваться не должны.

Я ошибался. Они оказались хороши...

Дятел.

*Как метроном, он выстукивал
отпущенное нам время.*

Ель.

Её тень казалась нам вечной.

Мох.

Он научил нас любить.

И – почти неизбежное:

мы попросту сбились с такта...

Как известно, всё связано со всем. Только связи эти не всегда различимы.

Был ли он религиозен? Говорил, что – не христианин, так вырастили родители, и, кстати, не очень этим огорчён. И что верит не в Христа, а в судьбу, в то, что каждый «проживает свою жизнь так, как ему предназначено».

Думаю, это – это тоже форма религиозности, которой у художника не может не быть. Не конфессионально, но по сути своей. Он ведь знает, что не творит, но соучаствует в творчестве.

Так Паулюк создавал себя *художником от Бога* – буквально, относился к живописи как к поручению, видел в ней не призвание – призванность.

То же проступает в стихах Анатоля, особенно заметно – там, где звучат темы/мотивы Ветхого и Нового Заветов.

Обе книги для него – глубоко трагические, в них – трагизм бытия в поисках катарсиса, трагизм жизни – с неизбежной платой за самоосуществление.

*...Я опять ухажу с одного обжитого распятья,
чтоб другое искать – новый крест всё под то же житьё...*

Скрежет железа по стеклу, железной вынужденности по натянутому нерву: «обжитого – всё под то же», – усиленный уже труднопроизносимым нагнетением: «то-же-жи»...

И – финал поиска:

*Я вишу на кресте и, как манны небесной, жду счастья,
Потому что оно – лишь для тех, кто висит на кресте.*

Потом возврат к теме – pro et contra – ироническое снижение пафоса:

*...Обшариваю тёмный небосклон –
ищу свой крест, дабы повесить шляпу.*

От бытия до быта – полшага...

Несколько раз мне довелось присутствовать при его «деловых» беседах – в издательстве, в Союзе писателей, на киностудии. Он был в этих случаях представителем, невозмутимо-серьёзен: как же! – знаменитый писатель, почти классик, роль первого плана, исполнение – ответственное. Лукавил, даже врал, не моргнув глазом, если шутил, то, как говорится, в доступной дуракам форме, от собеседников зависел его успех, потому имитировалась *игра по их правилам*.

*Это время железных дорог
Это время железной морали,
Это время железных невежд...*

Он хотел успеха. Пока не устал добиваться его.

*...Но хочет быть придворным дирижёром,
так хочет быть усталый человек...*

Или – проще, отчаннее:

*Признания!
Покуда ещё жив!..*

Он был первым встреченным мною человеком внутренней свободы, на которой никак не отражалась «тактика» жизни.

Такая свобода предполагает такое же одиночество. При долгой жизни оно постепенно просачивается наружу, окутывает...

Весною восемьдесят седьмого он заехал ко мне в редакцию. Мы сидели в полупустом кафе на двадцатом этаже, откуда открывался тоскливый индустриальный пейзаж.

*Отсюда город весь, как на ладони,
как на ладони свежие рубцы...*

Прихлёбывали остывший кофе, читали стихи.
Вдруг он сказал: «У меня кончается завод»...

*Бредешь и не желаешь знать,
когда, с какого пепелища
придется снова собирать
горсть пепла, пепла горсть...*

Тогда, на фоне всеобщей эйфории, диссонансом звучал его пессимизм: что-то он такое услышал в происходившем, что помешало обольститься.

В последний раз мы виделись зимой девяносто первого. Несколько дней назад гулким эхом рванула рижская стрельба. Рига загромодилась баррикадами. Ночами по Старому Городу нервно приплясывали блики костров. Женщины носили из дому горячую еду своим доблестным потенциальным защитникам.

В Дубулты было тихо и сонно. За окном, сквозь редкие сосны, виделось незамёрзшее, неподвижно-серое море. Совсем низко над ним – такое же серое, уходящее солнце.

Анатоль был один, валялся на койке, курил сигару, слушал музыку. Окно, по обыкновению, закупороно, не дай Бог – проветрить. На по-

вёрнутом к двери экране маленького телевизора мелькали беззвучно какие-то документальные кадры.

Он поднялся навстречу – видимо рад. Я привёз ему недавно вышедшие свои «Стихо-Творения». Он взял книгу обеими руками, несколько секунд внимательно смотрел, потом погладил ладонью обложку и вдруг... поцеловал её. Так – поздравил меня.

О чём говорили – не помню, ничего существенного. Запомнилось только, что стихов почти не пишет.

Я спросил о Зинге. «Не знаю. Наверно, в Москве. Давно о ней не слышал»...

В том же году с ним случился инсульт – выкарабкался чудом.

Второй удар – закрылся Дом творчества в Дубулты. Его Дом...

В последнем интервью, накануне восьмидесятилетия, он признался, что тогда стал задумываться о самоубийстве, на это у него были и другие «маловразумительные причины». Фон для таких мыслей был подходящим: «Моё нынешнее бытие – нужда, болезни, заброшенность»...

Анатоль умер в начале ноября девяносто восьмого, несколько дней не дожив до восьмидесяти четырёх. До меня известие дошло месяцем позже.

Мне говорили, что на пару лет его приютили в Доме творчества архитекторов, там же, на Взморье. Жил затворником, никого не пускал – не хотел видеть.

В девяносто четвёртом Дом в Дубулты открылся снова. И Анатоль вернулся – на три года – в гулкую пустоту сумрачного, нетопленного девятиэтажного строения. В соседней комнате обитал Марис Чаклайс, которого Анатоль знал еще юнцом.

Кроме них, там, вроде бы, никого и не было. Или почти никого.

Потом перебрался в свою пустую квартиру на Pērnavas iela.

О чём он думал в последние годы, ото всех отделившись, в замкнутом пространстве своего одиночества? Бог весть... Я и прежде, бывало, ловил себя на том, что не могу добраться до его мыслей, скрытых за словами, если эти слова – не стихи.

– Что хуже одиночества? – спросил журналист.

– Только одиночество! Это худшее из всех зол. Но вместе с тем я уверен, что каждый творческий человек на него обречён...

Существует рассказ очевидца (я бы сказал – *как бы* очевидца, потому что никого при нём не было) – о том, что Анатолий умер от... голода. Сломался зубной протез. На новый денег не было. И он просто перестал есть – не мог.

Думаю, это – легенда. Чуть не десятку накопившихся в нём тяжких хворей *помогать* таким образом не было особой нужды.

Но она – *в стиле*. Так могло быть.

Он ведь сам говорил, что «очень серьезно думал о самоубийстве и даже сочинил сравнительно безболезненный способ ухода». Что *отрепетировал* этот способ – в больнице, когда ему делали операцию: врачи ничего не заподозрили. И что, написав-издав десятки книг, финал личной драмы хотел бы сделать особенно *убедительным*.

*Из сукна, что неподвластно тлену –
из легенды – саван мне сошьют.*

Написано в семьдесят третьем.

В архиве обнаружилось много стихов, которых я не знал. И ни одного среди них, какое не *вписалось бы* в то, что я знал об авторе, в представление о нём. В его отношении к тому пространству времени,

где всем нам жить – не выжить никому.*

Июль-август 2005.

* Ниже следует приложение к статье В. Перельмутера.

Анатолий ИМЕРМАНИС

ШТРАФНОЙ БАТАЛЬОН

Это сон или что? Если сон,
почему он так долог и тяжек?..
Умирает штрафной батальон.
Умирает без всяких поблажек.

Умирает, брошенный в брешь, –
день за днем, за неделей неделя.
Вымирают волосы в плешь.
Нет зубов – есть вставная челюсть.

Не мертвец, не живой человек,
а бульдозер с двумя фонарями,
я вгрызаюсь стальными зубами
в мой двадцатый, мой каменный век.

Я уже полдороги прогрыз –
стройплощадка готова для рая...
Но великая армия крыс
удирает, мосты поджигая...

И бессмысленно обречен,
продолжаю биться вслепую.
Умирает штрафной батальон.
Искушает штрафной батальон
не свою вину, а чужую.

<1967>

* * *

Я знаю: сорвусь покато,
как пальцы с порванных струн,
но все же на крышу кровати
я лезу,
фанатик,
лунатик
твоих восходящих лун.
А луны так низко, так близко.
Я лезу, как в пламя железо.
Я знаю: я буду разрезан,
расплющен, тисками затискан.
Я знаю: погибну до срока,
чтоб новой
подковой
цокать
в твою новолунную ночь.

А лошадь ее потеряет.
А кто-то ее подбирает.
А кто-то ее прибивает
к порогу, чтоб счастью помочь.
И ты на неё наступаешь.
И ты меня в ней узнаешь.
И ты меня поднимаешь –
и – под подушку тайком.
Но ты его обнимаешь.
Но ты в новолунье играешь.
Но ты до беспамятства знаешь,
что будет потом.

А потом,
уоставши от новой игрушки,
приляжешь,
найдёшь под подушкой
и скажешь:
«Мой милый, мой глупый,
зачем ты не трус и не лгун?»

Я знала, ты так поступишь.
Зачем ты залез на крышу?
Ты слышишь меня?»
Да, я слышу,
я слышу, я лезу на крышу,
фанатик,
бессмертный лунатик
твоих закатившихся лун...

Рига, 1964

* * *

Без всяких мер и вер
торчащих над толпой,
я одинок как перст,
а ты – как перстень мой.
Твой след во мне глубок.
Ты держишься на мне.
Но сам я одинок,
А мы с тобой – вдвойне.
Подобие вериг,
отшельнику подстать,
зеркальный мой двойник,
нам вместе умирать.

Дубулты, 1.08.72

* * *

Терраса над морем нависла.
На нервах играет джазист.
Фигуры, в которых нет смысла,
Играют в бессмысленный твист.
От тьмы африканского лета
До света гренландской зимы
По шахматным странам паркета
Ритмически мечемся мы.

Мы дышим горячим дымом.
С огнем пополам вода.
А море проходит мимо,
Спокойное, как всегда.

13.10.65

ЗВЁЗДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Как они похожи на антенны!
К солнцу устремленные, зеленые
злаки
ловят хлорофиллом знаки –
аромат всей зелени Вселенной.

Свет в земные атомы одет,
набухает тяжестью планет.

Хлеб земной –
земное тяготенье.
Если б не бессмысленный закон
засыпания и пробужденья,
сколько за ночь сотворил бы он!
К сожаленью,
звездный человек идет ко дну,
звездный человек кричит:
«Спасите!»
ведь ему, которого ко сну
клонит ось, вращаясь по орбите,
по земной орбите без чудес,
вреден сон.
Он отдыхает без.
Вот он спит, сраженный наповал.
В сон не верящий, он спит без веры.
Вероломно, как земной кинжал,
ночь в него вонзилась атмосферой.
Сладостным дыханьем земным.
Сытым издыханием своим.

Выходная ночь. Ночь без чудес.
Тщетно просится в реальность лес
без деревьев, без земного, без
тлена,
расцветающий мгновенно
лес, вобравший соки всей Вселенной.
Ночь без плазмы.
Ночь земного хлеба.
Тщетно просит соли чья-то рана,
чтоб открыться не для криков боли –
для прошедшей сквозь регистр органа
музыки,
сошедшей прямо с неба.

Руку протянуть – и все свершится.
Руку дотянуть до звездной соли.
Но он спит. Ему земное снится.

Спит звезда наедине с рождением
и со смертью всех наедине,
спит
в плену земного притяженья,
тягостно ворочаясь во сне.
Вертится во сне,
но вопреки
наклонению земной оси,
вертится из мира сновидений
в мир, где оживают даже сны.

Потому что, сонных рук касаясь
по-земному теплыми губами,
бодрствует его звезда вторая,
бодрствует его звезда земная,
сноподобно бодрствует,
не зная,
что устами сотворила чудо:
через эти грешные уста
сын земли по имени Иуда
станет звёздным двойником Христа.

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

На мёртвых водопадах Вавилона,
багровой пеною смочив уста,
я считывал величие Закона
с исписанными трупами листа.
Иероглифы ведут за небосвод,
и тот, кому их тайный смысл понятен,
тот выведет из тьмы чернильных пятен
своих рабов, свой избранный народ.
И морем поведёт, как бы по суше.
Но он не властен повести назад
поток, что с места тронут и обрушен.
Столетия будет падать водопад
и возвещать Закон столетий миру,
и застывать, Законом отягчён...
И превращаться в сморщенный папирус
с десятком неразборчивых имён.
Чернильных пятен высушенный кал –
вот всё, что остаётся от Закона.
И только вечность воет, как шакал,
на мёртвых водопадах Вавилона.

1974 (?)

ФАНТАЗИЯ I

Безумье, крик
ночных атак
и серый мрак,
и лик
не божий,
а потаскухи
с нежной кожей –
и погреб превращен в чердак.
Привыкли складывать дрова,
топор и овощи хранили.
И вот сюрприз –

кругом на мили
одна лишь высь
и синева.
На пьедестале
красных крыш,
на цоколе из черепицы
в обнимку с небом ты стоишь
до уровня летящей птицы.
Твой погреб вырос, хоть пропах
картофелем, сырой осиной,
не крысоловом, а крысиной –
ты под землей как в облаках.
Куда он делся,
серый мрак,
безумье, крик
ночных атак
и потаскуха с нежной кожей?
Все превратилось
в божий лик,
усмешкой на тебя похожий.

Ялта, 12.2.84. Дом писателей

* * *

Немного надо – кров да пища,
прикосновение нежных рук.
Но вдруг и жизнь споткнется. Вдруг
уносит дымом с пепелища.
Горсть пепла горестно зажав,
бредешь, одна сплошная рана.
Но ты живой, и без обмана –
исправно склеил костоправ.
Бредёшь туда, где кров и пища.
Бредёшь и не желаешь знать,
когда, с какого пепелища
придётся снова собирать
горсть пепла, пепла горсть...

март 1976. Дубулты

* * *

Освещённое окно.
Женщина
перед зеркалом-роялем
разучивает по нотам
своё новое платье.
А в другом окне...
Всё равно...
Зачем вдаваться в детали?
Вы замечали,
что оконные переплёты
похожи на распятыя?
Это неспроста.
Из года в год
окна вечером умирают,
а утром воскресают.
А сны наоборот:
по вечерам оживают,
а по утрам умирают.
Это не случайно.
Это обмен веществ.
Диалектика жизни и смерти.
Высшая мудрость природы.
Окно умирает,
чтобы человек,
которого давно уже нет
в живых,
смог к нам придти
и поболтать о погоде.
Окна, как растения.
Их прозрачный хлорофилл
днем вбирает в себя свет,
всё, что солнце увидело
в свете огромном,
а по ночам отдает сновидениям
сахары радости и крахмалы бед,
и выращенные окнами сны

начинают шагать по комнатам.
Освещённое окно умирает.
Женщина засыпает.
Новорожденный сон
просыпается в детской кроватке.
Женщине снится,
что платье надевает ее
и перед роялем-зеркалом
приглаживает морщинки-складки.

<1971>

* * *

Отрывается всё: равнодушие, вера, проклятья.
Забывается всё: смерть любви, смерть любимого,
даже забвеньё само.
Я опять ухожу с одного обжитого распятыя,
чтоб другое искать – новый крест всё под то же житьё.
Достаю где-то гвозди. С трудом прибиваю запястья.
Одному неудобно, противно и больно вдвойне.
Я вишу на кресте и, как манны небесной, жду счастья.
Потому что оно – лишь для тех, кто висит на кресте.

середина 1970-х

ИЗ ДНЕВНИКА 1975 ГОДА

Нина Онуфриевна Орлова, автор публикуемых ниже дневниковых записей, родилась 19 января 1894 г. в Полоцке. Там же в 1911 году окончила Спасо-Ефросиньевское епархиальное женское училище, с правом преподавания в начальной школе. Всю свою дальнейшую жизнь, служила, как говорили когда-то, на ниве просвещения, неустанно сеяла разумное, доброе, вечное – сперва в Галиции, затем в Петербурге... и, наконец, волею истории XX века – в 1920-х-1930-х гг. – учительницей русского языка в довоенной рижской 9-ой основной (шестиклассной) школе на ул. Маза Нометню, 14; в послевоенной там же, на Нометню, в семилетней.

Закончились школьные труды и дни... Но по-прежнему есть куда отдать себя, свою подвижническую натуру – взрослой дочери Ольге и её мужу (во второй половине 1920-х гг. иподиакону Рижского кафедрального собора), давним ученикам, широкому окружению – рижскому и рассеянному по всему миру, переписке, хождениям на почту, кладбищам, где покоятся родные и близкие, взгляду из окна, наблюдениям за природой, кормлению птиц, неудержимому чтению, осмыслению снов, разборке архива и библиотеки, всепожирающей печке, воспоминаниям, церкви – с детских лет неизменной радости ее жизни (сколько препятствий нужно было преодолеть советской учительнице, чтобы войти в храм. По воспоминаниям дочери, Нине Ануфриевне пришлось уйти из старших классов семилетки в младшие – в старших требовалось вести антирелигиозную пропаганду).

Шли дни, годы, и все чаще приходилось думать об исчезающем времени, о земном и вечном... На наш взгляд, в значительной степени дневник этот -- об инерции жизни на пороге неминуемой пропасти, и на наш взгляд, инерция эта представлена в дневнике последовательно и выразительно.

Записи в дневнике 1975 г. велись ежедневно, с минимальными пропусками, объём – от нескольких строк до страницы, в редких случаях с «переползанием» на соседнюю. Для записей использовался типографский «Календарь-дневник» с фиксированными датами на каждой странице. (Отчасти этим объясняется в значительной степени конспективный характер дневника, тем более, что нижняя половина страницы, насколько можно понять, предназначалась для выписок из

прочитанного.) Случалось, к тексту 1975 г. автор возвращался позднее, чуть уточнял его, расширял. Вырванных страниц, зачеркнутых, зачернённых записей в дневнике не обнаружено.

Из дневникового наследия Н. Орловой за 1975-1980 гг. читателям пока предлагаются выбранные места за первое полугодие 1975 г.; хотелось бы надеяться, что в дальнейшем будут обнародованы и другие страницы. В публикацию вошло более двух третей записей от указанного временного отрезка. Судя по некоторым оговоркам, дневники велись и прежде, но не сохранились.

При публикации, как правило, опущены многочисленные выписки из прочитанного, ситуативные повторы, частично опущен церковный календарь. Сохранены некоторые особенности авторского использования прописных букв. Приведённые в дневнике выписки из разных источников, прозаические и стихотворные – не всегда точны. При цитировании автор дневника, случается, опускает кавычки.

Публикация, подготовка текста, предисловие и комментарий – Б.Равдин, С.Цоя.

Глубокая признательность Ольге Николаевне Клявине за содействие в работе!

О Н.О.Орловой см. ещё: Т.Фейгмане. Нина Орлова (Русские Латвии // (<https://www.russkije.lv/ru/lib/read/n-orlova.html>); Б. Равдин. «Свет незакатный». (Из писем читателей Ивану Бунину) // Рижский альманах. Вып. 7 (12). 1917. С. 184-195.

Нина Орлова

Дневник 1975 года (январь-июнь)

Новогодняя ночь у Оли.

1 января. Позднее возвращение домой. Снежок, тихий вечер дома. Папина книга: Ф.Фаррар «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». [Выписки из Ф.Фаррара.]

2 января. «Отче наш» – «Бог не хочет делать из молитвы утомительное бремя. Отцы Церкви называли эту молитву «Сокращённым Евангелием», жемчужиной среди молитв». [Ф.Фаррар.]

3 января. Слегла надолго. Постель и книга.

4 января. Поднимается температура выше. Воспаление лёгких? Олины трогательные заботы.

В основе христианства – братская любовь, всепрощение, сострадание. И евангельская притча о Блудном сыне – это ангельская поэма о нежности и любви.

5 января. Незаконный литературный запой, вредный, опасный как наркотик.

6 января. Врач Бабенко. При уходе неожиданное приветствие, сказала: «Поздравляю с наступающим Праздником».

Сочельник, Святой вечер. Воспоминания детства и юности.

День Ангела Клавдии.

Чувствую себя необъяснимо хорошо. Но жар!

*Всё было как на Рождество,
Когда дары давались даром.
А жизнь всходила лёгким паром
В туманно-звёздной вышине...*

Ал. Блок.

7 января. Рождество Христово. Христос Рождается, славите Его!

Пришёл поздравить Павел Тихомиров: альпийская розовая фиалка-цикламены – масса цветов. Цветы вместо ёлки. Но кашель, кашель.

8 января. Температура держится. Постельный режим. Воспаление лёгких. Горю синим огнём.

Большая почта. Пенсия.

9 января. Болезнь продолжается в тишине и одиночестве. Температура к вечеру поднимается. Обо всём хлопочет неутомимая Оля. Стогаю как ёлочная свечка.

11 января. Утром гостя – пришла навестить Валя (Сафо). Милая, добрая, верная душа. Трогательные заботы о моём усиленном питании: курица, апельсины, оливковое масло, шоколад.

Придворная поэтесса – Валя. Очередной акrostих и поэтическое посвящение старой учительнице ко дню 81 г. от учеников.

*... И дышит холодом и леденит сознание,
И медленно течёт и стынет кровь,
Но память не отдаст свои воспоминания,
И юность, и весну, и первую любовь...*

12 января. Слишком продолжительное время без посещения храма. В жизни этого ещё не случалось. Старческая пассивность. Раздражающий кашель из глубины груди.

13 января. Вечер над «Дневником» М.Пришвина. Последние три года жизни. 1951-1954 гг. «Нет привычки лечиться», – говорит Пришвин. То же и у меня, нет этой привычки. Просто болею тихо, никого не беспокою.

14 января. Горчичники. Все приметы старческого распада. Всякая борьба напрасна. Всё самообман. А в былые годы этот день 14 января – память Св. Равноапостольной Нины, мои именины. Поздравители, цветы, подарки. Стихи и проза. Деревце белой сирени в Бердянске в 1916 году. Как много было всего и как всё это совсем теперь не нужно.

16 января. Скончалась моя нижняя соседка – литовка Араминис. У неё была горестная судьба. Да будет вечным мир её душе!

Целый ряд умерших за последние годы из нашего круга [см. Приложение].

18 января. Навечерие Богоявления. Крещенский вечер. «Во Иордане» – слышу папин голос.

Трогательный обряд освящения воды, освящения жилищ и домашней твари. Вкус ледяной крещенской воды.

19 января. Крещение Господне. Многочисленные верующие наполняют Церкви. Благоговейное Богослужение, ликующее пение, словословие из глубины сердец. Как много ещё даётся человеку.

Вся жизнь связана с Церковью, и вот в болезни, одна в своём жилье переживаю и как бы вижу и слышу всё происходящее в Церкви.

За окном туман. Выше 0° градусов. Ночью сильнейший пот. Кашляю меньше. Кормила птичек за окном.

20 января. Утром звонки и стуки, слишком рано. Не открывала, никого не жду.

День моего рождения – фактически, по истинному календарю. Сколько в детстве раннем и в школьные годы (Спас) радостей и неожиданностей. Хотя бы в Спасе утром отглаженная пелерина с бантиком, в волосах бант, вместо класса – уход в церковь к обедне – все именинницы. По возвращении булочка к чаю вместо черного хлеба. А в парте – открытки цветные, картинки, письма от подруг. Сознание своей исключительности в этот день, торжественность, взволнован-

ность. И как жаль, что наступает вечер и всё кончается, как кончается ёлка, праздник, всякая радость.

21 января. Хороший лёгкий день. После полудня долго светило над чёрной землёй зимнее золотое солнце. Воробьи заняты гнёздами.

Без Церкви, без воздуха больше 2-х месяцев.

Пора выходить, не решаюсь, какой-то страх держит в стенах. Ноги боятся земли. Земле всё земное.

22 января. За ночь Рига побелела, чуть присыпанная снегом. Однако к обеду ртуть поднялась выше нуля и опять дома, деревья, заборы сложились в старую гравюру.

Хотелось привести в порядок листки со стихами Вали – не удалось, многое затеряно, сожжено с письмами.

Стол уставлен цветами. Весь январь праздничный. Но вечером неуклонно поднимается температура. Что-то невидимо разрушается внутри.

23 января. Послания от Люси Якобсон и Юрия Шумакова.

Прочитаны: «Литературная газета», «Советская Латвия», «Неделя», «Крестьянка», «Работница».

Уборка: вещи просят о помиловании, о чистке, о поправке, просят второй жизни. Всё напрасно. Руки не доходят.

24 января. Почта. Поздравления продолжают. Прекрасные книги от Алекс. Ив. Особенно радует «Закарпатье».

Выше нуля +5°. Подобие апреля. Хороши силуэты обнажённых деревьев. У каждого свой тип, свой характер. Почти пустая палитра: уголь, мел, охра. Сады, парки, скверы голы, пусты. Только ёлочки-ёли не спят, вечно живые, вечно зелёные.

«Неделя». № 1. 1975. Уильям Фолкнер. «Завтра».

25 января. Татьянин день – испокон века широкий праздник, от домашнего стола до университетской кафедры.

Большая почта опять, и кроме туземных, еще и заокеанские поздравления.

Оленька вечером с продуктами усиленного питания. Усталая, истощённая. Слишком велика нагрузка для такой хрупкой девочки.

26 января. Воскресный день. Весь день в тишине и самоуглублении. У иконы – розовый огонек лампы, передо мною на столе Фаррар.

28 января. И все же надвигается запоздалая зима. А на календаре – последние три дня января.

В 8 часов вечера посетил меня добрейший Борис Влад. – последний поздравитель. Опять дары, послания, письма, «Три мушкетера».

29 января. Ещё безвыходно дома. Опять Нижинский, его горестная судьба.

За окном сухой снежок. На земле соль и перец.

Слово Св. Иоанна Златоуста «Мир есть мать всех благ, он есть основа всех радостей, источник всех успехов».

30 января. Долгожданное послание от Медеи и поздравление из Праги от Вари Сенкович.

Опять сухой снежок, чуть выше нуля. Сижу будто в цветнике. Азалия, цикламены, тюльпан, ландыш, именные дары.

Перегорела лампочка. Весь вечер – «Вокруг света» у маленькой настольной лампочки. Пестрое, увлекательное содержание журнала.

«... Одинокий тюльпан, чудом проросший сквозь трещину в скале, кровавым пятном колыхался на горном ветру». Алимкулов. Перевод с казахского. (Картинно!)

31 января. Последний день месяца. Сплошь одни праздники, письма, посещения, подарки. Итак, уже прожит один месяц нового года.

На горизонте зловещие тучи, но будничный быт с уборкой, покупками, питанием заглушает тревогу. Но как стремительно пролетают дни, физически чувствую их движение и холод полёта.

Опять сухой снег и ртуть ниже нуля. Какой тихий дом, мой тихий старинный город, такой старинный средневековый город. Живёшь будто в сказке Андерсена. А кто помнит, кто знает, что в глубине запасника Исторического музея покоится бронзовая статуя рыцаря Роланда – христианский идеал благородства, честности, отваги в прошлые века? Памятник забыт, место памятника занято другой скульптурой. А Роланд покоится во мраке музейного подвала. И там же погасшие фонари с Ратушной площади.

1 февраля. «Как февраль не злися, как ты март не хмурься, – всё весною пахнет...» – народная поговорка? Нет...

В природе прибрано и украшено – «Снег облагораживает мир» (И. Сельвинский).

Как-то странно ощущать себя в феврале, в предвестии весны, не испытав, не видев зимы. Где-то в высших планах отменяются зимние нормы.

Наконец отправлены письма в Псков, в Detroit, книга Алеше в Москву.

В.Ф. Нижинский (больной): «Мне хочется плакать, но Бог приказывает писать. Моя жена плачет, плачет. Мое дитя видит и слышит всё, и я надеюсь, поймёт меня. Я не хочу, чтобы люди думали, будто я великий писатель, великий артист. Я простой человек, который много страдал. Я всех люблю, я не хочу войны. Я хочу всех любить...» 1943 г.

2 февраля. Весь день в полудрёме. Кусочек мира за окном: старая яблонька, берёзка, заборы, беседка, деревянные особнячки. Синички суетятся на яблоньке. Погода на 0о, снежок еще держится на земле. «Да, снег облагораживает мир» (Илья Сельвинский).

В.Ф. Нижинский. Киев, 28 февр. 1889 года † 1950 года в Лондоне.

3 февраля. NN 11-12 ЖМП [Журнал Московской патриархии]. Богатое содержание и легко читается между строк – жалкие обломки бывших монастырей.

4 февраля. Оттепель. Сосульки ледяные красуются и капают. Дорожки чёрные. Снег только для контраста, для контуров, для усиления гармонии деревьев и строений.

Журнал «Иностранная литература» далёк от совершенства. Всего хуже переводы чешских и немецких писателей (угодники и приспособленцы). Выше, оригинальней [переводы] японские, польские, словацких писателей. Господствуют надоевшие темы: фашизм, Вьетнам, негритянский (цветной) вопрос, хиппи – язвы нашего времени.

5 февраля. Большая зарубежная почта. Марки, карточки, широкая информация. Зина Черн., Аня + Джо, Анна Акимовна – с открытым сердцем, широкими объятиями, верная душа.

Опять Пришвин, его мысли, его «Дневники». Какие шероховатости, угловатости встречаются у него в словах и оборотах речи. Так и хочется исправить, заменить. И рядом благоуханные, солнечные, розистые картины цветущей или зимующей природы.

6 февраля. Georg Berner-Kobro, München. Сильнейшее потрясение – через много лет первое письмо от Юры Бернера – ныне Георг Кобро, дипломированный переводчик. Мюнхен. Та же квартира... Женился. Как не вспомнить Веру Ник., ныне покойную, мальчика Юру и шоколадную кудрявую собаку Тяфку, назад 10-12 лет? Бывают же такие чудеса.

7 февраля. Снежное утро. Слабое подобие метели. Послание из Пскова. Зин. Ив. с пакетами. Оля после фильма «Центурион». «Жизни мышья беготня» – весь день.

Вечер с М. Пришвиным. 1951 год. Есть истинные перлы, но и просто старческая болтовня. И эта приниженность, угодливость, служение «современности», застарелая запуганность – усилие её побороть, выправиться. И только за три года до конца, высоко поднял голову и заговорил почти в полный голос.

9 февраля. Два месяца прошло, и вот сегодня, наконец, решалась поехать в церковь. Во время пения «Херувимской» вошла в Св. Храм наш. «Мир всем» – вот источник мира, оправдание жизни, освящение смерти и примирение с неизбежностью зла.

В тишине и полном одиночестве провела этот воскресный день. Окно – это рупор в свет, барометр и телевизор. Тихо, сухо и тепло. Не февраль, апрель на дворе. Кормила голубей. Одна пара не кормилась, была занята своею птичьей любовью. Голубь ворковал и кружился около самки. Она неуклюже уклонялась. Раннее токование у птиц – зов весны.

От впечатлений дня устала до головокружения. Рано уйду в мир сновидений.

Разбила второй градусник.

10 февраля. Утро понедельника. Начало той же бесцельной, тревожной недели, как и предыдущая. С утра пылает в яме костёр в саду Роллеса – крематорий для тахты, шкафа, тумбочек. Мода ускорила их конец. Пламя высокое, дым, пустой голый сад под сырым зимним небом.

Поздравление от О.Ф. Бенуа. Стихи Арх. Иоанна Шаховского. Спасибо!

*Кто истинно в Бога верит,
Сердце того в Раю.
Он жизнью Христовой мерит
Бедную жизнь свою.
Трудна дорога земная,
И нет другого пути.
Как только к двери Рая
Сердце своё нести.*

12 февраля. С утра острая тоска, горечь сознания «зажилась на этом свете».

Неотложные бытовые заботы наваливаются и отвлекают от мрачных мыслей. (Дрова, печка, завтрак, уборка, почта). (Мировой хаос в политике). К вечеру тонус жизненный нарастает, тогда дневник, письма, книги. И за полночь живу духовной жизнью. Значит, по утрам не душа, а старое изношенное тело, полумертвое, ночью с трудом возвращается к жизни, и сердце с трудом переходит на дневной ритм. Оттого упадок сил, депрессия, тоска по утрам. Это и есть аномалия старости.

13 февраля. Широкий брезент «Литературной газеты». Язвы нашей эпохи: лицемерие, бесчеловечность, легкомыслие, бесчестие.

Второй выход после болезни. Ноги отвыкли от ходьбы по тротуарам. Глаза ослабели, острая близорукость. Всё как-то чуждо и призрачно в мире.

Совершенно новые понятия: стимул, эмоции, стресс, секс, допинг, тонус, импульс.

14 февраля. Оля с карточкой ко дню 50-летия П.К. Снег, солнце, лёгкий мороз.

Канун праздника Сретения. Всенощная в Троицкой церкви. Торжественное вступление – освящение хлебов.

Мороз крепнет, но ещё не сретенский.

15 февраля. Сретение Господне.

Благодарю Мих. Мих. Пришвина за частые встречи. Он – мой современник, как и он, в годы 1950-53 прохожу вслед за ним последние ступени-пороги.

Кое-что мне не нравится в нём. Кое-что необходимо поправить, уничтожить.

Роскошный снегопад. Шла в церковь к обедне сквозь легкую пышную метель. Довольно одного окна человеку, – говорит Пришвин. Это микрокосмос и для меня. Любуюсь, вспоминаю ряд зим в прошлом. Снег, деревня, мирная жизнь.

16 февраля. Спасибо Илге за эту книжку – календарь-дневник. И всё же досадно: как она связала на целый год меня новой заботой: помнить, не забывать, ни одного дня не пропускать – вести ежедневные записи. Будто мне дали аванс и я обязана...

Позднее воскресное утро. Ни души, ни звонка, ни стука. В доме тихие изредка шумы. Мирная, благодатная тишина – бальзам для утомлённой души, для старческого сердца.

Вспоминается вдруг отвратительный сон минувшей ночью. С Олей пришли с визитом к Прокоповичам. Приветливая встреча, целуемся. Уходят с Олей показать свой район. Низкая грязная подвальная кухня. Вода стоит под ногами. Потом оттепель, грязные лужи, провалы, снег и грязь, вязну, утопаю. Из тахты протягиваю руки: «Помогите»!

17 февраля. Чудесное февральское утро. Яркое солнце, оттепель, но снег ещё держится.

В «Литературной газете» интересный очерк: «Аляска – её прошлое и настоящее».

К вечеру температура, озноб, сонливость. Задремала, проснулась от холодной дрожи, прижалась к печке, едва согрелась. А натоплено хорошо. Но неблагоприятно внутри во мне озноб предупреждает.

18 февраля. Только газета. Никаких вестей.

Смотрю вниз, внизу наш двор. Малыш шагает по снегу на лыжах! Двое других гоняют шайбу по утоптанному снегу. Девочки пробегают с сумками. Сегодня солнце не выглянуло. Облако, ртуть на нуле.

Читаю записи за VIII. 1961 года.

1. Смотрела спектакли Московского театра – «Мадам-Сан-Жен», «Король Лир»»

2. Кинофильмы – «Собор Парижской Богоматери».

3. Посещение Этнографического музея в Valoži. Очарование древнего народного быта; на фоне леса сельская церковь, школа, усадьба, пуньки, мельница, колодцы. Пасека – колоды – ульи. Уютный интерьер. Печи, мебель, ткани. Были соседи – кривичи – балты, много обшего.

19 февраля. Исторический день 19 февраля. Папа был близок к этому событию, ему было тогда 11 лет. Он помнил многое. Жил и страдал под гнетом исторических событий. Жестоко страдал до 1934 года. Вечный покой его душе!

21 февраля. Долгий вечер с А.Никитенкой. 1804-1877. Долгий век, богатые воспоминания. Поражаюсь, как близки мне те годы – столетие в прошлом. Страна, события, встречи, множество замечательных лиц. Размышления политические, религиозные, философские. У меня к этому огромный личный интерес, будто сама я жила в том веке, в том же облике А.Никитенки.

23 февраля. Письма без ответа. Поздравления не отправлены.

24 февраля. Скончалась милая Нина Васильевна, закончился её страдальческий путь. Как была добра, отзывчива, как любила всё прекрасное в слове и в искусстве! Всё обратилось в прах.

25 февраля. Почта из Киева, из Пскова, от Ольги Викт. Через силу ответила на несколько писем... При огнях уже вышла на почту отправить телеграмму Лив. Ив. Грасман. 27 февраля ей будет 90 лет. Получила приглашение на юбилей.

Весь день яркое солнце, чистое небо и при этом жестокий Nord-Ost – восточный ветер.

26 февраля. Острая боль в груди и вместе чувство страха (сердце!). Горячее питьё – и боль ушла. Поездка за тортом. Мучительное чувство одушья. Еле добралась домой.

В журнале «Наука и Жизнь» из романа Викт. Шкловского «Расточитель» Семья Л.Толстого. Какие неудачные сыновья! Какие раздоры! Грубость взаимная, требовательность и море вражды между Л.Т. и Соф<ьей> Андр<еевой>. Учил любви и непротивлению злу, а сам утопал в зле, корысти, вражде окружающих.

*Как жалкий одуванчик у забора
Как лопухи и лебеда...*

Ан Ахм.

28 февраля. Последний день февраля. Самый короткий месяц в году. Сборы и приведения себя в нужный вид – от чего давно отвыкла.

Дома мирный вечер до полуночи. Переписывала листки из уничтоженной тетради.

Совершенно некстати неожиданное воспоминание о пережитом однажды унижении, давным-давно. Очевидно, таков закон реакции: незаживший глубокий шрам, след, жгучая боль при воспоминании. Изредка возникает память о пережитом унижении и с нею жгучая боль.

Ничто: ни довольство, покой, дружеское окружение, знаки любви, уважения, внимания – ничто не угасит пламя обиды, унижения, беззащитности в прошлые годы.

Первое марта. Как не вспомнить зловещие «мартовские иды»? Рим. Париж. Петербург...

Опять на дворе – соль и перец. Летят лёгкие пушистые снежинки. Лёгкая короткая метель, и опять пусто и голо.

Четыре пакета – книги заказной бандеролью, близко и за океан. Долго выбирала, упаковывала. Отрадно думать, что мои книги идут в добрые руки. Что же было дороже книг? Что я любила больше? Откуда получала свет и тепло? Золотой корабль мечты?

2 марта. Неделя о Блудном сыне. «На реках Вавилонских» трижды: 2, 9, 16 марта.

На обедне в Троицкой Церкви. Свято, благоговейно совершается Божественная служба. Много молящихся. Подходили ко мне почитатели с приветом и целованием.

Дружеский разговор с Митей Масловым. Установился наконец правильный порядок отношений.

Новый ЖМП от о. Георгия.

Тяжёлое возвращение из церкви. Ноги отказываются служить. Все трудно, и тяжела сумка. Ещё мучительнее вторичный поход на почту, и так неудачно. Все же успела покормить голубей. До полуночи ни одного письма. Только перечитывала «Горький плод» в «Иностранной литературе».

Свеча и панихида утром об упокоении души Нины В. Демидовой. 9 день кончины.

3 марта. От 6 до 8 ½ часа. Бор. Влад. Плюханов. Очень приятный собеседник. Читал полученные им письма и вдруг прозвучало имя Там. Фед. Баймаковой, давно потерянной, но не забытой. Из альбома достала её портрет, рассматривали, вспоминали. Буду писать ей в Париж. Событие – встреча через 40 лет!

4 марта. «Весна света» – по словам Пришвина. Собираются детишки на дворе со своими нехитрыми играми. Как воробьи чирикают!

Весь день и за полночь читала проф. Н.Яковлева «1 авг. 1914 г.». Как всё знакомо, до ужаса памятные собрания, имена, победы, поражения, гибель. До отчаяния одинокая, незащищенная, несчастная была семья [царя], если вся надежда и вера была обращена на Р<аспутина>. Преданность, верность среди окружения – отсутствовала. На их живых светлых лицах была печать обречённости. Слишком хороши были, чтобы оставаться в мире злобы, измены, клеветы, предательства. Так дико, страшно, что и через полвека вдруг подумаешь: да было ли это всё так? Не сон ли, не бред ли?

6 марта. Ажиотаж по случаю близости женского Дня – 8 марта. Идут поздравления, которые радости мне не доставляют. А отвечать надо.

От Ан. + Джо потрясающее известие о переселении в инвалидный дом. Крайне неотложное решение ввиду упадка сил у обоих и невозможности обслуживать себя, дом и машину. Джо в январе исполнилось 80 лет.

7 марта. Беспокойное утро. Единственный выход на почту и за хлебом. Кормила голубей хлебом и пшеном, трапезу голубей разделили непрошенные бойкие воробушки, неунывающие оптимисты в перьях.

8 марта. «Бабий праздник» – женский день. В стихах и в прозе славят добродетели и заслуги женщины, а в это же время муж бьёт жену и она носит синяки под глазами как ордена. А другая женщина убивает в квартире соперницу, отрезает ей голову и расчленяет тело. По частям выносит и разбрасывает на пустырях (по словам Сергея). Страшные люди, страшное время.

9 марта. Воскресный день. Обедня в Троицкой церкви. Короткий разговор с Дм.Масловым. Возвращение домой. Обед голубям. Бойкие воробушки тоже питаются.

10 марта. Бывают иногда содержательные NN «Недели». Так 24.02. – 2.03. много знакомых имён: Левитан, семья Чехова, Ан. Григ. Достоевская, А.Н.Островский, Рерих. Характеры, судьбы.

11 марта. Новые журналы.

В «Журнале Московской патриархии» № 12 за 1974 г. Очерк Архиепископа Григория Мукачевского и Ужгородского: «25-летие воссоединения Закарпатских греко-католиков с Русской православной церковью».

И то же самое и в том же году происходило во Львове, когда грянул выстрел украинского студента и был убит Протоиерей Костельник. Это был единственный знак протеста против вероисповедной реформы, основанной на политическом расчёте. Вспоминается при этом 1914-1915 год во Львове, война, победа, ликование галичан, гр. Бобринский, Митрополит [тогда архиепископ] Евлогий. Переход галичан в православие и бегство в Россию в 1916 г. – 17 г. Гибель надежды, отступление...

12 марта. Безвыходно дома. Неумеренное чтение. Неудержимая жажда свежих мыслей, картин, глубоких впечатлений. Значительные новые имена в переводной литературе. Джеймс Олдридж «Горы и оружие» (КУРДЫ), Курт Воннегут «Завтрак для чемпионов», «Страдание

и достоинство» И.Кожевни<иковой> (Япония), Ц.Кин. «Прошлое не должно вернуться».

Новое громкое имя: Эльза Моранте – роман «История» 1941-1945 г. «Скандал, который длился 10 тысяч лет» (история). Это отзыв автора о мировой истории.

«Ни на одном человеческом языке нет слов, чтобы утешать подопытных животных, не знающих причин своих страданий и смерти». Это относится и к человеку.

Изумительное высказывание Э.Моранте о подопытных животных, оно относится также и к людям. В истории человечества были и есть эпохи, когда целые народы подвергались невероятным страданиям во имя неизвестных им целей. Это завоевания, покорение, переселение, пленение, террор, перемена государственного строя и т.д. При этом половина идёт на уничтожение, а вторая половина приспособляется. Не может быть и речи о сострадании и утешении. То же самое, как подопытные животные и вивисекция, всё для высшей цели.

В общем, жизнь – это молчаливое страдание. Протест, борьба – напрасны, только увеличивают число жертв.

14 марта. Лучший из собеседников Пришвин. Что ни строка, то афоризм.

17 марта. Чудесный солнечный день. Удачная поездка на Лесное и Вознесенское. Уборка могил.

Ночью крик, сон страшный: перевесилась через подоконник, нюхала цветы, падаю, внизу – бездна. Зову на помощь Олю, она хватает меня и тащит из окна обратно в комнату.

19 марта. Среда великопостная. Церковь. Литургия Преждеосвященных Даров. Прекрасное, вдохновенное пение «Да исправится молитва моя»...

Потрясающие два известия:

1. Кончина и погребение о. Николая Барановского, старца иерея. Сгорел, умер в больнице от ожогов.

2. Ночью ограблена и разгромлена Церковь Нерукотворного Спаса (Торенбергская). 17 икон, 3 креста иерейских и многое другое. Церковь закрыта для богослужений.

Опять на столе Фаррар, его благоговейное и художественное повествование о земной жизни Спасителя, о Его осуждении и страданиях.

20 марта. Последнее Великое повечерие и последнее чтение канона покаянного Андрея Критского. Ухожу в 5.30, возвращаюсь в 8.30.

Два письма из Мюнхена от Юрия Кобро (Бернер). История жизни и учения после кончины Веры Ник. Счастливая женитьба с Лелей, венчание в Константинополе. Мелькают чужие города русского рассеянья. Трагический путь эмиграции. История.

22 марта. Обедня субботняя. Множество причастниц. И я с ними, не в последний ли раз?

Память 40 воинов мучеников в Севастийском озере, пострадавших в 320 г.

В народном календаре – 9 марта – прилёт первых жаворонков.

Сны и действительность. Олин сонник.

23 марта. Лёгкий мороз и яркое солнце. Свежий бодрящий воздух. Как-то особенно бодро отправляюсь в Церковь. По пути кормила голубей.

Поздний завтрак и после него глубокий крепкий сон. Rūpoļu diena у латышей. Поехала на Лесное и Вознесенское кладбище, положила вербочки на могилки как символ близкого Воскресения Христова. Возвращалась в сумерках, близкая к изнеможению.

День облегчённый, сокращенный – обеда не было. Зато перед сном две чашки чая с приложениями. Оригинально. Откуда такая лёгкость и непринуждённость? Но годы, годы...

24 марта. Поездка с Зин. Ив. на Покровское кладбище. Уборка. Погром и разрушение памятников. Поврежденные мраморные и гранитные кресты.

Сатанинская злоба и ненависть молодёжи нового толка. Пожар и гибель колокола на колокольне Покровского храма. Дьявольская работа в предпасхальные дни.

25 марта. Письма от Дины, Жени, Веры – наши ученицы 30-х годов, они в N.J. в Австралии, в GDR.

Пишет Дина:

«Спасибо за привет от Н.О. Вспоминая её, всегда тепло на сердце становится. Если она меня сравнила с незабудкой, то она у меня в памяти осталась как ясное, свежее и солнечное майское утро!

Помню, как навещала её дома, когда у нее была маленькая зелёная лягушка. И её отец ещё был жив, и тоже был приветливым, и у неё была маленькая Олечка.

Н.О. была настоящим педагогом. У многих наших учителей не было тех свойств. Теперь в старости об этом думаю. Они не понимали душу ребёнка...»

А разве не были сами детьми?

26 марта. Тёплый дождь. Изнеможение от усталости, от ходьбы и тяжёлой сумки.

Оля. Письма Юры и Алеши. П.К. опять на горизонте.

27 марта. «Литературная газета», но где же литература? Одна крупинка в тонне руды.

28 марта. Снежное утро. Мороз. Поездка в Церковь. Литургия Преждеосвящённых Даров. «Да исправится молитва моя». Трио, женские голоса. Так было в школьные мои годы в Спасе, в Полоцке. Трио пели девочки в белых передниках, с белыми лентами в волосах.

О. Георгий передал ЖМП № 1, <19>75. Обширная статья о Сербской Церкви П.Кутепова.

29 марта. Пустой болезненный день.

Западная Пасхальная ночь. Благословен Бог наш ныне и присно и во веки веков. Аминь.

30 марта. В доме праздничная тишина. Пасха. Господня Пасха!

Лесной кустик зацветает. Крошечные листочки, бледно-розовые пузырьки-цветочки. Это черничник. О нём первый сказал в своих «Травах» Вл. Солоухин, заметил, описал как изящное растение, привлекательное и полезное. А в далёком детстве по черничным полянкам, весной за зеленью[?], летом за ягодами, и каждое лесное растение знакомо, мило, памятно навсегда.

31 марта. Оля бледная, худая. Затаённые мысли на лице. Вспышки оживления и опять мрак. Трудно ей, очень трудно, но могло быть ещё хуже. Но и в этом нет утешения.

1 апреля. Тяжёлые сны на 1 апреля. У классной доски, пишу мелом какой-то текст. Мел ломается, крошится, всё неразборчиво. За спиной моей ученики, беспорядок в классе.

Тяжелое чувство, испорченный урок, неудача, позор.

Чёрная туча над городом. Посыпал густой снег. Поднялся буран, веселая апрельская метель. Опять зимняя картина – город в снегу.

Поздняя поездка на Ивановское кладбище с вербами. Ни души. Сумерки. Убрала могилки. Искала оброненную в мусоре перчатку.

2 апреля. Среда на Крестопоклонной. Умилительное Богослужение.

Узнала про склад награбленных церковных ценностей. Грабители обнаружены, но где и как, ещё не знаю. Вызваны настоятели приходов для опознания церковного имущества.

Вечером отвечаю на письма. Читаю Фаррара.

3 апреля. Безвыездно дома. «Жизни мышья беготня». Огромная на 16 стр. «Литературная газета». Крохи художественной литературы, преобладает критика обличительная, сатирическая, бесплодная болтовня.

Приготовила пакет для правнука Иоанны Дуркот в Сваляву – Закарпатье – милый край души моей.

4 апреля. Богатая почта: USA – от Люси поздравление к Пасхе. Письмо Бориса Владимировича. Два письма от Алёши – Москва. Одно из писем – восторженное восхваление весны, успехов, жизнерадостность, и «жить торопится и чувствовать спешит», будто в страхе всё потерять (отнимут)...

«Я сам себе кажусь человеком, у которого скоро всё отберут, и он хватает, хватает, стараясь взять себе всё, что можно», – его признание.

5 апреля. Прохладно, но солнечно. На солнце 10°. Вижу беленькие подснежники внизу на куртине под яблоней. Ребятишки играют на дворе. Постарше – те в школе.

Печка без дров нагрелась – многое приходится сжигать. Из каждого угла просятся: сжигай, сжигай нас! Мы никому больше не нужны». Книжки, коробки, туфли.

Соседка Виркутис работает в своём садике.

Как памятен мне аромат оттаявшей земли, сходный с ароматом фиалок (Vera Violetta).

Всенощная. Поклонение Животворящему Кресту «Приидите, люди, поклонимся Древу».

6 апреля. Воскресение Крестопоклонное. Торжественная обедня. Множество причастников.

В полдень на солнце плюс 25°. Светлый День Благовещения. В памяти восторженность этого дня, воспетого в поэзии, воплощённого в живописи, звучащий в молитвенных гимнах.

Хрестоматийные строки: «В чужбине свято наблюдаю...», «Вчера я растворил темницу...».

Богослужение праздничное в Троицкой церкви.

8 апреля. Из «Молодой гвардии» № 3.

«Пропавшие среди живых». О Валааме.

9 апреля. Потерянный день. Всё под вопросом...

10 апреля. Послание на 6 страницах от Ан. Ак. с Толстовской фермы²¹ и цветными фото.

Далёкий чуждый мир. Из Флориды поздравительная ХВ карточка от Нины Андр. из её мандаринового сада. Киевское послание из двух писем.

Нина Матсон. Пять часов непрерывного диалога. Это слишком для моей слабой головы. Но такая многолетняя привязанность, доверие детское, и я сознаю, что я ещё кому то нужна, кого-то поддерживаю.

Поздний вечер за чтением «Иностранной литературы» – «Горы и люди». Надо понять и помнить каждого человека.

11 апреля. Всю ночь долгий тёплый дождь. Освежает, промывает землю и деревья от зимней грязи. Благоухают белые левкои – дар Нины Матсон. Она – мать и бабушка (вдова). Для меня же до конца школьница, солнечное дитя, сияющее детской улыбкой и в старости.

Живая газета – Зин. Ив. За ней Валя с обильными дарами. Был обед экспромтом. И долгий, долгий разговор, точнее монолог Вали. На редкость сложная, горькая, мучительная жизнь. Было всё: поруганное девичество, война, тюрьма, лагерь в Германии, голод, смерть матери, ужасы «освобождения», возвращение в Ригу, брак, короткое материнство, смерть малюток-близнецов. Брюшной тиф, работа на транспорте, ревность мачехи, тяжелая, мрачная жизнь. Неудачные связи, опять случайный брак. Выход на пенсию. Обманчивый призрак счастья (третий лишний).

13 апреля. Просмотр ЖМП. № 1-2. Хорошие цветные фотографии. Много знакомых имён богословов, философов, славянофилов, церковных деятелей.

14 апреля. 1 апреля по старому стилю. Мелкая снежная крупа, крыши под снегом. Холодно, облачно. Застыло всё. Топится печка по-зимнему.

16 апреля. Проблески солнца и опять облачно и прохладно. Неодетая весна.

«Иностранная литература» № 3-75.

1. Тадеуш Новак. «Черти».

2. Дж. Олдридж. «Горы и оружие» (окончание).

3. Андрей Вознесенский. «Мой Микеланджело».

17 апреля. День «Литературной газеты». Всё поглощает одна тема – воспоминания тридцатилетней давности: война, борьба, героизм.

Вспоминается поговорка Алекс. Вас. Орловского: «Ну, ударь раз, ударь два, но нельзя же до бесчувствия». Переменить тему!

18 апреля. Пятница. 5 неделя Великого Поста. Литургия Преосвященных Даров. Несколько причастников. Очень хорошо «Да исправится». Ненадолго уже остается такой подъём.

Яркое солнце, на термометре +22°. А от Двины восточный ледяной ветер. В садике голубые подснежники сияют как детские глазки. На рынке срезанные гиацинты по рублю штука.

Вспоминаются такие же дни полвека назад. Бурное таянье снега. Ледоход на Двине. Такой же Nord-Ost. Лёд идёт из России. Чайки с во-плем тучей над Двиною носятся.

Оля не пришла. Вечером пасхальные письма в USA.

19 апреля. Опять день без выхода. Утро с Зин. Ив. Холодно. Печка топится по-зимнему. От Вали послание и неизвестное стихотворение К.Р<оманова.>

Молись

Молись в день радужного счастья.

Пред трудным подвигом молись!

Молись, когда грозит несчастье,

Когда смущаешься, молись!

Молись, когда обиду сносишь,

Когда в опасности – молись!

Молись, когда за милых просишь,

За злого недруга молись!

[Приводится весь текст стихотворения.]

20 апреля. День воскресный опять без выхода. Бесконечное копанье в архиве. Помог бы хороший пожар... Руки не поднимаются всё уничтожить. Золотые крупинки в тонне шлака –руды, макулатуры.

21 апреля. Начало Вербной недели. Вербa цветёт. Где-то пчёлы-разведчицы наведываются к вербам-лозам за пыльцой для голодной семьи.

22 апреля. Утро с Зин. Ив. Кофе и торт. Наконец удаляем ватные валики между двойных рам. Медленные шаги весны. Мучительная поездка за тортом в универмаг. Каждый шаг как по гвоздям, черепкам, стёклам.

22 апреля. День рождения – 23 апреля – Юры Ш. и покойной сестры моей Александры.

Вспомнилось вишнёвое дерево перед домиком нашим, посаженное Гартманом, крёстным отцом Саши. Оно зацвело в те же апрельские дни нашего детства.

25 апреля. Сон долгий, спокойный. Могла бы с закрытыми глазами лежать не вставая весь день. Но звонки, почта. Отчаянный вопль о потерянном счастье от Вали. Нет хуже болезни, как поздняя страсть.

Холодный дождь весь день с раннего утра. Долгий вечер, всё та же работа – перо, бумага, ножницы, шрифт славянский.

27 апреля. Чудный солнечный день, весна. Вербное воскресенье. Сколько воспоминаний связано с таким днём. Переполнена Церковь молящихся. 175 причастников у Святой чаши. И ещё предстояли крестины и за ними погребение. Непрерывно служит, трудится о. Георгий. С 9 ч. до 3 ч. непрерывный диалог с хором. Никаких опущений, изменений не может быть. Двухтысячелетняя практика священнослужения.

28 апреля. Опять похолодание. Но живо, ярко цветут белые, голубые подснежники, зацвела малиновая примула.

От Алекс. Ив. Шумакова письма дружеские. Запоздалые поклонники. Безмерно усталая от предпраздничной корреспонденции (65), а ещё надо составить и отправить три пакета – продукты и книги.

29 апреля. Вторник Страстной недели. Неудачные операции на почте. Измучена жарой и тяжестью пакета. Обратный путь и завтра всё то же, если примут. Злая толстуха не приняла бандероль.

30 апреля. Утренняя почта с письмами, поздравлениями. Опять было жарко, болели ноги, дважды возвращалась домой за адресом. Наконец пакеты (2) ушли. Сверх сил уборка и сжигание в печке зимней макулатуры. Вечером опять ответы на письма. Читать не остаётся времени. Какая-то суетная забота всех поздравить, никого не забыть. Под сознанием гнетущая упорная мысль: «в последний раз»... («Сентябрьская роза» – Н. Крандиевской-Толстой.)

1 мая. Май – коню сена дай, а сам на печку полезай – вот удачная поговорка. Ажиотаж в торговле – двойной праздник. Весело, тепло, первая травка и зелёные кустики крыжовника.

Вечером на «Двенадцати Евангелиях» в Троицкой Церкви. Долгое служение со свечами, с трогательными песнопениями. Страсти Христовы.

3 мая. Великая Суббота. Непрерывные работы в кухне. Главное закончено. Самое приятное с детства – крашенье яиц.

Успела поспать, встала бодро, ушла с Зин. Ив. к Заутрени. Безмолвие, ни дыхания, ни слова. Чтение Апостольских Деяний. Невероятное явление – краткий колокольный звон. Крестный ход. Единственная, вечная, Пасхальная ночь перед Воскресением.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Под холодным дождём, по тёмным безлюдным улицам возвращались с Зин. Ив. домой от Светлой Заутрени.

4 мая. Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Всю ночь холодный ливень. Так нужней природе. Всё утро в спешных приготовлениях стало. Один за другим гости, к счастью, не все сразу: Оля, Лидия Влад., Сергей, Валя, Юра, Нина Матсон (6 душ).

Великолепные чайные розы, нарциссы, тюльпаны. Всё было хорошо, все насытились от «теляца упитанного».

В темной кухне гора невымытой посуды до утра. Все удалились. А я с увлечением занялась рисованием на бирюзовых и оранжевых яичках. И так до полуночи. Это для тех, кто ещё придёт завтра.

6 мая. Уборка и посуда – горькая расплата за гостеприимство. Утром заметила свои опухшие ноги, лоснящиеся, с тёмными пятнами. Не хотелось вставать.

7 мая. Вот и среда Светлой Седмицы. Третий день Св. Пасхи. Чем-то день удивит сегодня?

8 мая. Светлый четверг.

Яркое солнечное утро, около 30° на солнце. Ещё не одетая, на постели сидя, перечитываю парижское письмо Тамуси Б. Целая жизнь промелькнула перед глазами. Помнит меня, как «барышню с черепахой». Спрашивает об Оленьке и Оле Логиновой.

Вечер с Татьяной Мих., [рассказы] о семье Миши, о сестре Вале, о парижских впечатлениях. Сергиевское подворье, Духовная академия, 25 слушателей студентов, сербы и греки.

Храм на Rue Daru и церковь Преподобного Серафима. Книги нам недоступны. Мать с пятью детьми, дочь Елпидифора Михайловича Тихоницкого (1930-ые годы).

9 мая. Светлая Седмица подходит к концу. Множество впечатлений, посещений, писем, приношений. Цветов так много, как никогда. Но пугает сердце, замирание, отёки, ночные спазмы. И ноги отёкшие, лоснящиеся, как стеклянные.

Большая почта: из Праги, Толстовской фермы, от Джо, из Львова, Ленинграда.

Жизнь насыщенная и всё же непонятная. Но чувствуется близость конца.

И последний гость – Митя Маслов, седовласый богомолец и поэт, друг Бориса и Тамары. Очень скромный, тихий, запуганный жизнью. Читал свои стихи. И так в неизвестности скрывается большой поэт и мыслитель.

10 мая. Невыносимо душный день. Пролился обильный дождь, сбил пышный цвет с вишнёвых деревьев и сливовых. Духота не проходит. В полдень на солнце было около +30°. А ведь ещё апрель по старому календарю. В сумерках отправилась к почтовому ящику. Еле передвигала ноги, задыхалась. Солнце хуже мороза. При такой жаре не переживу лето.

Вспоминаются на жизненном моём пути встречи с поэтами, которые писали стихи и благоговейно и робко читали их мне: В.В.Вегенов, Костя Соколов, Владимир Мирский, Валя, Митя Маслов. Пусть небольшие, все же прирождённые поэты, а это единственный дар, которому завидую и чутко воспринимаю. Печатался только Вегенов и очень мало Мирский. Всех выше Митя Маслов.

[Далее поздняя приписка.] А «Избранное» от И.А. Бунина?

11 мая. Фомино Воскресенье. В Троицкой Церкви обедня. Последний кусочек артоса. Домой возвращалась с великим трудом пешком по Дартас [с 1966 года улица Э.Смильга]. Солнце обжигало лицо, еле передвигала опухшие ноги. Встретились по дороге с давней ученицей Ниной Фадеевой, вспомнила и брата её Витю. Ласковая, добрая девочка, теперь нарядная дама в голубом, с дочкой Светланой.

Дома едва подкрепились (была как всегда натошак), сразу легла в постель, сбросив с себя всю одежду. Уснула тяжёлым сном. Проснулась часа через два от шума проливного дождя. Воздух посвежел, и я

не могла досыта наслушаться, сидя у окна с чашкой чая в руках. Яблони в полном цвету, а вишни роняют лепестки.

12 мая. Несколько мыслей под шум вечернего дождя были как бы сквозь сон:

Жизнь даётся одна и второй не будет.

Надо любить мир и жалеть всё живое.

Жизнь слишком долгая тяготит, а жизнь короткая пугает; и та и другая вызывают у окружающих сочувствие и печаль. Всегда кто-то уходит и не возвращается. И всё это мы видим и понимаем как своё будущее.

Это и называется жизнь. В ней заключается начало и конец всего сущего.

13 мая. Радоница.

Накануне в Троицкой церкви вечерня и парастас, сегодня Заупокойная Литургия и тысячи поминальных имён «отцов наших и братьев, вождей и воинов на поле брани живот свой положивших, от болезней и ран скончавшихся».

В 4 ч. поехала на Ивановское кладбище на свои родные могилки. Была тронута, увидя прибранность и посаженные цветы. Масса ландышей в надгробниках. Цветочки и яички каждому. Краткую панихиду с «Христос Воскресе» отпел о. Николай Харитонов.

14 мая. Среда на Фоминой неделе.

Маленькая монография о М.А.Врубеле. Грустное впечатление.

[Далее приписка от 25.07.1980.] Гаршин, Нижинский, Врубель – скорбные лица и судьбы. Гоголь и Достоевский – в них тоже скорбь о России и преданная любовь к ней, безысходные искания спасения...

15 мая. Уборка завалов и запасов в кухне. Запас воды на 3 дня. Жарко, для меня солнца слишком много. Тяжело.

Вечером Оля, письма, фото. Большая новость – цветной телевизор у Оли. Предмет роскоши, не всем доступный.

Есть возможность, и так надо доставлять себе маленькие радости. Но есть и опасность: наши желания подобны маленьким детям, чем больше им позволяешь, тем больше они требуют.

16 мая. Понемногу разбираю, откладываю, отдаю книжные сокровища. Перед прощанием с ними ещё просматриваю, увлекаюсь, рука с трудом их передает в чужие руки.

Кое-что замечательное: французский художник Гюбер Робер 1730-1808... Главная тема картин – античные руины. Творческое отношение к руинам. Рим, даже разрушенный, учит. Жил в дни французской революции, чуждой ему и враждебной. Был в заключении (1789-1794). Пейзажи среди руин. Обжитые руины – коровы пасутся на Форуме. Разрушение храма. Затопление церкви. Термы. Саркофаг. На пороге тюрьмы.

17 мая. Вот и вторая неделя по Пасхе закончилась. Дни так и летят. Беспощадное время. Не удержать.

Читаю неотрывно. Жажда новизны, познания, переживаний. Но лишь крупинки золота в тоннах руды.

Днём томительная жара. Вызывает ассоциации, аналогии эта старая, кривая, в наростах яблонька под моим окном. В прошлом году дала несколько цветочков и ни одного яблочка. А ныне как молодая, богато, нарядно, самозабвенно цветёт таким пышным бело-розовым цветом. Над нею летают пчёлы и ветерок ласкает кривые веточки. [Далее приписка от 12 июля 1975 г.] (А яблочков было пять, все один за другим опали, последнее упало 10 августа. У яблоньки умирающий вид.)

18 мая. Безвылазно дома весь день. Письма, газеты, сон.

Врубель Мих. Ал. 1856-1910. Как много общего в судьбах Нижинского и Врубеля. На обоих печать гениальности и безумия.

«Демон» – один, другой, третий и т.д. Но почему именно демон? Сам добрый, кроткий, беззащитный в руках демона. Это его болезнь.

В 1902 г. акварель – портрет полугодовалого сына Саввы. Синеглазый малыш с торчащими белокурым хохолком и заячьей губкой серьёзно и пристально смотрит на нас из коляски. Что-то хрупкое и тревожное в недетском взгляде и в фарфоровой прозрачности лица. Мальчик не дожил и до двух лет. Смерть снова ввела художника в бездну недуга.

20 мая. Пасмурное утро. Предгрозовое утомление. Сонливость. Сон от 2-4 ч. дня.

Перечитывала Шекспира – «Король Лир», всегда потрясающее впечатление. А который век этой трагедии (1606 г.).

Холодный вечер. Закрыты окна. Вянет сирень, ландыши. Великолепные розы хорошо держатся, вынутые из ванны. И всё же цветы умирают на моих глазах, явно и неудержимо.

21 мая. Резкий переход от томительно жарких дней к остро-холодным. И как это отражается на психике. Полусон, полубред, засыпала несколько раз и опять поднималась.

Повторила «Нобелевские дни» – Бунина и его же «Освобождение Толстого», с которым Бунин так неудачно выступал в 1936 г. в Риге. [Надо: в 1938 г.]. И тогда раздвоилось моё к нему отношение. Я потеряла к нему прежнее чувство безграничного доверия, преклонения, восхищения. Меня спасли от разрыва с прошлым только его стихи. Вот безупречный немеркнущий идеал.

22 мая. Праздник Святителя Николая, Николин день. Много воспоминаний, картин, связанных с днём 9 мая – 22.05. Отцвели сады. А над городом носится Nord-Ost. На море шторм. Холодно. Закрыты окна. На ветру раскачивается, на все стороны гнётся наша берёзка, поднимается выше третьего этажа, сохраняет равновесие в бурю, опираясь на три ствола. И ни звука, ни скрипа, ни шелеста. Недели через три будут первые шумы, шелковистый шелест листьев, сухой шорох вянущих листьев, но перед этим кожано-жестяное звучание. Всё это постепенно, одно за другим прозвучит, и опять надолго затихнет, когда осенний ветер сорвёт последние листья.

23 мая. «Иностранная литература» № 4. Стоило прочесть:

1. Грязный рай – И.Григореску (с румынского).
2. История: взгляд снизу Ласло-Бенчик – венгр.
3. Бег во сне. – Магда Сабо (венгр.).

25 мая. Воскресный выезд в Церковь. Успела к Херувимской. Малолюдно, благоговейно, празднично. Доброе слово о. Георгия у Креста. Без осложнений приехала домой.

Поздний завтрак, тихий день. Никто не потревожил. Вечером с Зин. Ив. съездили на Лесное. Туман над Двиной. Пронизывающий холод. Обещают заморозки. Какой контраст с недавней жарой! Как в Лондоне – густой туман над Двиной. Не видны перила на мосту. Трамвай идёт в тумане.

26 мая. Ключок «Нового Русского Слова» [Нью-Йорк]. Знакомые имена. Высокие недостижимые ценности.

Последняя сирень. Гипюровые белые тяжёлые кисти, махровые и одиночные цветы.

Красота всегда была со мною всюду. Напрасно ожидала Олю. Она любит белую сирень.

27 мая. Подобно скряге копаюсь в накоплениях печати.

В ЖМП – очень интересно: Берлинская епархия. 100-летие Дрезденского православного храма.

28 мая. При ярком солнце не прекращается порывистый северный ветер. Всё зелено, но деревья устали, измучены борьбой с ветром. Сколько уже дней – ночью и днём качаются, скрипят, роняют листья, бессмысленно, безрадостно. Нельзя укрыться, нельзя упасть. И деревья умирают стоя.

29 мая. Очередная «Литературная газета». Широкая информация, но всё начинается 16-я страница – «12» стульев.

Как ненасытно поглощаю самую широкую информацию. Жизни не хватит, чтобы насытиться.

Арабская поэзия средних веков. Перевод с арабского. V-VII вв. Изд. «Худ. литературы». Москва, 1975. Получено от Бориса Владимировича. Несколько строк выпишу на память:

Видел я: благородный склонялся

Перед волей ничтожного.

Нет, не покорюсь позорно.

Эта слабость, смиренное это деянье.

30 мая. Второе письмо из Парижа от Тамары Фёдоровны. Какая хорошая семья у нее, какая деятельная, разумная жизнь у всех! И сколько любви и нежности, какая живая память в отношении к нам, сохранилось всё за сорок лет молчания.

31 мая. Последний день мая. Проблески солнца и тот же холод. Предстоит ночной мороз -30. Но ветер тише. Берёза смертельно устала от ударов и треска ветра. Ветки повисли, листья едва трепещут.

1 июня. Воскресный день. Безвыходно дома. На полчаса зашла Оленька. Замёрзли, погибли посадки в садике. Леденящий холод.

4 июня. Неотрывно занята Диккенсом. Один из тяжеловесных романов – «Наш общий друг». В чтении единственное развлечение и забвение зловещих слухов.

5 июня. Память Преподобной Евфросинии княжны Полоцкой, покровительницы моей юности. Полоцк, Спасо-Ефросиниевское училище, матушка Нина, рисовальный класс, девочки в белых пелеринках. Бесконечно далёкие годы. Счастливое, беззаботное детство.

«Литературная газета». Удачная 16-я страница.

[Далее приписка от 30.07.1980.] Две дорогие моему сердцу темы: это Полоцк, Спасо-Ефросиниевский монастырь, исторические воспоминания. Епархиальное училище – 6 лет учения в закрытых стенах Спаса. Рисовальный класс. Торжества перенесения мощей Преподобной Ефросинии из Киева в Полоцк в 1910 году. Наше в нём участие.

Галиция. Иностраннный паспорт, Броды, Львов, Санок. Пансион. Уроки русского языка. Бурса. Замок Вздув, Посещение Дрогобыча, Прусс, Заблотцев. Высылка из Галиции. 1911-1913 гг.

Никто об этом не знает, никому это не интересно. А время было замечательно богатое, впечатлениями на всю жизнь памятное.

6 июня. Был тяжёлый мучительный сон. Всё повторяется принудительный переезд в неизвестность и тут же школьная обстановка, урок, даю задание, не могу отыскать в книге нервное [первое?] упражнение. Дети Голдблата (внуки).

Весь день болит сердце, зевота, вздохи, не хватает воздуха. Сны и мучительное принуждение: уйти, уехать, оставить, бросить – варианты предчувствия смерти.

7 июня. Тяжёлая неделя. Состояние стресса. Полная бездеятельность. После всенощной пришёл Митя Маслов. Принёс стихи Верочки Шмит из Юрьева. В прошлом та милая девочка, которая переписывалась с Буниным. Имя её встречается в письмах Веры Николаевны и Бунина. А также в сборнике Бабореко.

Читал свои стихи, так робко, невнятно. Спешил в аптеку, жена болеет астмой. Говорили о монастырях, вспоминали Соловки, Валаам, Кижы, Елгаву.

8 июня. В Троицкой Церкви. Успела до Херувимской. Стройно поёт хор. Молитвенно, благоговейно с начала до конца. Несколько слов о Георгия и очередной № ЖМП.

Поздний завтрак и дневной глубокий сон. Перед заходом солнца поехала на Вознесенское и Лесное. Были заморозки, а теперь ряд засушливых дней. Всё выгорело, едва-едва кое-что живёт на могилах. Спешно требуется посадить бегонии и поливать через день, пока приживутся. Необходимо стричь декоративные кусты и красить скамейки. Олина помощь нужна. Мои руки становятся бессильны.

9 июня. Утром почтальон принёс мою убогую пенсию. Но спасибо и за то. На хлеб хватает.

Сегодня великий праздник в семье Грасман. 90-летие Ливии Ивановны и приезд сына в родительский дом после 30-летней разлуки. Приглашение мне прислали к этому юбилею. Но я уклонилась от участия. Дряхлость, неловкость, трудная поездка. Послала поздравительную телеграмму. С возрастом охлаждение дружеских связей (не всех, конечно, исключения есть).

10 июня. Оленька с дарами и новостями. Сенсация: погибшие от ночных заморозков томаты, сквозь черноту свою стали зеленеть и дают новые листочки.

А болезнь моей последней подруги Иоанны Дуркот-Семишиной-Колдры – предсмертная. Это ясно. Неизбежное близко. Впереди наша предназначенная от века встреча в ином мире.

11 июня. Отдание Пасхи. Полная праздничная служба. Слушала пасхальные ликующие стихиры, возможно, в последний раз в жизни. Трудно представить, что ещё будет через год.

О. Георгий в светлых ризах. Много цветов у икон. Крестины.

12 июня. «Вознесся еси во славе, Христе Боже наш...»

Как незаметно пронеслись сорок дней послепасхальных. Впереди ещё Троицын День и Духов. И тем заключается невыразимое торжество и ликование весенних праздников.

13 июня. Почти весь день в полусне в постели.

«Что делает человек в последний свой год?» Макс Фриш («Назову себя»).

Читать больше, чтобы не бродить мыслями в прошлом...

14 июня. Безвыходно дома. Просмотр инвентаря на уничтожение и на передачу близким «тёплой рукой».

Жарко топилась печка-крематорий. Как много лишнего окружает человека! И всё сгорает дотла, остаётся зола, пепел, прах.

15 июня. После обеда отправилась на Вознесенское кладбище проверить состояние участка. С удивлением застала там Ольгу Викторовну за работой. Всё высохло, безжизненно, земля – один песок, вода задерживается, не всасывается в землю. Земля – песок, пыль. Всё прежде посаженное, погибло. Теперь всё делается заново. И Ольга Викторовна самоотверженно трудится над этим.

Возвращались домой в десятом часу. Вечером «Иностранная литература». Неудачный состав материала.

16 июня. Тяжкий понедельник. Валя прислала магический список несчастливых дней. Наивная забота предупредить, отклонить неизвестное, предназначенное от рождения.

17 июня. Старые №№ «Недели» и опять великолепный Мих. Булгаков, как живой и всегда привлекательный.

А «Дети карнавала»²² – чудовищное явление нашего века. Не жаль уходить из этого мира.

19 июня. Все дни похожи один на другой, но вот этот день 19 июня не имеет своего лада и остаётся страничка незаполненной. Каждое «сегодня» забывается завтра.

Р. Мария Рильке.

*О святое мое одиночество – ты!
И дни просторны, светлы и чисты,
Как проснувшийся утренний сад.
Одиночество! Зовам далёким не верь
И крепко держи золотую дверь,
Там, за нею, желанный ад.*

Перевод Ан. Ахматовой.

20 июня. Такой опущенный день без лица остаётся прожитым и не записанным «Погибший день, ты был ничтожен...»

[В дневник вписаны стихи Рильке: «И женщины своей достигнут цели...» и др.]

21 июня. Троицкая Родительская суббота. Тысячи поминаемых усопших Вождей и воинов на поле брани живот свой положивших... В смутах убиенных... Отцов и братьев наших от болезней скончавшихся...

Церковь Православная матерински поминает и хранит имена от века скончавшихся... Тяжело двигаться, поездки утомительны.

22 июня. С Зин. Ив. были на обеде у Оли. На столе Троицкий кулич и 6 яичек, окрашенных в зелёный цвет. Но нигде ни у кого не видела Троицкой берёзки. Поздняя Троица, ни ландышей, ни сирени.

23 июня. С раннего утра безжалостное солнце.

Поехала в Церковь к обедне. День Св. Духа. Духов День у народа в старину. Архиерейское служение. Громоподобный хор и возгласы протодиакона. Кроткий и слабый всегда и всем ранимый о. Георгий совершенно теряется среди этого великолепия.

Потрясающее «слово» Архиепископа Леонида [Полякова] – образец бестактности и жестокости к подчинённым. Тучи снова над нашей церковью.

Окна открыты днём и ночью. Доносятся отрывки песен «Ligo». Белые ночи. Но в полночь короткий мрак. Вижу в окно, как подростки посреди нашего двора разложили традиционный костёр и пытаются повеселиться по примеру взрослых. «Ночь накануне Ивана Купалы».

27 июня. В послеобеденные часы визит Мити Маслова. Солидный седовласый поэт «для самых близких». Тяжёлая форма заикания, сегодня особенно почему-то проявляется. Читал свои стихи в стиле японских «танки». Есть изящные, глубокомысленные и глубоко интимные темы. Удачная форма для их выражения.

Слушать с напряжённым внимание не могу долго – мучительно ломит затылок и шею. Хороший выход и облегчение – это чайный обряд: варенье, кекс, крепкий чай.

28 июня. Вчера сквозь дневную суету и сегодня весь день чувствую спазмы в сердце до тошноты. Это всё связано со вчерашними снами: опять семья покидает родной домик, переезжает в Ригу. Обхожу, прощаюсь с опустевшими комнатами, с дворовыми постройками. Жаль до боли. На станции отходит товарный поезд, из красного вагона мама кричит мне что-то, и я кричу в ответ: «Я вас догоню, догоню!»

«Неделя» – № 23 (2.06.)

29 июня. Последние дни июня. Стало прохладнее, но на термометре 20о градусов. Опять свежий ветер, это приятно. Тревожно раскачиваются деревья, все листья в

движении, но бесшумно, ещё нет шелеста, шороха, шелковистые листья совершенно бесшумны. А где-то впереди – август, и все шумы деревьев от шелка, бумаги, жести наполняют тогда наши сады и леса.

30 июня, воскресенье. В церкви на обедне.

3 венчания и 300 крестин за минувший год – это показательно в деятельности Церкви в нашу эпоху (только в Троицкой церкви).

Ночью долгий дождь, теперь всё спокойно, влажно, дышит и растёт каждая травинка. Земля ожила после упорной засухи.

Перечитываю австрийского поэта Р.М. Рильке. Странно, но много общего с Мариной Цветаевой в их поэзии. Отличный отзыв печати: спокойное величие классики. Один из величайших поэтов XX в. Лирик, художник слова. Равен Блоку, Аполлинеру, Верхарну.



Нина Орлова. 1917 г.

Скончалась Нина Онуфриевна 11 декабря 1980 г., в доме дочери, куда переехала в мае того же года. Похоронена на Ивановском (Иоанновском) кладбище, рядом с родными.

Последние строки дневников Н. Орловой за 1975-1980 гг.:

Среда, 7 октября 1980 г.

Сердечные спазмы ночью. Тяжёлый сон. Тревожные сновидения. Покойный о. Николай на лестнице, душераздираательные картины из детства маленькой Оли. Невыносимая боль... Чувство ужаса, отчаянья. Пробуждение в темноте. Горечь, сухой рот. Валидол, глоток воды.

И снится старая школа, коридоры, залы, учительская. Светло. Рабочая обстановка. Лихорадочные поиски в журналах. Рисование – 5. Записи.

Выборочный указатель имен

Алекс. Ив. – см.: Багрецов А.И.

Александра – см.: Орлова А.О.

Алёша – см.: Иванов А.Н.

Бабореко А.К. – литературовед.

Багрецов Александр Иванович (наст. фам.: Багатайс Вильгельм-Александр; 1906-1984), актер Псковского драматического и др. театров. См. о нем: Псковская энциклопедия. Псков. 2007.

Баймакова-Клепинина Тамара Федоровна (1897-1987, Франция), активист рижского отделения YWCA (Young Womens Christian Association), с 1929 г. – во Франции; долголетний сотрудник издательства ИМКА-пресс,

На фотографии: Нина Орлова и воспитанники Галицкого приюта при Иоанновском монастыре. Петроград. Апрель 1915 г. ►

На фотографии: Пасха в доме Н.О.Орловой. Рига. Середина 1930-х гг. За столом Оля Орлова – дочь Нины Онуфриевны ►



библиограф; жена священника Д.А. Клепинина, погибшего в немецком концлагере.

Бенуа Ольга Федоровна (1891-1980, Рига), участник Русского студенческого православного единения (далее: РСПЕ, Латвия); в 1945 г. была арестована и осуждена. Позднее вернулась в Ригу.

Борис – см.: Плюханов Б.В.

Борис Владимирович. – см.: Плюханов Б.В.

Вегенов В.В. – вероятно, Васильев (Гадалин) Василий Владимирович; один из псевдонимов: Вегенов (1892-1959, Рига), журналист, автор стихов. о. Георгий – Тайлов Георгий Иванович (1914-2014, Огре), протоиерей. Зинаида Ивановна – см.: Шумахер З.И.

Иванов Алексей Иванович – студент одного из московских театральных вузов.

Клавдия – см.: Орлова К.О.

Конради-Кондрашов Михаил Александрович (1941– 2014, Рига?), ихтиолог.

Кутепов Павел Александрович (1925-1983, Москва), сын генерала П.А.Кутепова, похищенного в 1930 г. агентами ОГПУ в Париже. С 1933 г. в течение нескольких лет вместе с матерью жил в Риге у деда (по матери), учился в школе, где преподавала Н.О.Орлова; в 1960-х гг. он возобновил отношения со своей бывшей учительницей и её дочерью.

Леонид, митрополит Рижский и Латвийский (в миру: Лев Львович Поляков; 1913-1990, Рига).

Логинова Ольга Антоновна (1903-1981, Рига), языковед, историк, сотрудник Музея истории Риги и мореходства.

Люся – см.: Чернова Л.С.

Максимович Татьяна Михайловна (1900 – не ранее 1979, Рига), дочь бальнеолога М.М.Максимовича (основателя санатория в Юрмале), преподавательница французского языка, составитель межвоенных хрестоматий по русской литературе; в начале 1970 гг. навещала своих родных во Франции.

Маслов Дмитрий Васильевич (1903-1989, Рига), участник РСПЕ, поэт. См. о нем в ук. выше кн. Б.В.Плюханова, с. 302-304; Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. VI. Рига, 2000. С. 282 – 291.

Мирский Владимир Владимирович (1920-1998, Рига), – поэт, переводчик, доцент кафедры русской литературы Латвийского университета, преподаватель Рижской Православной Духовной семинарии.

Миша – см.: Конради-Кондрашев М.А.

Оля – Ольга Николаевна Клявиня, дочь Н.О.Орловой.

Орлова Александра Онуфриевна – сестра автора дневника.

Орлова Клавдия Онуфриевна – сестра автора дневника.

П.К. – см.: Кутепов П.А.

Плюханов Борис Владимирович (1911-1993, Рига), участник РСПЕ, автор книги «РСХД в Латвии и Эстонии» ([Paris.] Ymca-Press. 1993) и других работ, посвященных Матери Марии (Е.Скобцовой), Б.Вильде...

Тамара – см.: Баймакова-Клепинина Т.Ф.

Тамара Фёдоровна – см.: Баймакова-Клепинина Т.Ф.

Тамуся Б. – см.: Баймакова-Клепинина Т.Ф.

Татьяна Мих. – см.: Максимович Т.М.

Тихомиров Павел Вячеславович (1943-2012, Рига), инженер; издатель и распространитель религиозной литературы.

Тихоницкий Ел(ь)пидифор Михайлович (1875-1942, умер в заключении), педагог, общественный деятель, депутат Сейма Латвии. Его жена и дети эмигрировали во Францию.

Харитонов Николай Васильевич (1915-1983, Рига), протоиерей.

Черн. Зина – Зинаида Петровна Чернова (ур. Якоби; 1908-1995, США), дочь юриста и общественного деятеля П.Н. Якоби, мать Л.С.Оболенской-Флам.

Чернова Людмила Сергеевна (Оболенская, Оболенская-Флам; Рига, 1931 г.), радиожурналист, автор книг-биографий.

Шмит (Шмидт) Вера Владимировна (1915-2000, Эстония), поэт, педагог, мемуарист.

Шумаков Юрий Дмитриевич (1914 – 1997, Эстония), писатель, переводчик, мемуарист.

Шумахер Зинаида Ивановна – соседка автора дневника.

Более подробные сведения о ряде имен, представленных выше, можно найти на сайте

«Русские Латвии»

www.russkije.lv

Приложение

«Адресаты 1974-75 гг.»

Последний лист дневника Н.О. Орловой за 1975 г. Имена приводятся составителями в алфавитном порядке. Пометы – авторские

Chenchin N.A.	Голованова Ант. Ив. †	Морозова А.К.
Cirulis An. An.	Голянский Д.И. †	Орлова Кл. Он. †
Dreivo Al. + Dz.	Грасманы	Пелех Г.Ф.
Jakobson L.	Грундалс О.В.	Плюханов Б.Вл.
Klépinine T.F. [Баймакова]	Гумецкая Л.Л.	Полянские М.Э.
Kobro Jurij.	Добрянская Г.	Розанова Е.Н.
Varja [Senkovich] – Pracha.	Елагины М.+П.	Соколов К.А. †
Spitsbergen M.	Иванов А.Н.	Спиридонов О.И.
Багатайсы А+К.	Клявинь О.Н.	Стацева Ф.Ю.
Баймакова Т.Ф.	Колдра †	Стацевич А.Д.
Бинкевич В.Х.	Колдра– Кульчиц<кая>	Тайлов Г.И.
Бороздин Ал. Фед. †	Кульчицкая В.В.	Труш В.В. †
Булагова К.В.	Лещишка М.М.[?]	Цветков Вал. Фед.
Буртнек Г.Э.	Логинова О.А.	Чапаева Т.М.
Васильева Ан.Ник.	Максимович Т.М.	Чарков Рост. Вит.
Владим. В.	Маслов Д.В.[!]	Юре М.И. †
Врублевские	Матсон Нина.	Яковлева Н.К.
		Ясиницкая Мел.

* * *

«Целый ряд умерших за последние годы из нашего круга»

Запись из дневника Н.О. Орловой от 16.01.1975 г.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Вера Ник<олаевна> Аушкап. | 18. Лидия Алекс. |
| 2. Вера Конст. Берх. | 19. Сергей Стасев. |
| 3. Вера Ник. Бернер. | 20. Над. Ник. Грунд<дулс> |
| 4. Юлиана Матв. | 21. Араминис. |
| 5. Галина Мих. | 22. Нина Васил. Демидова. |
| 6. Ксения Петр. | 23. Конрад Ел. Вл. |
| 7. Людм. Серг. | 24. Алекс. Фед. Бороздин (X.78.). |
| 8. Ген. Никол. | 25. Соколов Конст. (X.78). |
| 9. Демьбер[?] Павел. | 26. Лепинь Ол. Лаз. (X.78). |
| 10. о. Иосаф Фед. | 30. Клавдия <Онуфриевна Орлова>21.VIII.78 |
| 11. о. Владимир Кон. | 31. Колдра Вас. Анд. |
| 12. о. Николай См<ирнов>. | 32. |
| 13. В.<Г.> Ваврик. | 33. |
| 14. Р. Минович. | 34. |
| 15. Лев Пелех. | 35. [Последняя строка на странице. |
| 16. Иоанна Лумецкая. | |
| 17. Валтер Анна Ад. | |

Сведения об авторах – 2020

Светлана Андроник (Алексеева, 1984) – поэт. Публиковалась в коллективных сборниках и журналах в Украине и России. С 2002 г. живёт в Черновицкой обл. (Украина).

Инга Абеле (1972) – прозаик, поэт, драматург.

Яков Берг (1937) – поэт, прозаик. Окончил Латвийский ун-т по специальности журналистика (1971). Публиковался в журналах «Даугава» и «Дон», «Рижском альманахе» и др. изданиях. Автор романа «Теперь, когда вечность уже на пороге», биографической повести «Пока бьется сердце» и сб. стихотворений «Безвременье».

Марианна Боровкова (1970) – поэт, педагог, психолог. Окончила филологический факультет Педагогического ин-та, позднее получила образование психолога-консультанта. Участник поэтических чтений на различных литературных площадках, мероприятиях, книжных ярмарках. Основные публикации на сайтах «stihi.ru», «Поэмбук», на литературном портале «Белый мамонт», в литературном альманахе «45 параллель». Автор поэтического сборника «Стихи ручной работы» (изд-во Российского союза писателей, 2015).

Алексей Герасимов (1969) – поэт, прозаик, переводчик. В Латвии с 1977 г. «Живу в Риге. Учился в Московском Литературном ин-те им. Горького. Публиковался в различных бумажных и сетевых изданиях. Переводил современную латышскую прозу. Снимался в рекламе и любительском видео. Занимался в любительских театральные студиях, участвовал в различных художественных акциях, перформансах, хеппенингах. Придумываю театрализованные литературные перформансы и исполняю их с партнерами и в одиночку. Читаю тексты со сцены, свои и чужие».

Ярослава Говорова (2003) – учится в 12-м классе медико-биологического отделения Пушкинского лицея. Стихи публиковались в лицейском издании «ARS», Рижском альманахе».

Ирина Гофт (Карклия-Гофт; 1944, Астрахань – 2016, Рига) – выпускница Лат. гос. ун-та, долголетний библиотечный работник, автор книги «Чёртовы качели. Рассказы и воспоминания». Р. 2016.

Роальд Добровенский (1936, Елец) – прозаик, поэт, переводчик. В Латвии – с 1975 года. Наиболее известны его романы-биографии о Бородине и Мусоргском, книга «Райнис и его братья». Переводил И. Аузиня, И. Зиедониса, Я. Райниса, А. Чака, М. Чаклайса, К. Элсберга и др.

Дмитрий Драгилёв (1971, Рига) – поэт, музыкант. Окончил Латвийский ун-т, Йенский ун-т им. Ф. Шиллера и Высшую школу музыки им. Ф. Листа в г. Веймар. Живет в Берлине. Автор нескольких книг – стихи и эссе, документальный роман. Публикации в журналах «Даугава», «Новое литературное обозрение» и др. изданиях.

Виталий Заиченко (Виталий Мамай, 1971) – поэт, журналист, переводчик. Автор нескольких сборников стихов: «Фигура речи» и др. С 1998 г. живет в Тель-Авиве (Израиль).

Софья Исаченкова (2005) – учится в 11-м классе Пушкинского лицея, публиковалась в лицейском издании «ARS».

Василий Карасёв (2001) – окончил Технико-лингвистический колледж в Риге. Публиковался в издании «ARS», «Рижском альманахе», газете Союза писателей Латвии «Konteksts» и др. изданиях.

Юрий Касянич (1955) – поэт, переводчик. Окончил Латвийский ун-т, по специальности – физик. Автор нескольких сборников стихотворений, а также переводов из латышской поэзии – (Эгил Плаудис, Л. Бриедис и др.).

Александра Косачёва (2006) – учится в 11 классе 22 школы, до переезда в Латвию (2016) жила в Москве. Друг лицейского издания «АРС» с 2019 г.

Глаша Кошенбек (Светлана Ложникова) – окончила Московскую академию печати (бывший Полиграфический ин-т) по специальности книговедение. «По специальности не работаю, в душе я книговед, несомненно», – сообщила она редакции. Автор двух сборников стихотворений.

Андрей Малышев (2003) – учится в 12-м классе в Пушкинском лицее.

Бенджамин Музаккио (Benjamin Musachio, 1995; Балтимор, США) – бакалавр Стэнфордского ун-та (2017), магистр Оксфордского ун-та (Диссертация: «История Дома творчества писателей в Дубултах:

История, управление и функции», 2019), аспирант кафедры славянских языков и литератур Принстонского ун-та (США).

Артур Никитин (1936, Ленинград), художник, профессор, участник множества выставок; работы А.Н. находятся в собраниях музеев Латвии, России (Москва, С.-Петербург), в частных коллекциях. Подробнее об А.Н. см.: <http://www.russkije.lv/ru/lib/read/arthur-nikitin.html>

Кира Сапгир (1937, Москва) – прозаик, поэт, журналист. Подробнее о К.С. см.: Википедия

Полина Орынская родилась и живёт в подмосковной Балашихе. В 1992 году окончила журфак МГУ. Работает в издательском доме «Бауэр Медиа», главный редактор журналов исторической и научно-популярной серии «Наша история», «Все загадки мира», «Архивы XX века». Автор нескольких поэтических сборников: «Придумай мне имя» (2016) и др. Публикации в «Литературной газете», журналах «Дружба народов» и др.

Нина Орлова – см. предисловие к публикации ее дневника.

Вадим Перельмутер (1943, Москва) – поэт, историк литературы, эссеист, культуролог, художник-график. Живет в Мюнхене. Подробнее о В.П. см.: Википедия.

Н. Петренко – историк печати.

Борис Равдин (1942) – историк культуры.

Ирина Сабурова (1907, Могилевская губ. – 1979, Мюнхен) – писатель, журналист, переводчик. Подробнее об И.С. см.: Википедия.

Людмила Спроге (1953) – литературовед, профессор Латвийского ун-та. Подробнее о Л.С. см.: <http://www.russkije.lv/ru/lib/read/l-sproge.html>

Игорь Трохачевский (1969) – прозаик, поэт. Окончил Литературный ин-т (Москва, 2000 г.). Публиковался в журналах «Родник», «Даугава», в «Рижском альманахе» и др. изданиях.

Шломо (Владимир) Ленский (1963, Рига), публицист, общественный деятель; окончил Рижскую вечернюю школу № 1, известную своими выпускниками; участник театральной студии «Камертон» при Рижском Политехническом ин-те, играл в Народном театре Дома офи-

церов по месту срочной армейской службы; в 1987 г. репатриировался в Израиль, где работал сиделкой у инвалидов, занимался лицами с синдромом Дауна и аутизма. В 1993/1994 гг. участвовал в создании русскоязычного литературно-художественного кафе «Афивит» (Иерусалим), в 2005-2011 гг. редактировал русскоязычный сайт «Седьмой канал»; лит. творчество Ш.Л. представлено в журнале «Вечерний Иерусалим», альманахе «Огни столицы».

Кристина Филатова (2003) – учится в 10-м классе Краславской государственной гимназии. «Пишу разного рода рассказы, – сообщает она редакции, – с самого детства, люблю читать».

Екатерина Фонарикова (2003) – учится на 2-м курсе Рижского техникума туризма и творческой индустрии. Публикует свои стихи на сайте «stihi.ru».

Сергей Цоя (1970) – историк, выпускник Калининградского и Латвийского ун-ов (1992, 2010), преимущественно автор работ по истории образования и православия в Латвии.



Екатерина Грязева-Веселкова. Любимый город. Офорт. Акватинта.

РИЖСКИЙ АЛЬМАНАХ 10 (15)

**СТИХИ
ПРОЗА
РЕЦЕНЗИИ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРА
АРХИВЫ**

